

И. СЕЛЪВИНСКИЙ | 1

КС

СЕЛЪВИНСКИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

собрание
сочинений
в шести
томах

издательство
„художественная
литература“

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

ТОМ

1

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОСКВА

1971

Редакционная коллегия:

В. А. КОСОЛАПОВ, А. А. МИХАЙЛОВ,
С. С. НАРОВЧАТОВ, Л. А. ОЗЕРОВ,
О. С. РЕЗНИК, М. Б. ХРАПЧЕНКО

Вступительная статья
и примечания
О. Резника

Оформление художника
Е. Ганушкина



ПАЛИТРА ПОЭТА

Поэзия Ильи Львовича Сельвинского — одного из талантливейших представителей старшего поколения наших поэтов занимает видное место среди творений таких мастеров русской советской поэзии, как А. Блок, Вл. Маяковский, С. Есенин, Б. Пастернак, Н. Асеев, Н. Тихонов.

Широкую известность имя Сельвинского получило в середине 20-х годов, когда во многих аудиториях прозвучали его виртуозные экспериментальные стихи с их полифонической мелодикой, необычным буйством красок и ритмических перепадов. А после издания эпопеи «Улялаевщина» — первого широкопанорамного произведения советского эпоса популярность поэта еще больше упрочилась. Поэзия Сельвинского — его поиски и новаторские открытия — оказали в свое время влияние на других видных поэтов, и прежде всего таких, как Э. Багрицкий и Вл. Луговской...

Каждый истинный художник — особый мир с его бурями и радужным сиянием, творческими взлетами и откровениями. Подлинным же источником вдохновения великих поэтов всегда было единичество с народом, и они каждый по-своему становились выразителями его чаяний, исторических судеб, глашатаями передовых идей своего века.

Произведения Сельвинского — если брать даже только то, что знакомо широкому читателю, не говоря уже о более тесном круге любителей поэзии, являет собою удивительное соцветие поэтического постижения мира в различных его проявлениях.

Творческий кругозор поэта велик, меридианы на карте его поэтических интересов и пристрастий соединяют полюса и объемлют не только ширь родной страны, но и многие государства Запада и Востока. Столетия истории, от средневековья до наших дней, уместились в его эпических поэмах и драмах.

Палитра речевых красок и мелодики русской пленительной речи обогатилась в его стихах оттенками интернационального звучания. «Пожалуй, ни у кого из русских поэтов мы не услышим такого многоголосия разных национальностей, как у Ильи Сельвинского. В обширной веренице картин, пейзажей, стран, городов,

народов, в толпе образов мужчин и женщин разных национальностей — во всем этом проявляется присущая Сельвинскому широта восприятия. Он всегда зовет за горизонт того, что мы видим перед глазами, стремится расширить мир наших раздумий, эмоций, представлений.

Характерно, что Россия и русский народ тоже выступают у Сельвинского в духе пушкинской традиции, как объединители народов. Но Сельвинский дает уже новое, современное истолкование «всемирности» России, ее исторического значения»¹, — писал К. Зелинский.

«Ты больше чем страна, ты мир! В тебе судьба всего земного шара!» — восклицает поэт. И в его стихах мы встречаем множество больших и малых наций и народностей нашей родины: азербайджанцев, казахов, чукчей, ламутов, эвекков и других. А в исторических драмах, где Россия показана в ее обширных международных связях, действуют представители различных стран, как подлинно исторические лица, так и вымышленные.

Поэзия Сельвинского диалектична по природе и сути своей, ибо сокровенные импульсы ее движения восходят к законам бытия, многообразным впечатлениям и наблюдениям, к живым чувствам действительности с ее многоступенчатыми взаимопроникающими связями...

Поэт, упорно размышлявший о мире, о времени, о поколении сверстников и о себе, Сельвинский не раз возвращался к воспоминаниям о прожитых годах и как-то записал:

«Говорить о моей жизни — значит говорить о поколении, юность которого расцветала в вихре идей, мыслей, грез и действий эпохального размаха. Мы видели Россию в дни ее наивысшего пафоса, и это определило всю нашу природу: мы беззаветно уверовали в партию, как явление философское, решающее коренные узлы мировоззрения миллионов людей XX века; мы уверовали в народ, как в единственную силу, способную установить справедливость на земном шаре; мы уверовали в душу человеческую, которую можно изранить, истоптать, но немислимо испепелить: она всегда сохраняет искру, чтобы в нужный исторический момент вспыхнуть в молнию. Люди такой веры — это люди пламенные и вместе с тем огнесупорные. Они лишены гибкости, не умеют лавировать и притворяться мертвыми. В этом их красота, но в этом же их слабость!

Таково мое поколение. В какой-то мере таков и я»².

¹ «Литературная газета», 22 февраля 1964 г.

² И. Сельвинский, Черты моей жизни (Рукопись из архива автора предисловия, написанная, видимо, в 1956—1957 гг.).

События XX века — крутые переломы в обществе, годы революционного взрыва, созидательного подвига народа и тяжких войн — прошли сквозь биографию поэта. Они тесно сплелись с нею и многими гранями отразились в его творчестве. Судьбы поколения причудливо и своеобразно преломились и в биографии Ильи Львовича Сельвинского.

Родился он в Симферополе 24 октября 1899 года в семье меховщика — инвалида русско-турецкой войны 1877 года. Специальность, связанная с пушниной, в какой-то мере оказалась для него наследственной, и в 20-х годах уже в Москве, будучи студентом и даже окончив МГУ, молодой, подававший большие надежды поэт отдал «семейной профессии» несколько лет жизни.

Безоблачное, благополучное детство Сельвинского среди сказочных красот природы длилось всего несколько лет.

После событий 1905 года, когда наступила реакция и прокатилась волна погромов, мать Сельвинского увезла трех дочерей и единственного шестилетнего сына в Константинополь.

Воспоминания о Константинополе, затаившиеся где-то в кладовых памяти, спустя много лет всплывали неотчетливым миражем, запахам жареных каштанов, жженого кофе, коз, пенистой полосой залива и шумами базаров. Эти блики детской памяти промелькнули в поэзии Сельвинского, как вся та пестрая смена житейских кинокадров, что позднее расцвела его юность.

В Турции примерно через год Сельвинских постигло известие о разорении отца. Мать с детьми вернулась в Крым, где для семьи началась пора лишений и голода. В Евпатории мальчик поступил в начальное четырехклассное училище и окончил его в 1915 году. Тогда впервые возникла у подростка тяга к искусству, интерес к литературе, стихам. Пожалуй, поэтическое рождение Сельвинского началось с музыки разпоречья и гипнотизирующей власти моря. На окраине Евпатории, где на ветхой дачке у побережья приютилась семья будущего поэта, жили труженики разных национальностей: русские, украинцы и татары, греки, армяне, евреи, немцы, караимы, цыгане. Переимчивый детский слух жадно впитывал пестроту говоров, наречий, интонаций. Отсюда, вероятно, позднее у поэта возникло стремление передать стихом разноголосицу лексики и ритмов, оживить голоса, за которыми вырисовывались для него разные характеры, — удалось, смешное и грустное в них. Так, вероятно, упали на поэтическую почву первые зерна будущих караимских эскизов и анекдотов, цыганских рапсодий и вальсов, сугубо провинциальный, жаргонный говорок ранних экспериментальных стихотворений, таких, как «Мотькэ-Малхамовес», «Вор» и других лабораторных «проб» из первых лирических книжек поэта.

После начальной школы Сельвинский поступил в сваторийскую гимназию, которую окончил в 1919 году. Трудные материальные условия заставляли юношу одновременно с учением зарабатывать на жизнь. Физически крепкий, мужественный и выносливый паренек — отличный пловец, быстро овладевший искусством гребли, — плавал летом на рыбацкой шхуне юнгой, потом матросом. Был он патуричиком и репортером газеты, рабочим на фабрике и актером бродячего мюзик-холла — «Гротеск».

Еще в гимназические годы началось участие Сельвинского в революционной борьбе и гражданской войне. События Февральской революции прошли как-то мимо его сознания, но буря Октября, сдвинувшая вокруг все привычное и устоявшееся, вовлекла его в свой стремительный круговорот. «С самого начала революции сваторийский гимназист Илья Сельвинский был связан с группой подпольщиков-большевиков и выполнял их, порою очень опасные, «поручения»¹, — пишет автор очерка о становлении Советской власти в Крыму.

С 1918 года до осени 1920 года, когда в Крыму повсюду победила Советская власть, Евпатория трижды переходила из рук в руки. Весной 1918 года гимназию временно закрыли, и Сельвинский вступил в один из красногвардейских отрядов. В двухдневном бою под Перекопом — в апреле 1918 года — был ранен и тяжело контужен. Кое-как подлечившись и добравшись до родных мест, он осенью снова сел за парту в восьмом классе. Однако уже весной 1919 года, с приближением Красной Армии к Крыму, белогвардейская контрразведка усилила поиски и аресты подпольщиков для расправы с ними. Друзья предупредили Сельвинского, что его считают комиссаром. Кто-то вспомнил читанные им перед отправкой матросского отряда крамольные стихи:

Кому угрожаешь, белая гвардия?
Что за тобою? Ну-ка?
Мы — «чернь». Толпа? Но с нами партия,
С нами идея, наука!
А кто за тобой, кроме разного сброду?
Шпики? Полиция конная?
Кому ты грозил? Трудовому народу,
Сволочь златопогонная!²

В Севастополе, куда переехал Сельвинский, он по доносу провокатора вскоре был арестован белогвардейской контрразведкой и девятнадцать дней просидел в тюрьме в ожидании самой свире-

¹ М. Грин, *Пламенные сердца*, Гослитиздат, М. 1962.

² Там же.

пой кары. Лишь настойчивые усилия друзей вызволили его из застенка. По возвращении в Евпаторию юноша вынужден был пойти работать сезонником в немецкую сельскохозяйственную колонию «Майнаки», оттуда перекочевал рабочим на виноградники. В то памятное поэту лето он прочитал первый том «Капитала», и книга эта, воспринятая как небывалое откровение, так увлекла его аргументацией и полемическим блеском, что он тут же, в знак восторженного преклонения перед автором «Капитала», прибавил к полученному от рождения имени имя Маркса. С тех пор во всех документах Сельвинского значилось Ильяс Карл.

Казалось бы, связь с революционным подпольем, участие в гражданской войне, первые стихотворные агитки и, наконец, завладевший чувствами и воображением юноши труд Карла Маркса — все это предопределяло прямую и ясную линию движения поэта к революции. Однако жизнь, и, быть может, особенно жизнь в искусстве, нередко заставляла его отклоняться в сторону от заветной цели, чтобы зато позднее твердо стать на верную стезю... Пример Сельвинского в этом смысле поучителен.

Стихи он начал писать еще в училище, а в 1915 году кое-что даже напечатал в газете «Евпаторийские новости». Эти беспомощные строки, к тому же сильно правленные рукой бойкого редактора, позднее поэт начисто вычеркнул из своей памяти.

Поступив в гимназию, Сельвинский встретил более образованных сверстников и наставников, которые помогли формированию его литературных вкусов и пристрастий.

В ранних поэтических опытах Сельвинского следование известным поэтам неизменно сопряжено с отталкиванием от них, с попыткой в одном и том же стихотворении, придерживаясь избранного образца, преодолеть подражательность. В подобных стихах заметно влияние Гумилева, в какой-то мере Северянина, но, пожалуй, самым сильным было влияние И. Бунина, а позднее А. Блока, — по-своему продолжавших традиции классического русского стиха. Молодому поэту был близок лирический герой поэзии Бунина — человек, заряженный стихиями, познавший их мощь, свою подвластность им и власть над ними. В поэзии Бунина его пленяла образная яркость, контрастно оттеняющая философическую раздумчивость лирики с ее рассудочным сдерживанием чувств, лишь изредка прорывавшихся неудержимой страстью. Бунинская живописность, его любованье морской стихией, очарованием портовых городов, судами на рейде, океанскими просторами — всем тем, что шлифует характеры, как волны гальку, передались юному крымчаку и по-своему отразились в таких стихах, как «Зунд», «Гавань», «Бриз», «Константинополь», в коронах сонетов — «Море», «Бриг», «Богородица морей» и других.

Поэтические настроения и переживания гимназиста Сельвинского во многом сродни ряду молодых стихотворцев, начавших свое путешествие в поэзию накануне или в годы первой мировой войны.

* * *

Сельвинский шел многотрудным, извилистым путем от реалистических истоков, через полное их отрицание («Меню всех») и конструктивизм к социалистическому реализму.

В раннем творчестве поэта мир иллюзорный и реальный существуют рядом, тесня друг друга. В гимназических его стихах, составивших впоследствии основу сборника «Ранний Сельвинский», преобладают коллекция красочных зарисовок первичных внешних впечатлений подростка, некие «оттиски» школярских будней и условно символические, эстетские, во многом заимствованные мотивы и романтизированные персонажи («Красное мапто», «Рыбак», «Цыганка» и др.). Однако наряду с ними «Гимназическая муза» Сельвинского знакомит нас и с ее главным лирическим героем — провинциальным юношей, духовный рост которого связан с поэтическим восприятием окружающего. Он рвется из пут мещанского бытия, бежит от серости буден, но еще далек от ясности цели и как бы непоняет сам себе. «Эхо мое лает в меня, а я не могу ответить!..» — восклицает он.

Стремясь передать в слове живые приметы окружающего, будь то море, оперенья попугая, масть зверя или спектры закатов, — юный поэт чаще ограничивался чисто живописной задачей, и тогда изображения приобретали импрессионистский характер: *розовые чайки вьются золотой гурьбой над багровым морем*, а закат полыхает *алым костром на белом брюхе белуги* («Закаты»).

Но вскоре живописность эта становится для начинающего поэта лишь выразительной деталью, подчиненной идейно-эмоциональному содержанию («Цветные стекла»).

В сборнике «Ранний Сельвинский» особый интерес представляют стихи, написанные в 1920—1922 годах, ставшие как бы трамплином от «Гимназической музыки» к первому сборнику — «Рекорды» (1926).

Здесь образ лирического героя приобретает новые, значимые черты. Главенствует в них ощущение бурного полнокровия, жадная, восторженная влюбленность в жизнь, необузданная стихийность натуры, зачастую разобщающая эмоциональное и рационалистическое.

Великолепным лирическим выражением подобного характера может служить стихотворение «Юность». Наполненное заревым,

безудержным весельем, оно как бы несет поэта на крыльях ничем не замутненной радости бытия, когда вокруг одно лишь прекрасное бессмертие жизни:

Вылетишь утром на воз-дух,
Ветром целуя жен-щин,
Смех, как ядерный жем-чуг,
Прыгает в зубы, в ноз-дри.

В «Юности» душа лирического героя открыта всем ветрам современности, но еще не наполнена ими...

В стихах Сельвинского некоторое время давало себя знать разительное противоречие между лирическим самочувствием автора и поэтическим воплощением пережитого им. Биография юности входила в стихи как-то робко, однобоко, чаще всего отвлеченными, сугубо камерными мотивами, в которые лишь изредка врывались отзвуки окружающей его действительности, потки боевой красногвардейской страды («О, эти дни, о, эти дни и тройка боевых коней! Пертянка нынче мой дневник, кой-как царапаю на ней». «О, эти дни», 1919).

Истоки этого несоответствия в какой-то мере объясняет одна из страниц юношеской биографии Сельвинского, оставившая многолетний след в его творческих исканиях.

Будучи студентом медицинского факультета Таврического университета, Сельвинский, по его словам, зверски голодал и после недолгих выступлений в цирке шапито в чемпионате французской борьбы под именем Лурих 3-й, сын Луриха 1-го, в ожидании рыболовного сезона нанялся качать воду в евпаторийский отель «Дюльбер».

В автобиографической рукописи «Черты моей жизни» Сельвинский замечает:

«Отель «Дюльбер» — это целая эпоха моей юности. Принадлежал он артисту художественного театра Дуван-Торцову, семья которого была центром интеллигенции, жившей в это время в Евпатории... Я качал воду. С семи утра до трех дня, одетый в робу из паруса № 7, я возился в мокром и полутемном подвале, время от времени выбегая на пляж, чтобы окупаться в море. Но затем, надев свой единственный штатский костюм с галстуком-фантази, я немедленно являлся на пятничасовый чай на второй этаж и проводил время в обществе артистов, литераторов, музыкантов, художников, искусствоведов... *Школой моей стал импрессионизм. Сущностью — беспредельная преданность богу искусства...* Социально я принадлежал к людям совершенно другой природы... Жизнь бок о бок с людьми черного труда, взгляды этих людей, их симпатии и оценки воспитывали во мне стихийный демократизм

и заставляли не раз задумываться над смыслом искусства, оторванного от народа».

Вспоминая о своих паставниках в «салоне» Дуван-Горцова, Сельвинский говорит:

«Как я сейчас понимаю, они были ушиблены «неокантианством». Маркс же учил меня закономерности исторического процесса, глубочайшему влиянию экономики на идеологию, наконец, попятно класса, и Марксу я верил больше, ибо нельзя не верить науке».

Думается, что когда Сельвинский, умудренный большим жизненным и литературным опытом, прошедший горнило второй мировой войны, уже в конце 50-х годов писал приведенные выше строки, он невольно преувеличил свою былую идейную стойкость и твердость. Во всяком случае, тогда доверие к учению Маркса, ориентация на историческую закономерность и классовые принципы далеко не сразу стали для него путеводной звездой в искусстве. Подлинный мир еще некоторое время был заслонен книжным, ставшим поэтической реальностью в большей мере, чем сама жизнь. Эстетские догмы искусства для искусства, анархической свободы личности, безбрежного индивидуализма отнюдь не мигом утратили власть над юношей, начинавшим поэтический поиск.

Об этом красноречиво свидетельствует написанная им в 1920 году корона сонетов (поэма) «Юность». Здесь чувствуется похвальное стремление автора ринуться навстречу жизни с ее бурями, оторваться от иллюзий эфемерного бытия. Но лирический герой «Юности» еще далек от заветной цели: горечь и неудовлетворенность звучат в его самобичующем признании, он не может обрести себя:

А я ничей. Мне все чужое снится.
Звонят, звонят чудесные страпиды,
За томом возникает новый том.
А в жизни бродишь в воздухе пустом...¹

* * *

Осень 1920 года, когда в Крыму окончательно установилась Советская власть, принесла Сельвинскому огромное душевное облегчение. Он бросает изнурительный труд в «Дюльбере» и начинает работать в ТЕА (театральном отделе) наробраза. Вскоре он возвращается на учебу в Таврический университет, но уже на юридический факультет, а спустя несколько месяцев получает пе-

¹ Илья Сельвинский, Избранные произведения, т. I. Гослитиздат, М. 1960.

поэзии, а открывал свои *тропы* в общезначимом и специально поэтическом значении этого слова.

Студенческие годы в Москве были для Сельвинского порой больших надежд и активных поисков. Выступления начинающего поэта в молодежной аудитории проходили с шумным успехом, стихи его отмечали известные поэты и критики; появились у него и литературно-эстетические единомышленники, талантливые молодые литераторы — поэты и прозаики.

Именно в это время мучавшие его еще с юности проблемы эпической поэзии XX века предстают перед ним с большей ясностью. Революционная действительность, рождавшая невиданные ранее героические характеры, судьбы и напряженнейшие конфликты, требовала, как ему казалось, для их воплощения выдвигания на первый план жанров эпической и драматической поэзии. Максим Горький позднее поддержал ту же мысль в своем письме об апологии советской поэзии. Сельвинский, однако, противопоставлял эпос лирике. «Если народ на подъеме — возникает в литературе эпос и трагедия; спад народного взлета разбивает эпические айсберги на лирические сосульки»¹, — считал он. Тут-то и гнезвился корень расхождения Сельвинского с Маяковским.

Сельвинский был прав, утверждая, что «Октябрьская революция властно потребовала эпоса и трагедии». «...на этот призыв истории нельзя было ответить простым возрождением большой формы. Требовалось открытие каких-то новых изобразительных средств. Прежде всего поэзия должна была открыть новую интонацию повествования, пригодную для изображения типов самых различных социальных групп»², — писал он. Но поэт ошибался, не придавая должного значения тому, что Октябрьская революция изменила весь строй лирического мировосприятия народа и что именно на это Маяковский ответил атакующему классу всей «своей звонкой силой поэта», создав небывалый стиль революционного лиризма... Социалистической поэзии нужен был синтез двух жанров, а не один из них. В то время все роды поэтического оружия нуждались в обновлении и совершенствовании. А в пору первоначального становления социализма главное место на переднем крае закономерно занял ярко агитационный стих, который был поднят к самым вершинам поэзии Владимиром Маяковским и недооценен Ильей Сельвинским. Это свое заблуждение Сельвинский, со свойственной ему прямоотой, вскоре после смерти Маяковского осознал и написал об этом.

¹ И. Сельвинский, Черты моей жизни. — Сб. «Советские писатели. Автобиографии в двух томах», т. 2. Гослитиздат, М. 1959.

² Там же.

Каждая из литературных групп в те годы стремилась абсолютизировать, как самые передовые и новейшие, свои постулаты социалистического искусства. Социально-эстетические заблуждения, идейная и догматическая узость той или иной из группировок имели, конечно, свои причины, ибо являлись следствием политической ограниченности и незрелости их представителей.

О литературных группировках 20—30-х годов написано много и весьма разноречиво. За последние годы к ним проявляют особенный интерес «специалисты» по советской литературе в буржуазных странах и некоторые ревизионистствующие литераторы в странах социалистического лагеря. В их писаниях явно стремление объявить группировки знаменем «золотого века» советского искусства, расцветом его демократизма и подчеркнуть все дальнейшее развитие и успехи литературы социалистического реализма вплоть до наших дней. Построению извращающих истину концепций в отношении группировок в какой-то мере способствуют односторонние определения их сути, изобретенные и пущенные в литературный оборот адептами вульгарной социологии в рапсовской критике середины 20-х годов. Время и более пристальное изучение процессов развития советского искусства помогли объективнее оценить характер и значение литературных группировок и борьбы между ними.

«Значение деятельности этих группировок состояло прежде всего в том, что они объединяли писателей, которые совершили основной и решающий шаг — вступили в лагерь революции и уже в его пределах стремились найти свой путь к участию в создании новой культуры и новой жизни»¹, — пишет один из виднейших историков и теоретиков советской литературы Л. Тимофеев.

А в резолюции ЦК РКП(б) от 1 июля 1925 года говорилось: «В классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в частности выражаются в формах бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике».

В ряду литературных групп 20-х годов (ЛЕФ, МАПП, «Кузница», «Октябрь») конструктивисты были единственной группой, прямо провозглашавшей стремление демократической интеллигенции занять свое место в пролетарской культурной революции и в связи с этим строившей свою идейно-эстетическую программу. Такая установка представлялась идейно порочной сектантским догматам из РАПП. В конструктивизме они узрели «буржуазно-технический уклон», «непреодоленные влияния деградирующего

¹ Л. Тимофеев, Советская литература (Метод, стиль, поэтика), «Советский писатель», М. 1964.

искусства Запада», «проповедь 'технократии», «тягу к американизму». Редакционная статья одного из литературных журналов обнаружила даже в произведениях Сельвинского — «контрреволюционную суть конструктивистских взглядов».

Отрадно отметить, что в последние годы в печати появляются прямые высказывания о том, что... «следует отделить само понятие «литературный конструктивизм» от более широкого и специфического направления буржуазной идеологии конструктивизма на Западе»¹. Думается, эта верная предпосылка получит еще более широкую научную разработку.

В поисках поэтического стиля новой социалистической эпохи Сельвинский еще в студенческие годы собирает маленький кружок единомышленников, который становится ядром будущей группы конструктивистов.

Вначале туда входили И. Сельвинский, К. Зелинский и А. Чичерин. Осенью 1923 года ими был издан сборник «Мена всех». А. Чичерин, придерживавшийся крайне формалистических позиций, вскоре же отошел от группы, а осенью 1924 года была создана новая группа, назвавшая себя ЛЦК (Литературный центр конструктивистов).

К 1929 году ЛЦК объединял литераторов: Б. Агапова, Н. Адуева, В. Асмуса, Э. Багрицкого, Г. Гаузнера, Е. Габриловича, К. Зелинского, В. Инбер, В. Луговского, Н. Панова, И. Сельвинского, Н. Ушакова и других.

По замыслу его создателей ЛЦК должен был помочь переходу интеллигенции к более тесному сотрудничеству с Советской властью, к чему призывала и резолюция XII партконференции РКП(б) 1922 года. Соответственно эпиграфом к декларации ЛЦК был поставлен лозунг: «Конструктивизм — этап к искусству социализма». В сборниках ЛЦК — «Госплан литературы» (1925) и «Бизнес» (1928), где был опубликован «Кодекс конструктивизма» И. Сельвинского, — читатель знакомился с произведениями участников группы и с их теоретическими статьями, которые развивали основные формально эстетические требования, принципы и установки конструктивизма (тактовый стих, смысловая доминанта, принципы грузофикации и «инфляции прозы», «локальный метод» и т. д.).

Отстаивая определенные стилевые приемы как литературное течение, ЛЦК, как участник процесса социалистической культурной революции, прямо признавал в своей декларации, что «последелем конструктивистского (то есть напористо организационного

¹ Сб. «Маяковский и советская литература», изд-во АН СССР, М. 1964.

и культурнического) движения должен явиться прежде всего пролетариат, а затем промежуточные социальные группы, находящиеся под идейным влиянием пролетариата».

«Мы начали с формальных исканий и пришли к революции», — заявил Сельвинский в 1925 году. О неустанных поисках путей все более тесного сближения с пролетарским литературным движением, с революционно-социалистическими исканиями, свидетельствуют и соглашения ЛЦК и МАПП (в 1925 г.), и близость Сельвинского к ЛЕФу, но всего наглядней это сказалось в творческой эволюции самого поэта. В первом же сборнике И. Сельвинского — «Рекорды», который был демонстрацией возможностей и направления конструктивистской поэтики, есть стихи, обозначающие сущность социальных тенденций поэта. В дальнейшем они, от книжки к книжке, все глубже и весомей скажутся во всех жанрах его поэтического творчества.

Таковая просодия, выдвинутая и разработанная Сельвинским, кстати сказать, не придуманная им, а восходящая к особенностям былинного стиха, была новаторским вкладом и дополнением таких важнейших формальных открытий русской поэзии XX века, как «паузник» А. Блока и «ударник» (ударный стих) Маяковского. Расширяя диапазон поэтических интонаций и ритмических ходов, тактовик позволял передавать стихом разноголосие лексических оттенков, чувств, говор, раздумий, настроений, страстей героев разных эпох, наций и социальных слоев. Получив наибольшее развитие в творчестве Сельвинского, тактовик позднее стал в той или иной мере достоянием многих советских поэтов. Некоторые стилевые приемы конструктивистов, открывая новые метафорические возможности стиха, давали тем самым дополнительный импульс размаху поэтической фантазии.

Однако искренность намерений служить революции соседствовала у конструктивистов с недостаточной отчетливостью и глубиной понимания ими исторической обусловленности гегемонии пролетариата в революции, с недооценкой роли политической сознательности трудящихся масс.

Призыв партии — «Техника в период реконструкции решает все!» — был воспринят конструктивистами как главный маяк культурного развития страны. Отсюда возникал утилитаризм и известное преувеличение роли технической интеллигенции. У Сельвинского эта концепция нашла отражение в поэме «Рысь» и в романе в стихах «Пушторг».

Стремясь сочетать доминанту социального содержания с формальными изысками и даже трюкачеством, конструктивизм временами выглядел причудливым гибридом вульгарного социологизма и формализма.

Поскольку принципы конструктивизма ограничивали меру и глубину постижения современности в ее сложных социальных противоречиях, а развитие социалистической действительности приносило все новые приметы победы ленинских идей в экономике, идеологии и культуре, некоторые поэты — И. Сельвинский, Э. Багрицкий, Вл. Луговской, В. Инбер, Н. Ушаков и другие — в стремлении передать во всей реалистической полноте правду жизни все решительнее переступали в своем творчестве догмы и каноны конструктивизма.

Упрочение фундамента социализма создавало предпосылки большего единения всех культурных сил, превращало литературные группировки 20-х годов в анахронизм, и они распались в разное время незадолго до ликвидации РАПП, где в начале 30-х годов догматическое сектантство и обособленность становились помехой на пути консолидации писателей разных направлений, отдававших свой талант служению народу и социализму.

* * *

Илье Сельвинскому не пришлось намеренно искать тесных связей с действительностью — единственным источником подлинного, передового, демократического искусства. В студенческие годы и еще некоторое время после окончания в 1923 году МГУ он служил в Центросоюзе и часто ездил по стране — «от Бузулука до Кингисеппа», побывал на Дальнем Востоке и Дальнем Севере. Самые ранние из служебных командировок проходили в местах недавних действий анархистско-бандитских отрядов. В воображении поэта оживали картины острейших схваток молодого пролетарского государства с буйным разливом стихийщины. Огромной важности животрепещущая тема, еще почти нетронутая литературой, как бы сама шла навстречу думам Сельвинского об эпохе. Так возник замысел эпопеи «Улялаевщина», которая создавалась в 1923—1924 годах.

Крестьянская тема, владевшая умами многих писателей 20-х годов, получила в эпопее самобытное поэтическое решение, отобразив революционную действительность в бурных трагедийных столкновениях и внутренних коллизиях. Сельвинский создал в «Улялаевщине» типы и характеры, воплощающие разгул эсеро-кулацкого сопротивления пролетарской революции.

Поэтическая идея эпопеи заключалась в раскрытии духовного преобразования и прозрения широких масс трудового крестьянства в атмосфере острейших классовых схваток, когда, одолевая и укрощая разлив мелкобуржуазной стихии, в жестоких испытаниях побеждает ленинская Правда. Замысел эпопеи не исчерпы-

вался сюжетной канвой. Речь в ней шла не только о подавлении анархистско-кулацкого восстания и разгроме «улялаевщины». За картинами схваток ощущалась мысль о том, что несет революции стране, народным массам и интеллигенции.

Еще до выхода отдельным изданием (в 1927 г.) «Улялаевщина» в списках получила известность и признание в литературной среде и в молодежных аудиториях любителей стиха. Эпопея покорила поэтическими красками, неожиданными ритмами, словом юмора и лиризма, гротесковости и реалистической живописной рельефности портретов и характеристик. Особенно запомнился образ Улялаева, передававший своеобразие характера бандитского вожака во всех оттенках его внешней и внутренней «эффектности», как живописные лохмотья прикрывавших его черную, безнадежно враждебную народу, волчью душу. Более художочной и схематичной выглядела противостоящая Улялаеву фигура комиссара-коммуниста Гая.

Литературная критика, признавая поэтические достоинства эпопеи, справедливо отмечала идейные ее просчеты: романтизацию образа Улялаева и недостаточную политическую определенность характера Гая. Упреки эти в какой-то мере объяснялись особенностью постановки темы эпопеи, заключающейся в том, что автор вел повествование о борьбе анархической партизанщины против революционной пролетарской организованности, а не наоборот.

Вторая редакция «Улялаевщины», которая приведена в данном Собрании сочинений, впервые была опубликована при жизни автора, в 1956 году. Здесь поэт, в соответствии с более глубоким и зрелым переосмыслением первоначального замысла, нашел новые краски для изображения внутреннего мира и психологии Гая и некоторых других представителей пролетарского лагеря. Поэт обогатил эпопею сильными строками, характеристиками, одновременно убрав некоторые натуралистические излишества и издержки неоправданного словотворчества. Вторая саморедакция поэта сделала замысел более отчетливым и внутренне закономерным в его развитии и финале.

Главное же, что придало глубину и ценность второй редакции эпопеи, это серьезная работа поэта над образом Ленина.

В композиции новой редакции «Улялаевщины» появление в последней главе Ленина, диктующего декрет о проддогоде, уже не эпилог, уточняющий смысл сюжета, а внутренне подготовленное логическое завершение идейно-политического замысла эпопеи. Фигура Ленина здесь и философски и эмоционально возвышается над изображением улялаевщины и начинает жить

не как некий символ исторической правоты, но как идейно-одухотворенный, поэтически насыщенный, человеческий образ пародной Правды.

Успех эпопеи окрылил поэта, вызвал новый прилив творческой энергии и позволил Сельвинскому быстро реализовать теснившиеся в его душе широкие эпические замыслы и даже впервые испытать свои силы в самом сложном синтетическом роде поэзии — драме.

В 1927—1928 годах Сельвинский создает первый в советской поэзии роман в стихах — «Пушторг», вызвавший в литературных кругах бурные споры. В романе в острейших коллизиях предстает тема «интеллигенция и революция». Сюжет романа был подсказан автору непосредственным его знакомством с атмосферой и работой трестов в период нэпа. Идейный пафос «Пушторга» был выражением тревоги трудовой интеллигенции против искажений партийной линии в отношении к специалистам. Линия эта была запечатлена во многих ленинских высказываниях и требовала бережного, вдумчивого подхода к использованию специалистов, готовых преданно служить строительству социализма. Сатирическое острие романа направлено против партийных бюрократов, примазавшихся к партии мелкобуржуазных элементов с воззрениями замаскированных троцкистов... Именно таков основной отрицательный персонаж с партбилетом, руководитель треста — Кроль, доводящий до самоубийства талантливого беспартийного специалиста — Полуярова, человека сложной биографии, психологии и судьбы.

Роман, написанный октипами с большим разнообразием интонационных ходов, метафорических и образных открытий, со сгущенно гротесковыми, сатирическими нотами и одновременно пронизанный лиризмом, был воспринят тогдашним читателем и критикой, как знак дальнейшего роста поэтического дарования Сельвинского. Однако небывалая до тех пор постановка проблемы с ее острыми гранями и особенно сопоставление двух таких персонажей, как Кроль и Полуяров, явно пастораживали. Тем более что предельная распаленность чувств поэта порою нарушала объективность и реалистическую меру изображения конфликтов. Это особенно сказалось в прологе и некоторых лирических отступлениях литературно-полюемического характера, имевших су-гобо злободневный смысл.

Роман был несвободен и от палета крайнего натурализма некоторых деталей, от задристой тенденциозности в духе бытовавших тогда присмов литературно-групповых драчек. Осипами кое-где рассыпаны были в изобразительной ткани романа и нарочитые трюкачества.

Однако несправедливо было бы не видеть за просчетами и стилистическими сбоями живую душу романа в стихах. Оптимистическое звучание «Пушторга» заложено во всем ходе развития событий и характеров персонажей, оно сулит полный разгром крелевщины и победу партийных принципов всемерного использования интеллигенции, специалистов из ее среды на благо социализма...

Эпос Ильи Сельвинского, начиная с «Улялаевщины» и кончая романом «Арктика», знаменует собою все более проникновенное идейно-эстетическое постижение требований эпохи, черт нового, складывающегося в борьбе и мировосприятии ее строителей.

Развитию эпоса во многом способствует обогащение биографии поэта. После роспуска ЛЦК он, стремясь духовно войти в сферу интересов и психологии рабочего класса, в 1930—1932 году работает сварщиком на Московском электростроительном заводе. Позднее едет освобожденным Союзпешником на Камчатку, где изучает быт малых народностей Крайнего Севера. Непрерывная жажда активного участия во многих социалистических начинаниях страны приводит его в 1933 году на ледокол «Челюскин» в качестве корреспондента «Правды». В эти годы мировоззрение поэта обретает все большую марксистско-ленинскую ясность, твердость и широту кругозора. А тема интеллигенции, продолжающая творчески волновать поэта, теперь предстает перед ним на более высокой орбите философского осмысления. Преамбулой к такому ее пониманию стал период постепенного, медленного и отнюдь не безболезненного изживания конструктивистских предрассудков. Сомнения в их абсолютной ценности у поэта начались еще в середине 20-х годов и получили поэтическое воплощение в стихотворной повести «Записки поэта».

Оригинальные по содержанию и форме, «Записки поэта» являются своеобразным прощанием с конструктивизмом и передают некоторые автобиографические события литературной жизни ее автора. Но вместе с тем Сельвинский намеренно воздвигает границу между лирическим героем повести Евгением Неем и автором. Евгений Ней — придуманный Сельвинским поэт, представленный в повести целым сборником его стихов «Шелковая луна», которому предпослана статья о поэте вымышленного критика Галицкого. Ней — абстрагированная фигура поэта, зараженного декадентским эстетством, барахтающегося в волнах разноречивых литературных течений, которого ненадолго прибило к берегу ЛЦК, где он тоже лишней. Трагический конец героя повести, развенчание в ней «неизма» знаменуют тот узел сомнений, с которого начинается для Сельвинского освобождение от родимых пятен эстетства. Желая подчеркнуть типичность «неизма» как

пагубного оттенка мелкобуржуазной дряблости, отрешенности от большого мира социальной борьбы, бегства от него в иллюзорный мир суесловия,— Сельвинский не сразу расстался с погибшим в юности Евгением Неем. Он «воскресил» его в трагедии «Командарм-2», сделав в какой-то мере Окенного его духовным двойником, вложив в уста самозванного командарма выспренный сонет Евгения Нея — «Закат пылал, как шкура леопарда...».

Похоронив «неизм», внутренне разорвав идейно-эстетические нуты конструктивизма, Сельвинский уверенней приближался к истокам социалистического реализма. Новый рубеж мировоззрения поэта со всей определенностью выражен в его письме Ромену Роллану в декабре 1930 года, где Сельвинский высказывает выстраданное на собственном опыте мнение, что в классовом обществе «понятие индивидуальной свободы — лицемерное порождение насквозь фальшивой буржуазной философии», что в классовом обществе никаких внеклассовых или надклассовых, выходящих над схваткой — «особых индивидуальных путей для интеллигента нет».

С этой мыслью поэт вновь обращается к широкопанорамному, эническому воплощению темы «интеллигенция и социализм» в ее идейно-политическом, социально-психологическом и нравственном аспектах. После «Пушторга» (1927) и пьесы «Командарм-2» (1928) он создает философско-фантастическую драму «Пао-Пао» (1932), пробует разнообразные и разнохарактерные подступы к решению этой же проблемы в лирике («Тихоокеанские стихи», «Декларация прав поэта»), в полужурналистской «Электрозаводской газете», созданной в 1932 году. Нити многолетних напряженных раздумий Сельвинского о строительстве социализма, о месте в нем интеллигенции тянутся к эпохее «Челюскинчана» и более позднему, уже послевоенному ее воплощению — роману «Арктика». Здесь сходятся в единый философский узел и в известной мере получают обобщенное решение итоги жизненных наблюдений, выводов и размышлений поэта о духовной мощи коммунизма, о личности и обществе, индивидуальности и индивидуализме, о судьбах искусства, и прежде всего поэзии, неотрывной от глубинной правды современности.

«Арктика» — роман полемический, интеллектуально многослойный. Эпиграфом к нему поэт мог бы поставить собственные строки: «Нет ничего сложнее на земле советского простого человека». Жанровая необычность, перемежающиеся в нем пласты лирических описаний и монологов, прозаических отступлений и диалогов, пояснительных внутренних цитат — все это требует от читателя сосредоточенного проникновения в сущность авторского замысла. Она в том, чтобы в одном драматически насыщенном

события (беспримерный поход ледокола) раскрыть через характеры и судьбы его героев существенные стороны духовной жизни времени: Издержки и просчеты в осуществлении столь грандиозного замысла, видимо, не пройдут мимо пронзительного и требовательного читателя. Однако они отступают перед идейно-философской и художественной весомостью романа, где лирика и публицистика слились в страстном постижении философских примет нашей эпохи, гуманистической сущности советского человека, смысла нашего бытия.

* * *

Эпические полотна Сельвинского с их плотной интеллектуальной насыщенностью и рационалистическим потенциалом в пересказе могут показаться дидактичными, если извлечь из них только корень социально-философских концепций, облаченных в стих. (Это, кстати сказать, нередко подводило критиков и как-то влияло на читателя.) Но пленительная особенность эпоса Сельвинского в мощном заряде лиризма, который пронизывает каждую изобразительную деталь обстановки, событий, душевных движений героев.

Взаимопроникновение эпичности и лиризма составляет одну из граней драматической поэзии Сельвинского, которая, начиная с середины 30-х годов, занимала в его творчестве главенствующее место.

В эту пору все возрастающее и крепнущее чувство глубокой ответственности перед народом «планеты социализма» обострило в поэте стремление стать ближе, понятней массовому читателю стиха.

Экспериментально-лабораторные опыты остались позади. Овладев разнообразным арсеналом выразительных возможностей, Сельвинский подошел вплотную к новой труднейшей, насущной для каждого подлинного художника задаче, которую он поэтически сформулировал так: «Где взять мне той чудесной простоты, которой требует моя эпоха?»¹

Поиск магического кристалла, фокусирующего со всей силой красоты и правды сложное в простом, привел к тому, что лирика Сельвинского — интеллектуальная энциклопедия его души — стала в известной мере и лирической летописью эпохи. При этом мир наблюдений, пристрастий и сердечных тревог поэта с годами обретает все большую силу проникновения в глубь явлений духовного мира современника.

¹ Начало III главы 2-й редакции «Улялаевщины».

Выдающиеся, памятные многим стихи Сельвинского озарепы поражающей мерой духовного прозрения поэта. И хотя рядом с ними встречаются порою вещи меньшего эмоционального напряжения, нет в его лирике, однако, почти ни одного стихотворения без запрятанных, иногда затаенных импульсов весомых мыслей, без увлеченности, пламени чувств и страстей, без образных находок.

Лирике Сельвинского дано особым поэтическим чувством соединять все реальные физические чувства, передавая в эмоционально зрительном образе осязаемость, цветовую гамму, ароматы, ожившие говоры во всем богатстве их оттенков и мелодики.

Благодаря этому возникает и еще одно чувство, в неуловимости и изменчивости своих черт трудное для аналитического расщепления, но каждый раз придающее образу лирического героя вполне определенную социально-историческую и нравственно-этическую, философскую очерченность.

Лирический герой стихов Сельвинского как будто один и тот же, но он предстает перед читателем в разные, резко различимые эпохи его бытия. Духовный кругозор его широк, пытлива и неутомима ищущая мысль, многообитен жизненный опыт и регистр сердечных самоощущений. Душа его чутка к перипетиям и тревогам исторических поворотов, в их сопричастности к сердцу человеческому, к его горестям, радостям и надеждам.

Лирике Сельвинского присуща связь и с музыкой. Собственно говоря, тактовая просодия, которую отстаивает поэт, не что иное, как музыка поэтической речи, музыкальный ее ритм. Многокрасочность мира, безграничное богатство и своеобразие его оттенков привлекали Сельвинского с самой ранней юности. Лирика Сельвинского, которая в настоящем издании представлена с наибольшей полнотой и последовательностью, дает возможность читателю ощутить ее во всей полифоничности, на всех стадиях ее развития.

Пройдя сквозь серьезные жизненные испытания и преодолев некоторые надуманные каноны, поэт дошел до большой интеллектуально-философской насыщенности и выразительной ясности стиха. В 30-е годы он создает такие стихи, как «Охота на нерпу», «Белый Песец», «Великий океан», «Читатель стиха», «Охота на тигра», «Портрет моей матери», «О дружбе» и другие. В каждом из них лиризм раздумчив, драматичен, поэт неустанно дерзает, изобретает, новаторски преображая стих.

Лирика Сельвинского и в названных стихах, и в более поздних не гладкоствольна. Она полна противоречий и часто отражает тревоги времени, остроту литературных конфликтов. Воз-

пикает иногда в лирической интонации и подлинный трагизм непонятости («В каком бы часу я ни лег...», «Занимаюсь от злости немецким...»), и высокий оптимизм упований («Читатель стиха», «Прелюд», «Мамонт»).

В таких высокочастотных исповедах сердца, как «Охота на перну», «24/X-1933», «О дружбе», выплеснулось то, что и в страстностях, и в полете возвышающего душу вдохновения откликалось незатихающим эхом, саднило и бередило.

Лучшие лирические стихи Сельвинского неизменно наполнены дыханием современности. Стремясь радостно оглядеть горизонты социализма, поэт создает стихотворение «Великий океан» — гимн и тост в честь тех, чью грудь наполнило великое дыхание океанской мощи революции:

Такого тощца не загрызет,
Такому в беде не согнуться —
Он ленинский обоймет горизонт,
Он глубже поймет революцию.

Вдохни ж эти строки! Живи сто лет —
Ведь жизнь хороша, окаянная...

Пуускай этот стих на твоём столе
Стоит, как стакан океана.

Рядом со стихами о сложном пересечении орбит времени, о разномастном богатстве чувств человеческих, о любви, дружбе, о правах поэзии, ее назначении и месте в духовном мире современника пафос коммунистического мировосприятия своеобразно сказался в стихах поэта о загранице («Сверчок», «Лавка уличного башмачника», «В японском театре», «Панна Польша», «Сту-чай на улице Ринг», «На концерте», «Разговор с дьяволом Парижа», «Джаз», «Hôtel «Istria», «Что такое Англия?», «Могилы Неизвестного солдата», «Синий час» и др.).

Встреча с буржуазным Западом столкнула поэта с зыбкостью идеалистических философских позиций, цинизмом и жестокостью идейно-нравственных устоев бытия, порою импозантных с виду, но безжалостно антигуманных изнутри. В стихах о Берлине, с их сдержанно яростным сарказмом («Литературный диспут», «Антисемиты», «Диспут политический») поэт в 1936 году рисует четкий силуэт омерзительного лица фашизма с его лицемерием, рабовым изуверством, кровожадным расчетом на «позицию силы». Искрам ненависти в этих стихах доведется еще разгореться ярким пламенем в годы Великой Отечественной войны. Не случайно в ту

пору, когда писались антифашистские стихи, Сельвинский по-повому ощутил роль поэзии, ее место в народном подвиге:

Проверим же наши метафоры,
Громы, огни и стяги,
Быть может, придется завтра
С песней идти в атаки.

Звнящее слово — это не кружево,
Не перлы, где переливы льются,
Звнящее слово — это оружие
На карауле у революции.

Идейно-поэтическое мироощущение поэта, выраженное в его стихах 30-х годов (особенно второй их половины), приближало Сельвинского к осуществлению его юношеской мечты «стать поэтом революции».

Стихи эти были теми лирическими крыльями, которые позволили ему в годы военных испытаний «набрать высоту» единочувствия с народом. Они же естественно привели поэта к исполнению давнего веления души — вступлению в 1939 году в ряды Коммунистической партии.

А вскоре молодой коммунист и широко известный поэт старшего поколения Илья Сельвинский оказался на переднем крае борьбы с фашизмом, среди других преданнейших бойцов фронтовой печати.

«Четыре года, проведенные мною в самой гуще армии в тот исторический момент, когда с особенной силой и ясностью вскрылись лучшие стороны народного духа, произвели во мне огромный переворот,— пишет он.— Я затрудняюсь сказать, что именно произошло со мной на войне: пафос человека, эпохи и прежде был определяющей чертой моей психики. Но только на войне я почувствовал, какое глубокое внутреннее удовлетворение (что-то сродни ощущению бессмертия) даст этот пафос, когда он существует не сам по себе и не во имя самого себя, а прямым образом и до конца посвящен судьбе народа»¹.

Без преувеличения можно сказать, что с 1941 года тема родины стала генеральной темой лирики Сельвинского. В патриотическом чувстве слилось для него очень многое, выпестованное, выстраданное за всю жизнь. Публицистический пафос, страстная исповедь души, эмоциональный порыв запечатлены в таких стихах военных и послевоенных лет, как «Поэзия», «Родина», «Кто мы?», «Лебединое озеро», «О родине», «Я это видел!», «Аджи-Мушкай», в балладах «О ленинизме», «О Лааре», «О танке КВ»,

¹ И. Сельвинский, Черты моей жизни.

В таких образно лирических откровениях, как «Тамань», «Кубань», «Крым», «Севастополь» и другие.

В грозный час родина — Россия ощущается поэтом не только как кровно дорогой, исконно отчий край, но и в глубинном интернациональном значении колыбели социализма, революционного будущего, Свободы и Правды, маяка для тружеников всего мира.

Чувство это продиктовало поэту слова:

Убить Россию -- это значит отнять надежду у земли.

Вместе со всеми народами нашей страны, поднявшись на справедливую, священную войну с фашизмом, шагала в солдатской шинели советская поэзия. И Сельвинский по-новому увидел роль ее и место в тяжчайших кровавых схватках.

Поэзия! Ты — служба крови!
Так перелей себя в других
Во имя жизни и здоровья
Твоих сограждан дорогих.

В фашизме поэт заклеил нечто глубоко противостоящее человечеству, его природе, истории, прогрессу, гуманизму... В самом начале войны он пишет стихотворение «Фашизм»; заключительные строки его звучат как откровение чистой совести народа-созидателя:

Кто говорит — «безумье века»?
Ложь! В искривленной тайнами сфере
Вижу восстание рыжего зверя
Против владычества человека.

Многие фронты облетели, вызвав ответный отклик воинов, напоенные гневом и проклятьем, овеянные преклонением перед народным героизмом, стихи о фашистских зверствах, рождающих ненависть к врагу и яростно несокрушимый победный отпор («Я это видел!», «Аджи-Мушкай», «Баллада о ленинизме» и др.). Поэт в дни войны берет на вооружение все возможности поэзии. Пишет и агитки, и частушки, и песни, и гневно-сатирические памфлеты о вожаках фашизма, столь бесповинне Геббельса. Но при этом никогда не расстается с лирой истинной поэтичности, которая в лучших его военных стихах придает возвышающую силу праведным чувствам гнева и мести.

Мы отстоим тебя, Тамань, за то, что ты века
Стояла грудью боевой у русского древка.

.....
За этот дом, за этот сад, за море во дворе,
За красный парус на заре, за чайк в серебре,
За смех казачек молодых, за эти песни их,
За то, что Лермонтов бродил на берегах твоих.

Сгущенная поэтичность заключительных строк «Тамаш», увенчанная именем великого русского поэта, оттеняет очень важную, присущую многим военным стихам Сельвинского, мысль о лиризме как неотъемлемой частице народного духа. Бои за отечество для него вмещают и сражения за поэзию, а образ Родины неотделим от Поэзии в самом широком смысле слова.

Ассоциативная многоплановость, в природе лирического дара Сельвинского. В лучших его стихах, пусть не всегда различимая с первого взгляда, существует взаимозависимость мысли, образа и чувства. Она-то сквозь ряд «превращений» и подводит читателя к раскрытию главного, сокровенного лирико-философского ядра.

В лирике военных и послевоенных лет особенно весома еще одна черта идейно-поэтического мироощущения поэта: единство этического и эстетического. Проповедь в стихах высоких нравственных начал подкреплена патриотической позицией автора в годы войны, его стремлением всегда быть на переднем крае нашей современности. Восславляя боевую храбрость, смелость и отвагу, поэт на фронте ведет себя как мужественный боец, рвется туда, где идут тяжкие бои. То, о чем он пишет, выстрадало им самим рядом с другими участниками фронтовой героики, пережито лично, а не сочинено понаслышке. Если лирический герой его стихов ратует за правду дел и чувств, то это оплачено прямодушным, честным, смелым поведением поэта в литературных схватках и дискуссиях, его непоколебимой позицией поэтического глашатая социализма. При этом Сельвинский умеет говорить о настоящем как бы из будущего, образуя в стихе тот внутренний «пафос дистанции», который создает атмосферу эпичности и оттеняет в живых деталях повседневности их исторический смысл.

На память приходят десятки стихотворений, каждое из которых несет в себе мощный заряд лирической энергии и поэтического раскрытия неисчерпаемых сокровищ мыслей и чувств человеческих. Глубоки и многозначительны философский эскиз «Труд», многие сонеты, стихотворения «Карусель», «Весеннее», «Человек выше своей судьбы», «Что такое «золотое счастье»?..», «Не верьте моим фотографиям...», «Счастье — это утоление болш...», «Обыватель верит моде...», «Заклинание», «Художница», «Был я однажды счастливым...», «Паганини», «Бетховен» и другие. Форма их гибка, разнообразна и привлекает радужной изобретательностью, новаторством глубоко освоенных и мастерски обновленных традиций русского стиха.

«Углубляясь в стихи, я не раз чувствовал себя Колумбом. Одной из моих Америк был Илья Сельвинский,— писал Нааым Хикмет.— Он золотискатель в поэзии... Большой поэт, смелый искатель, дерзкий мастер... Сельвинский открыл до меня, что слова имеют запах и цвет, что некоторые из них сделаны из дерева, иные — из железа, третьи — из хрустала. Что можно и нужно широко пользоваться классическим и народным наследием, обрабатывая его инструментами новейшей поэтической техники... Луначарский называл поэта «виртуозом стиха» и говорил, что «Сельвинский — это Ференц Лист в поэзии». Маяковский тоже высоко ценил его дар. Он, как известно, был скуп на похвалу и все же сказал: «Один из самых лучших поэтов современности — Илья Сельвинский»¹.

В лирике Сельвинского тесно сплелись восторженная патетика правды и сарказм в отвержении зла. Его чуткое сердце патриота не расстается с заветной мечтой увидеть коммунистическое завтра.

«Как высшую хочу я благодать — одним глазком взглянуть на коммунизм», — пишет Сельвинский в 1957 году. Даже тяжело больной, предвидя скорое расставание с жизнью, он до последнего вздоха остается «рыцарем стиха», с неумной неудовлетворенностью сделанным, несмотря на глыбы творческих свершений...

Лирика Сельвинского до самого последнего времени так же нравственно взыскующа. Поэту, как и прежде,

Для счастья нужно очень много:
Чтобы у честности в стране
Была широкая дорога.
Чтоб вечной ценностью людской
Слыла душа, а не анкета...

Жажда быть понятным и близким читателю, остаться своим стихом нужным народу неотступно владела поэтом. Но при этом он решительно отвергал всяческое подлаживание под упрощенческий стиль, что «обходится сотней словечек». Горько бывало ему оттого, что он не всегда слышал многоголосое эхо в ответ на свои сокровенные строки. Но надежда не оставляла поэта, и вновь он обращался к широкой аудитории любителей поэзии:

...немало я сил затратил,
Чтоб стать доступным сердцу, как стоп.
Но только и ты поработай, читатель:
Тоннель-то роется с двух сторон.

¹ «Литературная газета», 17 декабря 1960 г.

В лирическом самораскрытии Сельвинский дает ключ к постижению его поэзии, все «тайны» которой откроются лишь тем, кто отважится нырнуть за шемы в пучины его стиха:

Словно айсберг в середине мая,
Проплыв свою голубизну;
Над водой блестит одна седьмая,
А глыбы уходят в глубину.

* * *

Психологическая проникновенность и напряженный драматизм эпического и лирического дарования Сельвинского открыли ему путь к поэтической драме — этому высшему, по словам Белинского, роду поэзии, где эпос и лирика, словно реки, дошедшие до океана, образуют стихию, способную передать кипенье всех страстей человеческих. Отразить в конфликтном развитии характеров бури трагедий и беспоконное затишье умиротворенный, поступь истории и драматические коллизии любящих, враждующих, неутоленных сердец, порывы духа, озарение таланта, страдания ума и величие гения... Словом, все, что носит краткое название — жизнь!

Сельвинский зачинатель советской поэтической трагедии. Для поэта она — синтез всех его поэтических устремлений и открытий. М. Горький в письме к И. Бабелю писал: «...остаются жить только те драмы, которые родственны «высокому искусству трагедии»...»¹

Для Сельвинского поэтическая драма и трагедия занимают особое место в новаторских открытиях драматургии социалистического реализма. Поэт объясняет это спецификой синтеза условности поэтической и театральной. «Герои разговаривают стихами, как на самом деле не бывает в жизни. Условность распространяется и на характеры героев, развитые порою до гиперболы, чего в действительности тоже не бывает. И тем не менее подобные пьесы (их вершина — Шекспир), кристаллизующие бытие в резко очерченных образах, могут стать очень точными катализаторами жизни», — писал Сельвинский.

В его собственных пьесах, как правило тяготеющих к шекспиразации, многозначна палитра идейно-философских, духовно-нравственных, этических и морально-психологических столкновений и конфликтов. В трагедиях поэта все устремлено к тому, чтобы показать жизнь в ее генеральных тенденциях, в разные исторические эпохи, преимущественно в реальных и лишь иногда в условно фантастических ситуациях и обстоятельствах.

¹ «Литературное наследство», т. 70, стр. 44.

Пьесам поэта вообще свойственна многослойность и диалектичность авторской мысли. Возможно, поэтому в иных пьесах быстрый, поверхностный взгляд сразу не улавливает суть отдельных философских звеньев. Не это ли сыграло известную роль в недооценке их некоторыми критиками и театральными деятелями, которые вообще склонны были опасливо относиться к поэтической драматургии, если перед ними не иллюстративно-исторические или чисто бытовые сцены в стихах. Сельвинский же сознательно не желал «выравнивать» внутренний сюжет своих драм и трагедий по линейке формальной логики, не хотел он и облегчать (упрощать) их поэтическое решение.

В своих пьесах, которые можно назвать «Театром поэта», Сельвинский иными средствами, на новом плацдарме ставит те же, что в лирике и эпосе, коренные историко-социальные, идейно-философские и нравственные проблемы современности. Его драмы и трагедии разнообразны по темам, жизненному материалу изображаемой в них эпохе, национальному колориту, стилизованным приемам.

С прощкнувенной естественностью и наглядностью раскрывает Сельвинский духовные перемены в жизни малой народности — чукчей, приобщающихся к социализму, в драме «Умка Белый медведь» (1933). Почти рядом с этой, одной из самых удачных пьес поэта возникает фантастический гротеск «Пао-Пао» (1932), переносающий читателя и зрителя в Германию времен зарождающегося фашизма. Германский фашизм вновь, уже не в предощущении, а в реалистических острейших коллизиях увиденный глазами участника минувшей войны, предстанет перед нами спустя четверть века в философской трагедии «Читая Фауста» (1947).

К концу 30-х годов поэт обращается к исторической драматургии. Развиваясь параллельно с лирикой, она зачастую оттесняла эпические замыслы, и, вероятно, поэтому пад былинным эпосом «Три богатыря» и романом «Арктика» Сельвинский трудился более четверти века.

С неистощимой творческой фантазией переносится поэт от картин Руси XVI—XVIII веков («Рыцарь Иоанн», «Ливонская война», «Царь да бунтарь») к легенде о Бабаке (древний Азербайджан IX века) в трагедии «Орла на плече посящий».

Сегодняшних читателей, быть может, удивит, что поэт, столь ревностно и полемично откликавшийся на проблемы современности, вдруг углубился в дебри истории. Между тем такой «скачок» был для него вполне естественной и закономерной гранью его глубоких творческих исканий.

«Моя историческая драматургия для меня связана с моими поисками современного идеала...» — признавался Сельвинский в письме ко мне от 28 апреля 1961 года.

Целью его исторической драматургии было образное, трагедийно напряженное отражение непримиримых сословно-государственных и социально-психологических противоречий, раскрытие народных истоков правдоискательства и бунтарского, революционного свободолюбия.

В своих пьесах автор стремится показать взаимосвязь судьбы исторической и народной в моменты острых социальных столкновений и сдвигов.

Уже после смерти поэта обнаружена в его дневниках 50-х годов запись, которая в известном смысле может служить объяснением лирико-философской основы его исторической драматургии: «История не просто хронология. Это прежде всего лирика, исповедь народного сердца». Такая исповедь, пронизанная молниями социальных гроз и бедствий, накаленная жаром чувств, звучит то во внутреннем монологе Болотникова, то в разговоре Андрея Чохова с колоколом, то в непреклонной отповеди Кирилла Чохова тем, кто пасует перед испытаниями суровых будней пролетарской борьбы за победу Октября.

Исповедь народного сердца несет особый оттенок в образе «рыцаря Иоанна». Источник трагедии Болотникова не во внутреннем разноречии натуры героя. Выходец из народных низов, он на чужбине, во многих походах, достиг почестей признанного полководца. Но это лишь внешне выделяет его из бунтарской крестьянской массы. Болотников охвачен памятными видениями бесприютного, голодного детства, раздумьями о вечных недородах, бесправье, непосильных поборах, что ярмом висят на крестьянском горбу, бережат душу, вздувая в пей мятежный жар. Трагедия Ивана Болотникова — трагедия героя, опередившего свое время, возглавившего восстание, которому в условиях России XVI века не дано было победить. Однако трагедийность пьесы пропизана возвышающим оптимизмом исторического прозрения. Он зримо звучит в предсмертном обращении Болотникова к Шуйскому:

...Уж вот он, мой двойник,
Опять ведет мятежные народы!
Ты не успел еще и насладиться
Моею казнью, как уже крестьяне
Сумели воскресить меня...

Бессмертие Болотникова выражает в трагедии не только социальное бессмертие борца за свободу и правду, но и неисчер-

паемость революционного духа народа, в котором, наряду с героизмом, силой рук и ума, живет неистребимая надежда на светлое будущее.

В исторических пьесах поэта главенствуют конфликты, определяющие движение исторических судеб России и роль народа в ходе борьбы за социальные и революционные ее преобразования. Именно в этом сокровенный смысл трилогии «Россия».

В трагедии «Ливонская война» — первой части трилогии — поэт воссоздал эпоху Ивана Грозного, с ее феодально-боярским укладом, который искореняется тиранией самовластья царя — его опричниной. В яростных схватках боярства с будущим служилым дворянством, в столкновении Грозного с князем Курбским — роль народа сразу будто и не видна. Но победа над Казанским ханством добыта доблестью народа. Его потом и кровью прокладывает себе дорогу к мощи и славе государство, ринувшееся к морским просторам. Многозначный смысл вложен в то, что именно умелец из крестьянских низов — пушечный мастер Чохов — привозит в дар царю первый «глоток моря» — бутылку с морской водой. Народ не безучастен к прогрессивным замыслам страны, он сопричастен к ним, хотя еще заражен предрассудками патристической верности царю. Но сие отнюдь не снижает остроту темы — «Царь и народ», ибо упорно государственной мощи при Грозном сопутствует дальнейшее закабаление крестьян. Народу же предстоит еще два с лишним столетия через муки, отчаянную борьбу, казни и каторгу добираться до разобщения понятий царь и родина и до уразумения того, что лишь свержение царизма и победа народа выведут родину на широкую дорогу свободного, счастливого будущего.

Трагедийным коллизиям на путях русского народа к победе пролетарской революции посвящены две следующие части трилогии.

Эпоха, когда «Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра», издавна питала вдохновение русских писателей, и гений Пушкина особенно мощно вознес образ петровских побед, открывших России «окно в Европу», утвердивших страну на морских границах.

В дореволюционной литературе — в силу исторических условий — обратная сторона петровских преобразований оставалась обычно в тени либо вовсе отсутствовала. Это, видимо, и побудило Илью Сельвинского совершить попытку с марксистско-ленинских позиций симфонически и диалектично раскрыть тему Петра, не только не забывая о творениях Пушкина, но внутренне и пагально перекликаясь с ними.

Поэт не случайно назвал вторую часть трилогии сперва «От Полтавы до Гапгута», а позднее дал ей более точное название — «Царь да бунтарь», уже самым заглавием подчеркнув народную тему трагедии.

Образ Петра в пьесе ярок и самобытен. Он доблестен и велик как государственный муж и полководец, одержавший знаменательные «виктории», с непреклонной волей осуществлявший свои преобразования общества. И в то же время в трагедии «Царь да бунтарь» отчетливо виден и иной лик Петра — царя-крепостника, который побаивается крестьянской массы в армейских когортах, а все тяготы государственных расходов взваливает на мужика, тиранически подавляя любое «бунтарство». А ропот и стихийное возмущение крепостных рабов растут, порою вырываются наружу. Из их среды вырастают предки будущих революционеров. Таков Никита Чохов — тоже пушкарь. Он, однако, уже не верит, что «царь поверх всего на свете» и олицетворяет понятие — родина. Чоховы, взыскующие правду коренных социальных преобразований на Руси, такова получающая все больший вес на исторической арене сила народа, противопоставленная в трагедии мощи и гению Петра, его тиранически беспощадному самовластью...

Заключительную пьесу трилогии — «Большой Кирилл» — автор посвятил Октябрьской победе революционного народа, который выдвинул, как щит, знамя, как маяк новой эпохи, гигантскую фигуру вдохновенного гения революции — Ленина и выпестованную им партию пролетариата.

К образу Ленина поэт возвращается не раз, как к неспсякаемому, самому светлому и самому сокровенному источнику поэтического вдохновения, как воплощению самых высоких идейно-нравственных качеств идеального героя нашего времени.

Трилогия «Россия» стала для поэта первым этапом поэтического исследования и постижения народной судьбы и открыла ему творческие дали, где виделась ему новая, посвященная социализму трилогия о Ленине. Начальная пьеса ленинского цикла — «Человек выше своей судьбы» — известна читателю по публикации в журнале «Октябрь» (1962, № 4).

Опыт исторической драматургии был вдвойне плодотворен для Сельвинского: он не только раскрыл перед ним богатейший материал решающих событий, бурных страстей и коллизий, но потребовал для своего воплощения новых приемов и красок в палитре поэта. Именно в период работы над трилогией «Россия» выкристаллизовался у Сельвинского новаторский интерес к классическому русскому стиху, к его наследию, полному неиспользованных лиро-эпических возможностей. Стиль «Рыцаря Иоанна»

и «Ливонской войны», по замыслу поэта, должен был создать у читателя и зрителя ощущение старины. Ради этого поэтом был выбран традиционно утвердившийся в историко-поэтической драматургии пятистопный белый ямб. Однако он был по-своему «раскован» поэтом и стал не повторением образцов, а модификацией традиционного размера, где изменились и ритм и интонация. В трагедии «Царь да бунтарь» тот же ямб, но рифмованный тоже создает ощущение отдаленности эпохи, но уже приближенной к нам гением Пушкина. И снова, сохраняя собственную интонацию и образную структуру, автор намеренно сохраняет ощущение переключки с пушкинским стихом. Выводя в некоторых эпизодах на авансцену, как лирическое эхо, юного Ганнибала — пушкинского прадеда, который и внешне, и живостью воображения напоминает будущего гениального поэта, Сельвинский ввел лиризм пушкинского обаяния в современное прочтение Петровской эпохи.

Поэтические открытия и паходки, откристаллизовавшиеся при создании исторических драм, благотворно сказались в последние годы жизни поэта и на его лирических стихах с их ковандой простотой, ясностью образной фактуры и стихового рисунка, при драматической напряженности и многоступенчатости их внутреннего подтекста.

* * *

Двадцать второго марта 1968 года Илья Сельвинский скончался.

Человек титанического трудолюбия, фанатично преданный поэзии, Сельвинский не выпускал пера до самого смертного часа: последнее стихотворение его — «Старцу надо привыкать ко многому...» — написано уже ослабевшим почерком, за два дня до смерти.

В долгие годы болезни, задумываясь об итогах своей жизни, поэт нашел в себе силы для осуществления давнего замысла и написал автобиографический роман «О, юность моя!» — искреннюю, горячую, правдивую исповедь поколения, родившегося на рубеже двух веков и мужавшего в эпоху социалистической революции, в огне гражданской войны.

Поэт немеркнущего таланта, мастер-новатор, создатель новой просодии в поэзии, советской школы поэтического эпоса и драматургии — таким остается Сельвинский в истории русской поэзии нашего века.

Возникающий сквозь лирические откровения, эпические полотна и драматические симфонии образ поэта, его мысли, при-

страсти, умонастроения, идейно-философские и нравственные воззрения несут в себе самобытные черты эпохи коммунизма.

Круг жизни Сельвинского замкнулся, но поэзия его только начинает свой путь посмертной славы.

Я слышу голос Коммуны
Сердцем своим горячим.
Дни мои — только капуны,
Время мое — в грядущем! —

писал поэт.

И верится, что новые поколения любителей поэзии увлечет и покорит литое слово «вечного ратника рыцарского ордена стиха», так назвал себя Илья Сельвинский.

О. РЕЗНИК

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ МУЗА

КОНДОР

Голубой, с меховою опушкой,
Обвивающей пеною зоб,
И с морщинисто-лысой макушкой,
С шоколадным гребнем на лоб —
Над ущельями в хаосе диком
Он угрюмо оглядывал тьму.
Для чего и родиться велким,
Если не с кем сразиться ему?

1915

УТРО

По утрам пары туманно-сизы,
По утрам вода как черный лед.
А по ней просоленные бризы
Меряют легкий вычурный полет.
Тихо-тихо. Борода туманца,
Острый запах мидий на ветру...
И проходят в голубом пару
Призраки Летучего голландца.

1916

ЗАКАТ

Розовые чайки над багровым морем,
Где звучит прибой,
Вьются и бросают перекрики зорям
Золотой гурьбой.
А внизу белугу волны колыхают,
Пеной опестря,
И на белом брюхе пятна полыхаю.
Алого костра.

1916

СКАЗКА

Из перламутра раковин — зеницы,
Из тинных водорослей — волоса.
И Месяцу, и Вязу над водицей,
И хитрой Выдре все тоскливей снится
 Русалочья краса.

Они грустят. Но ей совсем не жалко —
Ей не до них: на мельничьей косе,
На лесенке, мохнатенькой и валкой,
В любви истомилась русалка
 О ржавом Колесе.

1917

ЛЕСОВИК

С добродушно красной харей,
С волохатым толстым пузом,
Лесовик, пройдоха старый,
Спит по вибойнам кургузым.
Спит. И к шерсти прилипают
Листья, мох, сучки да хвоя.
А проснется — ковыляет,
От зевоты зычно воя.
С колкой елки в черных борах
Слижет глупые росинки,
Нарисует на заборах
Неприличные картинки;
Подползет неловким пехом
К омуту, трескучий, слышший,
Где на дне зеленым мехом
Оплывают травы пышно.
Там пождет. Русалки слягут.
Выскочит: ату! — как речет,
И звенит веселый хахат,
И гнусаво он хехечет.
До полдён гудит побайка,
Так что мавки — за животик.
После кашляет в лужайке
От сердечных поколотик.
Там опушку обродяжит,
Выберет посуше яшень
И, кряхтя, на корни сляжет,
Ог подагры закривяся.
А скворцы, синицы, славки,
Чижики, даже сороки —
Свищут, щелкают по травке,
На деревьях и в осоке.

Но храпит, не слыша арий,
Гулко хлопая по мухам,
Лесовик с наивной харей
И тугим, падутым брюхом.

1917

ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛА

Люблю я в окнах цветные стекла,
Тона рубина и янтаря:
Заглянешь в желтый — и жизнь блекла,
Заглянешь в красный — горит заря.
Когда швыряет огонь кипящий
И плавит камни огромный день,
У стен террасы на лак блестящий
Ложится мягко цветная тень.
И так уютно у стекол пестрых,
Порою слышен комода треск,
И нет сверканий, ни бликов острых,
Хоть жирен солнца роскошный блеск.
Цветные стекла колдуют чары,
И в них невольно вольешь глаза —
Заглянешь в красный — горят пожары,
Заглянешь в синий — идет гроза.

1917

БРИЗ

Жара и сушь. Лоснится солнцем море.
Косит по дюнам тень парящей птицы,
Распыживши перо на косогоре.
Жара и чайки. Золото лоснится.
Взойди на холм и стань к зюйд-весту боком,
Горячий рот полураскрой овалом —
И легкий бриз, влетев туда, по щекам
Вспоеет напевом грустным и усталым.

1917

ТРИОЛЕТ

Девушка у моря бродит с тихим пеньем,
Золотые ноги в желтых босоножках.
Ветер лепит юбку к животу, коленям;
Девушка у моря бродит с тихим пеньем
С голыми ногами, но в манто осеннем
И глядит, как мчится лето по дорожке.
Девушка у моря бродит с тихим пеньем,
Золотые ноги в желтых босоножках.

1917

АВТОПОРТРЕТ

Я вижу в зеркалах суровое лицо,
Пролет широких век и сдвинутые брови,
У рта надутых мышц жестокое кольцо
И губы цвета черной крови.
Я вижу низкий лоб, упрямый срез волос,
Глаза, знакомые с огнем творящих болей.
И из угрюмых черт мне веет силой гроз,
Суровою жестокостью и волей.

1916

ПЕСНЯ

Выходил воевода на улицу,
С ним дьячок приказной, Елистратушка.
Говорил воевода: «Жарица, мол»,
Поддакнул Елистраша: «Воистину-с».
Воевода задумался думою:
Из Москвы выезжают боярины
Проверить его, воеводу-то.
И сказал воевода: «Ох, холодно»,
Поддакнул Елистраша: «Воистину-с».

1917

ПОПУГАЙ

Они осыпались — не веришь:
Какая яркая игра —
И щек пурпурная взъерошь,
И лапок паюсных кора.
Лимонно-бронзовые грудки
Нисходят на зеленый дым,
Меняют алый голубым,
Чернеют синею полудкой.
А над палитрой их кирас
Резной золотоперый кивер,
И в этом сочном переливе
Туманный блик их мертвых глаз.

1917

КРАСНОЕ МАНТО

Красное манто с каким-то бурым мехом,
Бархатный берет, зубов голубизна,
Милое лицо с таким лукавым смехом,
Пьяно-алый рот, веселый, как весна.
Черные глаза, мерцающие лаской,
Загнутый изгиб, что кукольных, ресниц,
От которых тень ложится полумаской,
От которых взгляд как перебрик зарниц.
Где же вы — Шарден, Уистлер и Квентисти,
Где вы, Фрагонар, Барбе или Ватто?
Вашей бы святой и вдохновенной кисти
Охватить берет и красное манто.

1917

* * *

Я знаю женщину: блестяща и остра,
Как лезвие имеретинской пашки,
Она уклончива, капризна и пестра,
Как легкий крапат карточной рубашки.
В пей страсть изменчива, привязанность редка,
И жесты обольстительны и лишни!
Она испорчена, но все-таки сладка,
Как воробьем надклеванные вишни.

1918

ВИЛИБРЮД

Когда беденького проклятика
За горбик вот здесь и тут
Задразнили, хотя и кратенько,
Зато больно: «Вилибрюд»,
«Пожалуюсь,— думает,— Шуре я,
Что смеются они надо мной,
А то вот возьму и зажмуриюсь:
Пускай им будет темно».

1918

ГРОМ

Распятья окон. Над линией моря
Горный кряж, как тело Кащеево.
Пишем работу о злости и горе:
«О Лермонтове и душе его».
И грустных глаз траурный бархат
Прыщавого дерзкого офицера
Ширится в очи Ночного Монарха
В ущельях и гривах Терека.
Но чу! — не в Машук ли жужжит нарастающе
Грома, раскатывающего ядра?
Нет, это крейсер, поднявший восстание,
Бронзой хлестнул по театру.

1918

О ЛЮБВИ

Сердце мое налито любовью,
Любить же — увы! — не знаю кого:
Нину? Слишком косматы брови,
Галю? Тоже не очень, тово.
Куда ж, на кого же излить наконец
Вешних чувств боевую парадность?
И брожу меж дач и долблю, как скворец:
«Я люблю тебя, моя радость...»

1918

ВОЙНА

Я думал, война — это пушек гром,
Трубы боевой медь,
В разбитых башнях победный ром,
Покуда эху греметь;
Я думал, война — это хмель головы,
Побойца конных атак,
Я думал, я многое думал — увы!
Но все оказалось не так.
Но все оказалось куда скучней,
И вместо ракетных звезд
Война — это жизнь за пару кочней
И у магазина хвост.

1918

ССОРА

Вчера я был в музее,
Мимо она проходила.
Я бродил, на нее глазаю,
И царапнулся о крокодила.
Крокодил, распахнувши лапы,
Лежал, широко осклабясь.
Мой палец кляксами капал,
И я даже почувствовал слабость.
А нынче она приходила
Навестить своего поэта...
«Боже мой, что с вами?» — «Ах, это?
Так. Укус крокодила».

1918

СОЛДАТИКИ

Бывают движенья: в пих не опомнитесь —
Все в них дремуче и мудро.
После обеда иду в свою комнату
Зубрить уроки на утро.
Но щелкнет ключ — и летит грамматика,
И с комментарием сброшен Овидий,
И я, достав деревянных солдатиков,
Играю в них, чтобы никто не видел.

1918

ЭЛЕГИЯ

Было много божественных грез,
Шума, проказ и смеха,
И я, как жизнерадостный пес,
Лаял на собственное эхо.
Но отошло мое время, звеня,
Что мне теперь на свете?
Эхо мое лает в меня,
А я не могу ответить.

1918

ЮНОСТЬ

Вылетишь утром на воз-дух,
Ветром целуя жен-щин,
Смех, как ядерный жем-чуг,
Прыгает в зубы, в ноз-дри.
Что бы это тако-е?
Кажется, нет причп-ны:
Небо прилизано чинно,
Море тоже в покое.
Слил аккуратно лужи
Дождик позавчерашний,
Десять часов на башне —
Гусеницы на службу.
А у меня в подъязычь-е
Что-то сыплет горо-хом,
Так что легкие зыч-но
Лаем врываюется в хо-хот.
Слушай! Брось! Да полно...
Но ни черта не сделать:
Смех золотой, спелый,
Сытный такой да полный.
Сколько смешного на све-те:
Вот, например, «капус-та».
Надо подумать о грустном,
Только чего бы пометить?
Могут пробраться в погреб
Завтра чумные крысы.
Я буду тоже лысым.
Некогда сгибли обры.
Где-то в Норвегии флагман...
И вдруг опять: «капус-та»!
Чертовщина — как вкусно
Так грохотать диафрагмой!
Смех золотого разлива,
Пенистый, сочный, отличный!
Тсс... брось: ну, разве прилично
Эдаким быть счастливым?

1918

О, ЭТИ ДНИ

О, эти дни, о, эти дни
И тройка босвых коней!
Портянка пынче мой дневник,
Кой-как царапаю по ней.
Не выбираю больше слов,
И рифма прыгает стремглав.
Поэму бы на тыщу глав,
Ей-богу, правда — без ослов.
Тата-тара, тара-тата...
Я еду, еду, еду, е...
Какие зори — красота!
Го-го, лихие, фью! оэ!
Под перетопот лошадей
Подзванивает пулемет,
И в поле пахнет рыжий мед
Коммунистических идей.
Деревню отнесло назад,
Бабенка: «Господи Исусь...»
Петух поет, закрыв глаза,
Наверно, знает наизусть.

1913

ОСЕНЬ

Битые яблоки пахнут вином,
Сад — как церковь, в дыму и колоннах.
Я в гамаке вычисляю бином,
Строятся цифры в строгих колоннах.
Строятся цифры, гибнут и мрут
(Листдохнул, опадая в раздумье).
Строятся цифры, гибнут и мрут,
Как в катастрофе на Марсе — без шума.
В этом побоище буква — солдат,
Альфа какой-нибудь маленькой силы,
Где-то в деталях спускается в ад,
Куда его логика сил скосила.
Кто он в кишенье массовых войн,
В выводах, выкладках, в битве горячей?
И страшная мысль: а ведь без него
Не разрешить задачи.
Здесь ли? Не в этом новом узле
Проходит проблема нашего века?
С этого дня я суровой и злей
От уважения к человеку.

1919

О С Е Н Ь

Битые яблоки пахнут вином,
И облака точно снятся.
Сивая галка, готовая сняться,
Вдруг призадумалась. Что ты? О чем?
Кружатся листья звено за звеном,
Черные листья с бронзою в теле.
Осень. Жаворонки улетели.
Битые яблоки пахнут вином.

*Дер. Ханышкой на Альме
1919*

КОНЬ

Конь быстролетный, отлитый из черной и звончатой
бронзы,
Ты — мой единый товарищ, тебе моя грубая песнь.
Весь ты прекрасен и мощен, как стих звонкопевный
Марона,
Все твои слажены члены, что кованых латы доспехов.
Острые у-уши хо-одят, зорко звук уловляя,
Челка пежно вьется, будто женские пряди,
Черное влажное око блещет багровым отливом.
Точно такие же очи, лишь похитрей, полукавей,
Есть у сабинянки юпой, что часто в мой лагерь приходит.
Как она звонко смеется, скользя по коврам иберийским,
Щелкая розовым пальцем кольчуги в походной палатке.
Помнишь, как с виргою этой песлись мы равниной Родана
Ухо в ухо с ве-етром? Я мускулистой десницей
Сжал ее ста-ан, глота-ая рта-а гранатные соты.
А под широкою дланью, к браздам и ланцее ¹ привыкшей,
Маленькими шеломками вставляли упрямые перси.
Помнишь ли ты это, конь мой, из звонкой бронзы отлитый?
Роя копытами прах и липовые ноздри вздувая,
Уж не ревнуешь меня ли, собитвенник мой крутобугрый?
Полно. В любом городке, что беру я, испепелив стены,
Их табунами пригонят к моей одинокой палатке.
Ты же — кесарь коней от Иллирии и до Гадеса.
Много найду я женщин, так лобзающих жадно,—
Где же найти мне вихорь, летом равный с тобою?
В жаркий день твоя шкура блещет золотом черным,
В гриве пышноволнистой дремлет синее пламя;
Круп твой мясной и двушарый сладко мне дланью
похлопать,
Стянутый в узел хвост рассыпать рекою широкой.
Так из-под шлема ссыпались и косы лихих амазонок

¹ Л а н ц е я — конье. (Это и последующие примечания — автора).

ЦЫГАНСКАЯ

Поле, ветер да воза,
Ты ли, я ли, оба ли?
Эти дымные глаза
И дареные соболи.
Ака дяка романес
Сладко нездоровится:
Как чума, во мне
Жаркая любовница.
Саш-Саш-Саш-Саш.
Озорная, гордая,
Незастегнутый корсаж,
Сама вороногорлая —
И в бою, в остроге,
В охмели от роздури
Все забуду, не забуду
Только ноз-дри!

1919

КРАСНОЕ МАНТО

Снова оно, багровое в клетку,
И этот дремучий куний пух...
Но меня ль обманет французская метка
Тайёра из Rue de la Paix — Лепюк?

Я знаю: не химик в ожогах рыжих
Пропитывал формулой эту ткань,
Не импрессьонист ателье Парижа
Обдумал покрой его до завитка.

Нет! Сатана из гранитного сердца
Выдавил кровь мою черной хной,
Нервы и жилы, лишив меня смерти,
Тонкою сеткой продел в сукно.

И вот я брожу по каналам улиц,
Словно пустой водолазный чехол.
Рекламы дразнили, и двери дули,
И меховой пеной плыл мюзик-холл.

И пока куплетист на эстраде прыгал,
Небрежно засунув ногу в жилет,
Я подошел и сказал про книгу,
Что вышла чуть ли не двадцать лет.

Она поглядела. Губы ходили.
Отвечала точно, впопад.
А манто вздувалось, и нервной пылью
Билась и корчилась каждая пядь.

Как объяснить, что в распахе меха
Моих дыханий звериный вихрь,
Что элегантная гремень верха —
Треск и жужжанье ганглий моих?

СТИХИ ИЗ ТЮРЬМЫ

* * *

Понимаю, что жалит гадюка
Заблудившегося поросю,
Понимаю, что хищная щука
Перекусывает карася,

Что орел, унеся черепаху,
Разбивает ее о скалу
И что муха — мир ее праху —
Звенит в паутинном углу;

Понимаю, что дикобраз
Дикобраза обходит с краю
И что ворон ворону глаз
Не выклюет — понимаю,

Но того, что издревле, от века,
Просвещаясь на каждом шагу,
На замо́к человек человека
Запирает — понять не могу.

*Севастополь.
Белогвардейская тюрьма
1919*

* * *

Проем тюремного окна
Зовется здесь «собашник».
Хоть даль отсюда не видна,
Но слышен бой на башнях;

А главное — от многих бед
Спасает нас «конурка»:
Все прячет общий наш буфет —
От вдоха до окурка.

Там же
1919

* * *

Учат меня стариканы:
«Не ешь всю пайку хлеба с утра»,
Но ведь к обеду на ней, как икра,
Рыжие тараканы!

Но, покоряясь науке,
В конце концов привыкаешь и к ним;
Не в силах лишь я примириться с одним:
Это без пуговиц брюки.

Там же
1919

УЖАС ТЮРЬМЫ

Ужас тюрьмы... Он легендой пропах,
Но я объясню его вкратце:
Это не просто койка в клопах,
Не только с крысами карцер.

Крысы, клопы... Какая мура!
Бывает пытка жесточе:
Ведут к ретираде в шесть утра,
Вторично же — в десять ночи.

Там же
1919

* * *

Ох, и выбрал же квартирку,
Что хоромы дядины:
На умывку, на утирку
Полминуты дадены.
Мы белеем, хорошея
У корыта-картера!
(За мытье зубов и шеи
Трое суток карцера.)

Там же
1919

УЗНИК

«Служу за решеткой в темнице сырой» —
Эти стишки чертя на стене,
Нет, не преступник — скорее герой,
Каких, слава богу, немало в стране.

Поэтому рухнет проклятый острог,
Ударит по башням святая шрапнель,
Чтоб сын не прочел сих печальных строк,
Въезжая в этот роскошный отель.

*Том же
1919*

ДРЕМА

Я лежу. Стена сырая в каплях.
Сон не сон, а все-таки не явь.
Нарисую на стене кораблик,
Оплесну — и прямо в бурю правь!

Ну, теперь прощай, брат Севастополь,
Здравствуйте, Константинополь-друг!
Но ведь дома и котенок — соболь,
На чужбине котик — бурундук.

Но хоть в рай влечу на этих зверях,
Как расстаться, родина моя?
Как покинуть золотистый берег,
Где живут Э. Т. или Е. А.?

Знаю, знаю, что ни той, ни этой
Не втянуть в мой заповедный круг,
Но живу, мечтаньями согретый,
Словом феерическим: «А вдруг?»

Там же
1919

* * *

Благослови легкомыслне,
Ветреность, пустоту,
Что выражение кислое
И меж бровями черту
Сводят, стирают начисто,
Блеск придают глазам,
Чтоб видел иное качество
Его благородие — Хам.
Пускай матерщинное кружево
Сплетает он в бога и в прах,
Только бы не обнаруживать
Страх!..

Там же
1919

УТЕШЕНИЕ

Уставится бессмысленно
Средь бурных передраг...
И вырезал я мысленно
На лбу его: «Дурак».

Вот так и ходит с плешинной
Его высокооро.
Сегодня, крайне взбешенный,
Он обломил перо.

Но брызгами да искрами
Его пестрела речь,
Чтоб я признался искренно,
Что мир хочу зажечь.

Лицо его холоуево
Горело, словно рак.
А я читал на лбу его
Пунцовое «Дурак».

Но он, почти разморенный,
Грозится сквозь очки!
Тогда поплыли в стороны
Помельче «дурачки»:

Они присели наскоро,
Кто вкупе, кто вразброс,
Кто на щеку, кто на скулу,
Кто на мясистый нос.

А подполковник пучился
(Бедняге нелегко!),
Он пучился, он мучился,
А мне как с гуся: хо!

Там же
1919

ТЮРЕМНЫЙ ДВОРИК

На веревке висят подштанники.
Ветер наполнил их —
И они бегут.
Странные облачные страшники
Торопятся, секунду берегут.

Но за двориком что-то дробное захлопало —
И опять жуткая тишь.
Ноги сами барабанят по полу,
Но отсюда не убежишь.

Там же
1919

* * *

Итак, в тюрьме я снова.
Ну, что же. Рад весьма.
Чем хороша тюрьма?
В тюрьме свобода слова.

*Симферополь.
Белогвардейская тюрьма
1920*

ДЫНЯ

К нам в острог попала дыня!
Всполошилась вся твердыня:
Есть не ели, но вдыхали —
С этой дыней вскрылись дали.

Задыхаешься от дыму?
Забирает дух отхожий?
Глубже, глубже нюхай дыню —
В дыне запах женской кожи.

Там же
1920

МАДАМ ЭН-ЭН

Нельзя на допросе бравировать, право,
Но и робеть, конечно, нельзя.
Красивая женщина хищного права
Допрашивала, по страницам скользя.

Поскольку все трое были студенты,
Мадам вспоминала университет:
Мелькали «презумпции», «прецеденты»,
Но я на все отвечаю: «Нет!»

Но я, стараясь не падать духом,
Гнал свои мысли куда-то вбок,
Чтоб сделаться внутренне тугоухим,
Безмятежным, как голубок,

И этим ничуть не выдать испуга,
Унять в коленках проклятую дрожь,
Иначе не только эга хапуга —
Я сам себя не поставлю в грош.

Она говорила мне: «Образумьтесь!
Карьеру кладете вы на весы». —
А я размышлял среди всяких презумпций:
«Какого цвета на ней трусы?»

(В раскрытых дверях, просыпаясь нередко,
Дежурит жандармская борода.)
«Розовые? Едва ли: брюнетка.
Синие? Вряд ли: она молода».

— Сосед! — шепчу я. — Одно лишь слово:
Какого цвета трусы на мадам?
— Трусы? А черт их знает! Лиловые.
Слушайте: мы ж накануне драм...

И он опять повторяет все то же:
Мсл, сам не знает, откуда ружье.
Но что за вкус у всей молодежи?
Лиловых не может быть у нее.

Входит конвой. Загремели скамьи.
Сейчас уведут. Но каков же ответ?
И я с деревянными желваками
Спросил: «Какой ваш любимый цвет?»

Она улыбнулась: «Какой? Лимонный».
Меня затолкали в спину и бок,
Но я ухмылялся, чуть-чуть охмеленный,
От хитрой интимности счастлив, как бог.

*Симферополь.
Тюрьма
1920*

ЮНОСТЬ

(Венок сонетов)

1

Мне двадцать лет. Вся жизнь моя — начало.
Как странно! Прочитал я сотни книг,
Где мудрость все законы начертала,
Где гений все премудрости постиг.

А все ж вперед продвинулся так мало:
Столкнись хотя бы на единый миг
С житейскою задачей лик о лик —
И книжной мудрости как не бывало!

Да, где-то глубина и широта,
А юность — это высь и пустота,
Тут шум земли всего лишь дальний ропот,

И несмотря на философский пыл,
На фронтовой и на тюремный опыт,
Я только буду, но еще не был.

2

Я только буду, но еще не был.
Быть — это значит стать необходимым.
Идет Тамара за кавказским дымом:
Ей нужен подпоручик Михаил;

Татьяна по мосточкам еле зримым
Проходит, чуть касаяся перил.
Прекрасная тоскует о любимом,
Ей Александр кровь заговорил;

А я пичей. Мне все чужое снится.
Звенят, звенят чудесные страницы,
За томом возникает новый том.

А в жизни бродишь в воздухе пустом:
От Подмосковья до камней Дарьяла
Души заветной сердце не встречало.

3

Души заветной сердце не встречало...
А как, друзья, оно гянулось к ней,
Как билось то слабее, то сильней,
То бешено, то вовсе обмирало,

Особенно когда среди огней
На хорах гимназического зала
Гремели духовые вальсы бала,
Мучители всей юности моей.

Вот опухнет кружащееся платье,
Вокруг витают легкие объятья,
Я их глазами жадными ловил.

Но даже *это* чудится и снится,
Как томы, как звенящие страницы:
Бывал влюбленным я, но не любил.

4

Бывал влюбленным я, но не любил.
Любовь? Не знаю имени такого.
Я мог бы описать ее толково,
Как это мне Тургенев объяснил,

Или блеснуть цитатой из Толстого,
Или занять у Пушкина чернил...
Но отчего — шепну лишь это слово,
И за плечами очертанья крыл?

Но крылья веяли, как опахала.
Душа моя томилась и вздыхала,
Но паруса не мчали сквозь туман.

Ничто, ничто меня не чаровало.
И хоть любовь — безбрежный океан,
Еще мой бриг не трогался с причала.

Еще мой бриг не грогался с причала,
Его еще волнами не качало,
Как затянулась молодость моя!

Не ощутив дыханья идеала,
Не повидаетшь райские края.
Все в двадцать лет любимы. Но не я.

И вот качаюсь на скрипучем стуле...
Одну, вторую кляксу посадил,
Сзываю рифмы: гули-гули-гули!
Слетают: «был», «быль», «билль», «Билл», «бшл».

Но мой Пегас, увы, не воспарил.
Как хороши все девушки в июле!
А я один. Один! Не потому ли
Еще я ничего не совершил?

Еще я ничего не совершил.
Проходит мир сквозь невод моих жил,
А вытаску — в его ячейх пусто:
Одна трава да мутноватый ил.

Мне говорит обычно старожил,
Что в молодости ловится негусто,
Но возраст мой, что всем ужасно мил,
Ведь этот возраст самого Сен-Жюста!

Ах, боже мой... Как страшен бег минут...
Кляпсуй, меня прельщает не карьера,
Но двадцать лет ведь сами не сверкнут!

Сен-Жюст... Но что Сен-Жюст без Робеспьера?
Меня никто в орлы не возносил,
Но чувствую томленье гордых сил.

Но чувствую: томленье гордых сил
 Само собою — что б ни говорили —
 Не выльется в величественный Нил.
 Я не поклонник сказочных идиллий.

Да и к тому ж не все величье в спле.
 Ах, если бы какой-нибудь зосил
 Меня кругами жизни поводил,
 Как Данта, по преданию, Вергилий!

Подруги нет. Но где хотя бы друг?
 Я так ищу его. Гляжу вокруг.
 Любви не так душа моя искала,

Как дружбы. В жизни я ищу накала,
 Я не хочу рифмованных потуг —
 Во мне уже поэзия звучала!

Во мне уже поэзия звучала...
 Не оттого ли чуждо мне вино...
 Табак, и костяное домино,
 И преферанс приморского курзала?

Есть у меня запойное одно,
 С которым я готов сойти на дно, —
 Все для меня в стихе заключено,
 Поэзия — вот вся моя Валгалла.

Но я живу поэзией не так,
 Чтобы сравнить с медведем Аю-Даг
 И этим бесконечно упиваться.

Бродя один над синею водой,
 Я вижу все мифические святцы,
 Я слышу эхо древности седой.

Я слышу эхо древности седой,
 Когда брожу, не подавая вида,
 Что мне видна под пеной переида.

Глядеть на водяную деву — грех.
Остановлю внимание на крабах.
Но под водою, как зеленый мех,
Охвостье в малахитовых каплях,

Но над водою серебристый смех,
Моя душа — в ее струистых лапах!
И жутко мне... И только рыбий запах
Спасает от божественных утех.

Как я люблю тебя, моя Таврида!
Но крымец я. Элладе не в обиду
Я чую зов эпохи молодой.

10

Я чую зов эпохи молодой
Не потому, что желторотым малым
Полгода просидел над «Капиталом»
И «Карла» приписал в матрикул свой
В честь гения с библейской бородой.

Да, с этим полудетским ритуалом
Я стал уже как будто возмужалым,
Уж если не премудрою совой.

И все же был я как сама природа,
Когда раздался стон всего народа
И загремел красногвардейский топ.

Нет, я не мог остаться у залива:
Моя эпоха шла под Перекоп.
О, как пронзительны ее призывы!

11

О, как пронзительны ее призывы...
Товарищ Груббе, комиссар-матрос!
Когда мы под Чонгаром пили пиво,
А батарейный грохот рос и рос,

Ты говорил: «Во гроб сойти не диво,
Но как врага угробить — вот вопрос!»
И вдруг пахнули огненные гривы,
И крымским мартом сжег меня мороз.

И я лежу без сил на поле брани.
Вот проскакал германский кирасир.
Ужели же не помогло братанье?

Но в воздухе еще дуэль мортир,
И сладко мне от страшного сознания,
Что ждет меня забвенья или пир...

12

Что ждет меня? Забвенья или пир?
Тюремный дворик, точно у Вап-Гога.
Вокруг бластной разноголосый клир,
Что дружно славит веру-печень-бога...

Ворвется ли сюда мой командир
С седым броневиком под носорога?
Или, ведя со следствия, дорогой
Меня пристрелит белый конвоир?

Но мне совсем не страшно почему-то.
Я не одену трауром минуты,
Протекшие за двадцать долгих лет.

Со мной Идея! Входит дядька сивый,
Опять зовут в угрюмый кабинет,
И я иду, бесстрашный и счастливый.

13

И я иду. Бесстрашный и счастливый,
Сухою прозой с ними говоря,
Гремел я, как посланник Октября.
Зачем же вновь пишу я только чтиво?

И где же тот божественный глагол,
Что совесть человеческую будит?
Кто в двадцать лет по крыльям не орел,
Тот высоко летать уже не будет.

Да что гадать! Орел ли? Птица вир?
Одно скажу — что я не ворон-птица:
Мне висельник добычею не снится.

Я всем хочу добра. Я эликсир.
Впивай! Не исчерпаешь! Я — столицей!
Мне двадцать лет — передо мною мир!

14

Мне двадцать лет. Передо мною мир.
А мир какой! В подъеме и в полете!
Люблю я жизнь в ее великой плоти,
Все остальное — крашенный кумир.

Вы, сверстники мои, меня поймете:
Не золоченый нужен мне мундир.
Не жемчуг, не рубин и не сапфир.
Чего мне надо? Все — в копейном счете!

Сапфир морей, горящих в полусне,
Жемчужина звезды на зорьке алой
И песня золотая на струне.

Все прошлое богатство обнищало,
Эпоха нарождается при мне.
Мне двадцать лет. Вся жизнь моя — начало.

15

{Магистраль}

Мне двадцать лет. Вся жизнь моя — начало
Я только буду, но еще не был.
Души заветной сердце не встречало:
Бывал влюбленным я, но не любил.

Еще мой бриг не тронулся с причала,
Еще я ничего не совершил,
Но чувствую томленье гордых сил —
Во мне уже поэзия звучала.

Я слышу эхо древности седой,
Я чую зов эпохи молодой.
О, как пронзительны ее призывы!

Что ждет меня? Забвенье или пир?
Но я иду, бесстрашный и счастливый:
Мне двадцать лет. Передо мною мир!

Симферополь
1920

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

НАША БИОГРАФИЯ

Итак, хлыстом мои губы выстегай,
Цепью и крючьями вытащи крик.
Как всякий поэт, я — сердце статистики:
Толпоголос мой голый язык.

И се аз глаголю: не эпилепсийщиной,
Дыхом толпы душа взмятена.
Свистами сверстников зубы насыщены.
Что ж я за племя? Обдумайте нас.

Мы, когда монархии (помните?) бабахали,
Только-только подрастали, среди всяких «но»,
И нервы наши без жиров и без сахара
Луцились сухоткой, обнажаясь, как нож.

Мы не знали отрочества, как у Чарской
в книжках,—
Маленькие лобики морщили в чело,
И шли мы по школам в заплатанных штанишках,
Хромая от рубцов перештопанных чулок.

Так, по училищам, наливаясь желчью,
С траурными тенями в каждом ребре,
Плотно перло племя наших полчищ
С глухими голосами, будто волчий брех.

И, едва успев прослышать марксизм,
Лишенные классового костяка,
Мы рванулись в дым, по степям по сизым,
Стихийной верой своей истекать.

И если бы этой вере — наука
Взамен утопических корневищ,—
Мы знали бы свой политический угол,
И не жег бы совесть шелудивый свищ.

Но были плакаты, трибуны и газеты,
Все что-то знали, все были тверды,
А мы глотали и то и это
И не умели заплатавать дыр.

Мы путались в тонких системах партий,
Мы шли за Лениным, Керенским, Махно,
Отчаивались, возвращались за парты,
Чтоб снова кипеть, если знамя взмахнет.

Не потому ль изрекатели «истин»
От кепок губкома до берлинских панам
Говорили о нас: «Авантюристы,
Революционная чернь. Шпана...»

Какими ж зубами удержать свою ругань?..
Как вам втемяшить, что в гражданский угар
Мы мыкались в поисках неведомого друга,
В одном направленье видя врага;

Что, диаграммой истории владея,
От пролетариата не уйти нам теперь
По возрасту, по пульсу, наконец, — по идеям,
По своей, наконец, социальной судьбе?

Товарищ! Кто же там! Стоящий на верфи...
Вдувающий в паровозы вой! —
Обдумайте нас, почините нам нервы
И наладьте в ход, как любой завод,

Чтоб и мы имели право любить свою республику
Кровью, всерьез, без фальши, без опер,
И выйти из желтого кадра пухленьких
Честных плательщиков в Доброхим и МОПР.

1921—1925

АНЕКДОТЫ О КАРАИМСКОМ ФИЛОСОФЕ

БАБАКАЙ-СУДДУКЕ

БАБАКАЙ И ЛУНА

Однажды сам Бабакай,
Чувствуя пузо в уладе,
Вышел себе поикать
В свой виноградный садик.

Видит — луны полукруг
В колодце для винограда.
«Вай,— сказал ей Суддук,—
Этта уже непорядок.

Будьте любезны — у нас
Каждому свой жребий:
Раз, когда ви луна-с,
Лезьте, пожялуйстам, в небо».

Тут запустил он крюк,
Цепнул, понатужился — разом!
Лопнула пара брюк,
И Суддук опрокинулся наземь.

Видит — подобна сырку,
Ломтиком в корочке алой,
На самом-самом верху...
Луна, как ни в чем не бывало.

И сказал Суддук: «Айса! ¹
Можьна? Напиться? Чаю.
Раз луна в небесах,—
Я уже ны отвечаю».

¹ Айса — татарский утвердительный возглас. В данном случае отмечен философической интонацией; «Так-с» и «Так-то».

БАБАКАЙ И ХАЛАТ

Однажды сам Бабакай
Повесил халат на гвоздик
И пошел на два пятака
Поиграть немножечкам в кости.

Вернулся — уже темнота.
Спички — копейка, жалко.
Подходит к комоду, но там
Кто-то прижался с палкой.

Суддук ему крикнул: «Кыш!»
Но вор не повел даже бровью.
Суддук доставал бердыш,
Стрелял воробьиной дробью.

Потом убежал Суддук
За людьми соседней квартиры.
Пришли и видят: чубук
И халат, расстрелянный в дыры.

Обкурена вся полоса,
От пороха дым на платье.
И, подумав, сказал Суддук: «Айса!
Хорошо, что я не был в этом халате».

БАБАКАЙ И ТЕОРИЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ

Однажды сам Суддук
Впал в меланхольный скепсис.
Пошел, выбрал сук,
Обмотал себе горло покрепче.

Но только на корточки сел —
Раздумал и снял осторожно:
— Судьба-дм¹, я только хотел —
Айса — дишать невозможнам.

**АФОРИЗМ КАРАИМСКОГО ФИЛОСОФА
БАБАКАЙ-СУДДУКА**

Лучше недо — чем пере.

1921

¹ Дм — татарская приставка вроде «то», «де», «мол».

В О Р

Вышел на арапа. Канает буржуй.
А по пузу — золотой бамбер.
«Мусью, сколько время?» — Легко подхожу...
Дзззызь промеж рогн...— и амба.

Только хотел было снять часы.
Чья-то шмара шипит: «Шестая».
Я, понятно, хода. За тюк. За весы.
А мильтонов — чертова стая.

Подняли хай: «Лови!», «Держи!..»
Елки зеленые: бегут напротив...
А у меня, понимаешь ты, шанец жить,—
Как петух недорезанный, сердце колотит.

Заскочил в тупик: ни в бок, ни черта.
Вжался в закрытый сарай я...
Вынул горячий от живота
Пятизарядный шпайер:

—Нну-ну! Умирать — так будем умирать.
В компании таки да веселее.—
Но толпа как поперла в стороны, в мрак
И построилась в целую аллею.

И я себе прошел, как какой-нибудь фёрть,
Скинул джонку и подмигнул с глазом:
«Вам сегодня не везло, мадамочка
Смерть?»

Адю до следующего раза!»

1922

ЦЫГАНСКАЯ 2-я

Тройкой, гей, безалаберных коней
Вниз пуцусь на степя с обрыва я —
Уж ты попомнишь — повыпомянешь, гей.
Ты. Красавка. Рыжая. Гривая.

По-гля-жу, холодныли, горячиль
Пады-ы ножом ваши ласки женские.
Вы грузитесь, подкидывая пыль,
Вы. Жеребцы. Мо-и. Оболенские.

Ай-дай да, яядá-даяя
Эх, и нож колыдованный, кони крадены,
За-це-луешь ты, шалая моя,
Черыные губы конокрадины.

Прыгает к версте полосатая верста...
Дррр, как тын, гарагачут под палочкой,
Уж ты моя ль расписная красотаа —
Горыбаносая, черная, галочья.

Кру-пом пляшет похабно коренник,
Цок серебром в передок же-ле-заный.
На дохе индивеет воротник,
Вихрем все лицо изрезано.

Эгей, сокола, золотые удилаа...
Мчитесь вы на степя приволяны,
Может, где оброню еще до зла —
Жжгучую боль о ней.
Гей!

1922

ЦЫГАНСКИЙ ВАЛЬС НА ГИТАРЕ

Нночь-чи? Сон-ы. Прох? ладыда
Здесь в аллеяях загалохше?-го сад-ы
И идоно́сится толико стоны? гитта́оры:
Таратинна — таратинна — tan.

«Милылый мо-и-не? сердся:
Не тебе мое горико?е сердце —
В нем Яга наварилыла с перы?цем ядыды
Черыну?ю пену любви.

Милылыя, я сычасталив.
Задыхаясь задушен?ной страстью,
Все твои повторю за тобою? я муу?уки
Толико? бы с сердцем? бы в лад».

Ах, нночь-чи? Сонаны. Прох?ладыда
Здесь в аллеяях загалохше?го сады...
И доно́сится то́лико стон? (эс) гит-та́рарары
Тарати́нна
Та́ратина
tan...

1923

МОТЬКЭ - МАЛХАМОВЕС

(Новелла)

Красные краги. Галифе из бархата.
Где-то за локтями шахматный пиджак.
Мотькэ-Малхамовес считался за монарха
И любил родительного падежа.

Полчаса назад — усики нафабрены,
По горлу рубчик, об глаз пятно —
Он как вроде балабус¹ обошел фабрику,
Он! А знаменитэр ин Одэсс блатной².

Там в корпусах ходóвые девочки,
У них еще деньжата за ночной «марьяж» —
Сонька, и Любка, и Шурочка Первая,
Которую отбил у всего ворья.

Те повыходили, — но спаружи не сердятся,
Размотали чулок и, пожалуйста, — на...
Вы ж понимаете: для такого мердэра³
Что там может значить бабья война?..

Мотькэ хорошо. Чем плохая профессия?
Фирма работает — и вашших нет.
На губе окурок подмигивает весело,
Солнце обляпало носы штиблет.

Но тут вышел номер: сзади рабочие.
Сутенер на тень позыривает⁴ скосу...
Вдруг: «Стой!» Цап за лапу:

«Кар-рочэ...»

Брови вороном на хребет носа.

¹ Балабус — хозяин (евр.).

² Блатной — вор.

³ Мердэр — злодей (евр.).

⁴ Зырить — глядеть (воровск.).

Губы до горла лицо врезали,
Зубы от злобы враскрошь — пемзой...
Оробели ребята... Обмякло железо-то...
Взяла тута оторопь и Тамбов и Пензу.

Мотькэ-Малхамовес идет по Коллонтаевской...
Сдрейфили хамулы, — холера им в живот!..
Он уже расходился, руками махается
И ищет положить глаз на живое.

И вдруг ему встрелись и совсем-таки нечаянно
Хунчик-дер-Заика и Сашка Жмых.
Ну, как полагается, завернули в чайную
И долго гиргиркали за стаканом на тронх.

А назавтра днем меж домов пятирусных
К магазину «Ювелир М. Гуревич и сын»
Подкатил Грузовик. Содрогаясь. Яростно.
Волоча. Потроха. У мускулистых. Шин.

Магазин стал. Под наблюдением «приказчика»
Зеленых и рыжих два бородача
Не спеша выносили сундуки и ящики
И с шофером нагружали оцинкованный чап.

Когда же подошли биржевые зайцы,
Задние колеса прямо в них навели:
«Я извишяюсь: магазин перебирается,
На следующем квартале есть еще один ювелир».

Внутри ж сам хозяин и все покупатели
Внавалку, как бараны, перли в стену,
Налезали на мозоли и опять-таки пятились,
И один дер другого за штаны тянул.

А над ними с фасонём главного махера ¹,
Успев отскочь до дверей смерть,
Мотькэ-Малхамовес за хвост размахивал
Синим перцем фаршированную смерть.

¹ М а х е р — делец (*esp.*).

«Господин Гуревич, вы неважно выглядите.
Может быть, что-нибудь, не дай бог, съели?
Молодой человек, дайте ж место родителю!
Что это за такое, на самом деле.

А вы? Эй, псс!.. Белый галстук!.. Тросточка...
Извинить за выраженье,— вы теряете брюк.
Мне чтобы было за ваши косточки —
Вы же так простудитесь: на самом сентябрю».

«Нет, кроме шуток,— что вы смотрите, как
цуцки?»

Вы ввозили сюда, мы вывозим туда.
В наше время, во время революции,
Надо же какое-нибудь разделение труда».

Никакая статуя и никакой памятник
Ни тут, ни за границей, ни где-нибудь еще,
Наверно, не рассаживались так нагло в памяти,
Как вот этот вот налетчик, кривоногий черт.

В конце же концов, когда все были, как пьяницы,
Он поставил бомбу коло самых дверей:
«Ша! Эта бомба уже от взгляда взрывается,
И только через час в ней потухнет вред...»

Но только их зажмурили через шторы рыжие,
Мотькэ с автобуса закричал: «Мурá!
Какую жар-птицу вы там думаете выпсживать?
Всдь это же не бомба, а просто бурак...»

БАЛЛАДА О БАРАБАНЩИКЕ

Крала баба грозди,
Крала баба грузди,
Крала баба бо-бы и го-рох.
Да в ковыле бобыли-то были:
Брали бабу на курок.

Были бобыли-то,
Были бобыли-то,
Были бобыли-то
 Злы, как бес.
Была баба в шубке,
Была баба в юбке,
Была баба в панталонах,
 Стала — без.
 Вот
 Ведь
 Вид.

Была баба ряба,
Но боялась баба:
«Эх, кабы хотя ба
Помог ба бог!»
Но заместо бога
Брел по эпохе
Паренек убогий —
В барабане бок.

Был он, паря, ранец,
По-на поле брани.
Спал на барабане,
Пёр на пункт.
Вдруг заметил из кустов он,
Будто кто-то арестован,
Да не нашу команду —
 Что такое? Бунт?

Сел против бражки,
Снял барабашку,
Сам себе командовал:

«Крой!»

В бурый бок
барабанной
перепонки
барабана
вбарабанил
барабанщик
барабанный
бой.

Дррррроби рокот орлий

Прокатился в горле.

Думали, померли

Бобыли —

Рухнули рядами

С траурными ртами

Подле голой дамы

— В пыли.

Хрип.

Храп.

Гроп!

Тут барабанщик
Бросил барабанчик,
Выйдя разобрать их
В короткий срок:
Бабе отдал шубку,
Бабе отдал юбку,
А бобылям-то бобы да горох.

«Вы, — говорит, — баба,
Действовали слабо.
Выразился я ба:
Анархическая борьба.
Погоди, бабеха,
Ликвиднем царя Гороха,
Тогда пузырься от гороха.
Как барабан».

Барабаны в банте,
Славу барабаньте!

Барабарабаньте
Во весь. Свой. Раж.
 Ни
В Провансе,
 Ни
В Брабанте
Нет барабанщиков
Таких. Как. Наш.

1931

СИВАШСКАЯ БИТВА

(Соната)

Пара барабанов,
Пара барабанов,
Пара барабанов
 Била
 Бурю.

Пара барабанов,
Пара барабанов,
Пара барабанов
 Била
 Бой.

Шли бойцы, шли бала-гуры,
Шли газетчики из ПУРа,
 Шли
Молодые,
 Шли
Матерые,
О-мо-ложенные борьбой.

Сколько сил у человека!
Труден тракт,
Но шутят в такт:
 «Ехал грека
 Через реку,
 Видит грека —
 В реке
 Рак!»

По привычке
Недобитый
Правь собой
Во всю мочь!
Утром стычка,
В полдень битва,
К ночи бой.
Сраженье в ночь.

Каждый шаг берут винтовкой,
Отступил кавалергард.
Пара барабанов —
Старо-Воронцовка.
Пара барабанов —
Павлоград.

Но как только
На походе
Выйдет час —
Военный строй
Ходит полькой,
Русской ходит —
Хоть сейчас
Струны строй!

И опять двуколки, брички,
Стяг в лоб. Усталость прочь.
Пара барабанов —
Утром стычка.
Пара барабанов —
Битва в ночь.
И опять врагу навстречу
Серой сталью
 Ухо брей!
Утром сеча,
Днем баталья,
И созвездья
 На заре.

2

Приказ
по войскам Южного фронта
№ 4

Действующая армия

Сентябрь 1920

Товарищи!
Вся трудовая Россия следит за ходом вашей борьбы.
Измученная империалистической войной,
истерзанная гнетом царя и капитала,
но сбросившая цепи рабства страна

жаждет мира,
чтобы скорее
взяться за стройку
своей судьбы.

Но на путях. К этому миру. С коварным крестом
С окровавленным франком. Встал штыками.
Последним барьером. Крымский разбойник —
Белый барон.

На вас, на наши испытанные части падает
последняя батальная задача —
рубнуть красноармейским махом —
и прахом развеять врага.

Этот удар должен быть легендарным!
План наступления разработан.
Даты намечены. Срок исчерпан.
Дело за вами, товарищи!

Командующий армиями Южного фронта
и член Исполнительного комитета
РСФСР

Михаил Фрунзе.

Член Ревсовета

Гусев.

3

Таврическая ночь легла
Классической темнотою.
Татарским чабрецом пропитанная мгла
Не брезжит скаредной звездой.

Недвижна степь. Ни звука в ней.
Ни очерка полночной птицы.
Нет, даже брызгами сторожевых огней
Такая тьма не обагрится.

Она легла, соединяя
Каракульчу и запах перца.
И лишь стучит взволнованное сердце,
Как топот вражьего кося.

На карте Крым себя заковал,
Шверпункты броней залив:
Юшунь.

Перекоп.

Турецкий вал.

ЗАЛИВ

п

е

р

е

ш

е

е

к

ЗАЛИВ

В туманной степи зарева труба
Темой победы сзывала рубак —
И, как орлы на волчонка-подрапка,
Слетались всадники спозаранку.

В блиндажах вопил телефонный нерв.
Егери мчались будить резерв.
Ротные пели: «Ша-ай!», «На-пле...»
В ножнах чесались от ярости сабли —
И когда вся, как один, наготове
Армия дыбилась конскою кровью
И порывалась, сжавшись в кулак,
Пыхнуть из орудия красный флаг, —
Конница,

танки,

саперы,

пехота

Стали ждать у моря погоды.

И вот, зазвенев, загремев, завыв,
Ветер пошел купаться в залив.
Привычной повадкой сдувши воду,
Он создал брод первому взводу —
Тогда-то. Обрушил. Огромным. Ударом
Армию — командарм.

Юшунь.

Перекоп.

Турецкий вал.

Залив. Перешеек. Залив.
Там южного моря нежный овал,
Асфальты и тени олив.
А здесь — тряпье, вороший кал,
И проголодь, и тиф.
Юшунь.

Перекоп.

Турецкий вал.

Залив, проклятый залив!
Трубач прикусил мундштука металл:
Тра-та-тата, тарари?-ра!
Турецкий вал огни заметал
Гаубицей и мортирой.
Дым гремит со всех берегов.
Паника в траншеях.
Слева Юшунь,

впереди Перекоп,

Вправо ушел перешеек.

Слащев, как кот, попав в мешок,
Отвел свои войска.
Он слышит костяной смешок,
Он видит черепной оскал.
А наши мчат, конями ржа,
Меж блиндированных кают,
И звенья старых каторжан
Сквозь стремяна поют.

Но уж с тыла контрбурей
Стаю воронов согнали
На прикрыть белокуро-
кудреватые сигналы.
И в пролетах меж озер
За здоровье подняли скорей
В «стаканах» дым слепящих зорь
Бетонные позиции тяжелых батарей.
И наша чокнулась молодежь,
И наша гикнула: «Даешь!»
Юшунь.

Перекоп.

Последний окоп...

«Все операции по форсированию производить
сосредоточенными силами, доводя атаки —
во что бы то ни стало — до победоносного конца».

Резервы спускаются с южного склона,
Резервы идут за колонной колонна —
Здесь Латвия, Венгрия и Китай.
Резервы идут за воешпой трубою,
Бледнея от воя ближнего боя...
«Взводные, счита-ай!»

Ать-два-три-четыре,
Ать — ДУДУНН! — три-четыре,
ДЗЯУ! — два — БАХ! — четыре,
ДЗЗИЙ! — У! — ДЗАНГ! — четыре,
Ать-два-три-четыре,
Ать-два-три-четыре...
Запах селитры, едкий, давящий,
Гарь ползет, как буран.

«Во имя революции за мною, товарищи,
На белых гадов — ура!»

ТАНК

офицеры

ПОЛЗ

отбивают ВВЕРХ

штурмом

ГРОХ

неудача

ЛЯЗГ

«...где лезгинь?»

КРАХ

отступа-ать!

ДЕНЬ

«...прячь погонь...»

ГАС

«дай завесу...»

МЕРК

все погибло!

И красная песня взошла
В бородатых от боя горах.

1933

Что его в битюжьем стойле
Не удержишь бечевою,
Лишь советские устои
Могут выдержать его,

Лишь колхозные окружья,
Круговые зеленыя
На аркан поймали груди
Бесшабашного коня...

Каждый шаг исполнен смысла,
Он знамена будит сам!
На полях социализма
Даже ветер трудится.

1933

СТИХИ О ЛЮБВИ

* * *

Каждая девушка — это чудо,
В каждой легенда какая-то есть.
Я знаю: буду поэтом, покуда
Хоть каплю солнца смогу им принести.

А если ни петь, ни дышать не сумею,
Если закончится праздник мой,
Я знаю: последнюю зорьку мою
Улыбка забрезжит над вечною тьмой.

1920

* * *

Никогда не перестану удивляться
Девушкам и цветам!
Эта утренняя прохлада
По белым и розовым кустам...
Эти слезы листвы упоенной,
Где сквозится лазурная муть,
Лепестки, что раскрыты удивленно,
Испуганно даже чуть-чуть...
Эта сныщаяся их нежность,
От которой, как шмель, закружись!
И неясная боль надежды
На какую-то возвышенную жизнь...

1920

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

И вдруг я ее поцеловал!
Очень неуклюже. В ухо.
— О! — изумился алый овал
С дыханием, едва долетевшим до слуха...

И вот я один. Шарахнулась улица,
Небо на землю рванулось кося —
Нет, я не уха губами коснулся,
Тайны коснулся я.

От этой тайны айсберги тают,
Да не на полюсе, а в груди,
Бабочки пахнут, цветы летают,
Огромные взлеты ждут впереди.

Мудрость приходит от этой тайны,
Но не седая, не в желтизне —
Легкая, милая, в утреннем таянье
Вдруг эта мудрость явилась мне.

Как будто у мира пружина разжалась,
И сразу открылся солнечный клад!
Как я был беден до этой шалости,
Каким
 сокровищем
 стал богат.

1920

К ВОПРОСУ О РУССКОЙ РЕЧИ

Я говорю: «пошел», «бродил»,
А ты: «пошла», «бродила».
И вдруг как будто веяньем крыл
Меня осенило!

С тех пор прийти в себя не могу...
Все правильно, конечно,
Но этим «ла» ты на каждом шагу
Подчеркивала: «Я — женщина!»

Мы, помню, вместе шли тогда
До самого вокзала,
И ты без малейшей краски стыда
Опять: «пошла», «сказала».

Идешь, с наивностью чистоты
По-женски все спрягая.
И показалось мне, что ты —
Как статуя — нагая.

Ты лепетала. Рядом шла.
Смеялась и дышала.
А я... я слышал только: «ла»,
«Аяла», «ала», «яла»...

И я влюбился в глаголы твои,
А с ними в косы, плечи!
Как вы поймете без любви
Всю прелесть русской речи?

1920

СЛУЧАЙ

Ладонями сзади
Ей веки прикрыл.

— Папа? Дядя?
Может быть, Кирилл?

(Это среди улиц,
Где грохот и гомон.)
Она обернулась:
Гм... Незнакомый.

— Ох, виноват, извините..
— Пожалуйста.

Ушла. Но душа
Обмирала от жалости.

1920

НА СКАМЬЕ БУЛЬВАРА

На скамейке звездного бульвара
Я сижу, как демон, одинок.
Каждая смеющаяся пара
Для меня — отравленный клинок.

— Господи! — шепчу я. — Ну, доколе? —
Сели на скамью она и он.
— Коля! — говорит. А что ей Коля?
Ну, допустим, он в нее влюблен.

Что тут небывалого такого?
Может быть, влюблен в нее и я?
Я бы с ней поговорил толково,
Если б нашею была скамья;

Руку взял бы с перебоем пульса,
Шепотом гадал издалика,
Я ушной бы дырочки коснулся
Кончиком горячим языка...

Ахнула бы девочка, смутилась,
Но уж я пاردону б не просил,
А она к плечу бы прислонилась,
Милая, счастливая, без сил,

Милая-премилая такая...
Мы бы с ней махнули в отчий дом...
Коля мою девушку толкает
И ревниво говорит: — Пойдем!

1920

КАК БЫТЬ!

Женщина... Что поражает в ней?
Их много. Полмира, пожалуй. Но в каждой
Что-то свое от самых корней!
Одна — невесомый дым карандашный,
Другая сангиной обожжена,
Третья расписана всей палитрой —
Кто же тот мудрый, а может быть, хитрый,
Что смеет сказать об одной: «Жена»?

1920

* * *

Уронила девушка перчатку
И сказала мне: «Благодарю».
Затомило жалостно и сладко
Душу обреченную мою.

В переулок девушка свернула,
Может быть, уедет в Петроград.
Как она приветливо взглянула,
В душу заронила этот взгляд.

Море ждет... Но что мне это море?
Что мне бирюзовая вода,
Если бирюзовинку во взоре
Не увижу больше никогда?

Если с этой маленькой секунды
Знаю,— наяву или во сне,—
Все норд-осты, сивера и зунды
Заскулят не в море, а во мне?

А она и думать позабыла...
Полная сиянья и тепла,
Девушка перчатку уронила,
Поблагодарила и ушла.

Евпатория
1920

В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

В огромной раме жирный Рубенс
Шумит плесканием паяд —
Их непомерный голос трубен,
Речная пена — их наряд.

За ним печальный Боттичелли
Ведет в обширный медальон
Не то из вод, не то из келий
Полувенер, полумадонн.

И наконец, врагам на диво,
Презрев французский гобелен,
С уточенностью примитива
Воспел туземок Поль Гоген.

А ты идешь от рамы к раме,
Не нарушая эту тишь,
И лишь тафтовыми краями
Тугого платья прощуршишь.

Остановилась у голландца...
Но тут, войдя в багетный круг,
Во все стекло
за черни глянца
Твой облик отразился вдруг.

И ты затмила всех русалок,
И всех венер затмила ты!
Как сразу стал убог и жалок
С дыханьем рядом — мир мечты...

1921

* * *

Есть поцелуи-пустяки,
О них заботиться не стоит:
Они звенят, как пятак,
Ну, и, пожалуй, столько стоят.

Но есть другие. Колдовство!
Впивая все твоё ненастье,
В томленье мига одного
Всю душу раскрывают настежь!

1921

УДИВИТЕЛЬНО!

Что за тайна в жепской природе?
Ты, допустим, дыню сосешь.
Под копец, как во всяком плоде,
Догрызешься до корки. Ну, что ж.
Все естественно, ясно и просто.
Или, скажем, выпьешь гранат.
Будь он даже гигантского роста,
Исчерпаем рубиновый град.

Ну, а женщина? Сладость граната
В этих сочных ее устах,
Нежность дынного аромата
В этой шее и в этих плечах.
Но глотай поцелуи хоть до ста,
Обмирая, плыви в забвенье —
Все нетронутым в пей остается,
Словно ты не касался ее.

1921

РЫБКА

Сколько было рукопожатий,
Никогда не думал о них.
Но сейчас...

«Добрый вечер!» —

и платье

Прозвенело в отливах стальных.

Вы ушли. Разговоров обрывки.
Я забыт у зеркальных плит.
А в ладони моей будто рыбка...
Замечталась. Не хочет уплыть.

1922

* * *

Сами своей рукой,
Словно рисуя вазы,
Вы пишете мне: «Дорогой» —
И подписываетесь: «Ваша».

Стандартно вежливый стиль
Общеприятых выражений.
От этого три версты
До подлинных отношений.

Пора уж привыкнуть к ним,
Летящим по всем дорогам,
Таким «дорогим» и «моим»,
Таким бесконечно далеким.

Знаю, что все не так...
Впрочем, это не важно:
Слышу в Ваших устах
Лишь «дорогой» и «Ваша».

Это написано *мне!*
Это написано *Вами!*
Факт установлен вполне
Вашими же словами.

Да! Это я! Не другой!
Буду! Хочу обольщаться!
«Ваша» и «дорогой»...
Много ли нужно для счастья?

1922

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ПЛЯЖ

Женщины коричневого глянца,
Словно котики па Командорах,
Бережно детенышей пасут.

Я лежу один в спортивной яхте
Против элегантного «Дюльбера»,
Вижу осыпающиеся дюны,
Золотой песок, переходящий
К отмели в лилово-бурый зазд,
А на дне — у самого прилива —
Легкие песчаные полоски,
Словно нёбо.

Я лежу в дремоте.
Глауберова поверхность
Светлая у пляжа, а вдали
Испаряющаяся, как дыханье,
Дремлет, как и я.

Чем пахнет море?
Бунии пишет где-то, что арбузом.
Да, но ведь арбузом также пахнет
И белье сырое на веревке,
Если иней прихватил его.

В чем же разница? Нет, море пахнет
Юностью! Недаром над водою,
Словно звуковая атмосфера,
Мечутся, вибрируют, взлетают
Только молодые голоса.

Кстати: стая девушек несется
С дюны к самой отмели.
Одна
Поднимает платье до корсажа,

А потом, когда, скрестивши руки,
Стала через голову тянуть,
Зацепилась за косу крючком.
Распустивши волосы небрежно
И небрежно шпильку закусив,
Девушка завязывает в узел
Белорусое свое богатство
И в трусах и лифчике бежит
В воду. О! Я тут же крикнул:
«Сольвейг!»

Но она не слышит. А быть может,
Ей почудилось, что я зову
Не ее, конечно, а кого-то
Из бесчисленных девиц. Она
На меня и не взглянула даже.
Как это понять? Высокомерность?
Ладно! Это так ей не пройдет.
Подплыву и, шлепнув по воде,
Оболью девчонку рикошетом.

Вот она стоит среди подруг
По пояс в воде. А под водою
Ноги словно зыблются, трепещут,
Преломленные морским течением,
И становятся похожи на
Хвост какой-то небывалой рыбы.

Я тихонько опускаюсь в море,
Чтобы не привлечь ее вниманья,
И бесшумно под водой плыву
К ней.

Кто видел девушек сквозь призму
Голубой волны, тот видел призрак
Женственности, о какой мечтали
Самые пиящные поэты.

Подплываю сзади. Как тут мелко!
Вижу собственную тень на дне,
Словно чудище какое. Вдруг,
Сам того, ей-ей, не ожидая,
Принимаю девушку на шею
И взмываю из воды на воздух.
Девушка испуганно кричит,
А подруги замерли от страха
И глядят во все глаза.

— Подруги!
Вы, конечно, поняли, что я —
Бог морской и что вот эту деву
Я сейчас же увлеку с собой,
Словно Зевс Европу.

— Что за шутки?! —
Закричала на меня Европа. —
Если вы сейчас же... Если вы...
Если вы сию минуту пе...

Тут я сделал вид, что пошатнулся,
Девушка от страха ухватилась
За мои вихры... Ее колени
Судорожно сжали мои скулы.
Никогда не знал я до сих пор
Большого блаженства...
Но подруги
Подняли отчаянный крик!!

Я глядел и вдруг как бы очнулся.
И вот тут мне стало стыдно так,
Что сгорали уши. Наважденье...
Почему я? Что со мною было?
Я ведь... Никогда я не был хамом...

Два-три взмаха. Я вернулся к яхте
И опять лежу на прове¹.
Сольвейг,
Негодую, двигается к пляжу,
Чуть взлетая на воде, как если б
Двигалась бы на Луне.
У дюны
К ней подходит старичок.
Она
Что-то говорит ему и гневно
Пальчиком показывает яхту.
А за яхтой море. А за морем
Тающий лазурный Чатырдаг
Чуть светлее моря. А над ним
Небо чуть светлее Чатырдага.

¹ П р о в а — носовая палубка.

Девушка натягивает платье,
Девушка, пока еще босая,
Об руку со старичком уходит,
А на тротуаре надевает
Босоножки и, стряхнувши с юбки
Мелкие ракушки да песок,
Удаляется навеки.

Сольвейг!
Погоди... Остапся... Может быть,
Я и есть тот самый, о котором
Ты мечтала в девичьих виденьях!
Нет.
Ушла.
Но ты не позабудешь
Этого события, о Сольвейг,
Сольвейг белорусая!
Пройдут
Годы.
Будет у тебя супруг,
Но не позабудешь ты о том,
Как сидела, девственностица, в страхе
На крутых плечах морского бога
У подножья Чатырдага.
Сольвейг!
Ты меня не позабудешь, правда?
Я ведь не забуду о тебе...
А женюсь, так только на такой,
Чтобы, как близнец, была похожа
На тебя, любимая.

1922

* * *

Итак, весенний вечер,
Лиловое
 море.
Разговаривает
 кузнечик,
Треща по азбуке Морзе.

Я его понимаю,
И это совсем не странно.
(Дело было
 в начале мая
Под тентом у ресторана.)

Он выстукивает:
 «Дорогая!»
Он говорит ей тихо:
«Никакая другая
Мне не пужна кузнечиха».

А морская волна отлогая,
Увлеченная
 пляжем,
Лижет
 пляжу
 ноги
И шепчет по-польски:
 «Пшепрашам!»
Что мне в разлуке пошлой?
Я шалею,
 я пропадаю!
Распрощалась я с милой Польшей
И к ногам твоим припадаю...»

Гляжу на пенные пятна,
Сидя в кафе под теплом.
Мне и волна понятна
С польским ее акцентом...
Звон ее поцелуя...

Но, думая и гадая,
Только вас не пойму я,
Моя дорогая,

1923

СИРЕНЬ

Сирень в стакане томится у шторы,
Туманная да крестастая,
Сирень распушила свои пятерки,
Вывела все свои «счастья».

Вот-вот заохочет, того и гляди,
Словно лесная пёжить!
Не оттого ль в моей груди
Лиловая нежность?

Брожу, глазами по свету шаря,
Шепча про себя невесть что...
Должна же быть где-то
на земном шаре
Будущая моя невеста?

Предчувствия душат в смутном восторге...
Книгу беру. Это «Гамлет».
Сирень обрываю. Жую пятерки.
Не помогает.

NN позвонить? Подойдет она, рыженькая:
— Как? Это вы? Апекдот.—
Звонить NN? А на кой мне интрижка?
Меня же невеста ждет!

Моя. Невеста. Кто она, мплая,
Самое милое существо?
Я рыщу за пею миля за милюю,
Не зная о ней ничего...

Ни-че-го про нее не знаю,
Знаю, что нет ничего родней,
Что прыгает в глаз мой солнечный «заяц»
При одной мысли о ней!

Черны ли косы ее до радуги
Или под стать урожаю,
Пышные ль кудри, гладкие прядки —
Обожаю!

Проспущь на заре с пестомою в теле,
Говорю ей: «Доброе утро!»
Где она живет?

В «Палас-отеле»?
А может быть, дом у ней — юрта?

И когда мы встретимся? В марте? Июне?
А вдруг еще в люльке моя невеста!
Куда же я дену юность?
Ничего не известно.

Иногда я схватываю глобус,
Тычу в какой-нибудь пунктик
И кричу над миром на голос:
— Выходи! Помучила! Будет!

Так и живу, песя в груди
Самое дорогое,
И вдруг во весь пейзаж впереди
Вижу возможность мрачную, как Гойя:

Ты шарить глазами! Образ любой
В багет про себя обрәмшь!
А что,
как твоя
любовь
За кого-нибудь вышла замуж?

Ведь мыслимо же на одну минуту
Представить такой копец?
Ведь можем же мы наконец разминуться,
Не встретиться наконец?

Сколько таких от Юкона до Буга,
От Гапга до Ящзыкнапа,
Что, так никогда и не встретив друг друга,
Живут по краям океана!

А я? Почему моя липия жизни
Должна быть счастливее прочих?
Где-нибудь в Кашине или Жиздре
Ее за хозяйчика прочат.

И вот уже лоб флердоранжем обвит,
И губы алеют в вине,
И будет она читать о любви,
Считая, что любви нет...

Но хватит! Довольно! Беда молодым:
Что пользы в глухое стучаться?
Всему випой сиреневый дым,
Проклятое слово «счастье»,

1923

* * *

В любой душошке улеглась
Чащобишка тайги:
Там трын-трава, там волчий глаз,
Там дикие стихи.

И если мир к тебе суров,
Ты соверши рывок:
Перемахни-ка через ров
На этот островок.

Пусть это будет лишь на миг,
Но ты почувешь вдруг,
Что меж чернильных горемык
Прошел лешачий дух!

Как жаль того мне, кто, скорбя
В быту, как в полону,
Не обеспечил для себя
Хоть воя на луну.

1923

* * *

Мужчина женщину не любит.
Как кошка птицу, он ее
Не понимает. Лишь пригубит,
А там — ползи, житье-бытье.

А женщинам, как всем актрисам,
Что так талантливо нежны,
Присущ особый артистизм,
Но ей овалции нужны.

Не перед ложами с партером
Она играет — пред тобой,
О муженек, что взглядом серым
Ее смешал со всей толпой.

И растворился облик женин
Среди кофейников и книг.
Очароваше движений,
Улыбка — что ему до них?

Да и супруга всем довольна:
Растут зарплата и сыны,
Но шорох юбки колокольной
Не веет шелестом весны.

А жизнь идет в делячем стиле,
И пропадает божий дар,
Быть может, той же самой силы,
Что у Дюзэ или Бернар.

Мужья! Примите умудренно
В свои печенки сей кпнжал:
Вам изменяли ваши жены
За то, что я их обожал.

1924

ТЕЛЕФОН

Был пездоров. Ты позвонила.
Запросто. Как звонят подружке.
Трубка наволочку затенила.
Голос твой лежал на подушке.

Я никогда не думал, что голос
Может быть полон запаха лилий,
Что он — округлый, как этот глобус,
Что мир его — мир таинственных лилий.

Взойдет звуковая волна к вершинке —
И все засверкает в хрустальных звонах,
Как будто с капелью хвойные льдинки
Падают в отсветах нежно-зеленых.

Но тут вершинка с тоской голубиной
Устремляется в дымные дебри,
И голос уходит в низины, в глубины,
И я растворяюсь в грудном этом тембре,

И я наливаюсь медвежьей кровью,
Хоть нет для меня ни тропы, ни лаза...
А ты лишь спросила:

«Ну, как здоровье?»

Ты только сказала:

«Скорей поправляйся».

1924

* * *

Как музыкален женский шепот,
Какое обаянье в нем!
Недаром сердце с детства копит
Все тронутое шепотком.

Люблю, когда в библиотеке
Тихонько школьницы идут
И, чуть дыша: «Евгеньегин» —
Губенки их произнесут.

Иль на концерте среди нот,
Средь пианиссимых событий
Чужая девушка прильнет
И шепчет в ухо: «Не сопите!»

Но сладостней всего, когда
Себя ты жаром истомила,
Когда ты крикнуть хочешь: «Да!»
А выдохнешь: «Не надо... Милый...»

1924

ЕЕ ПЛАТЬЕ

Мы понимаем говор птиц,
И голос трав, и речь дождя,
Но стоит мне с тобой пройтись,
Вечерним городом идя,

Как мне становится знаком
(О, вековое ведовство!)
И шепот платья твоего
С его коварным языком.

Едва мы станем на ветру,
Оно зафыркает: «Фру-фру!»
Сейчас ты скажешь мне: — Пойдем!
Мне холодно, хоть мы вдвоем.

Бежим по лестнице, шая,
Оно с отдышкой: «Фля-фля...»
Ты стала. Переводишь дух:
— Уж не вернуться ль, милый друг?

— Ах, нет, зачем же? Два шага!
Мы дома, милая моя! —
Но платье в пене, как шуга,
Выскальзывая, как змея,
Крючками, кнопками звеня,
Шипело злобно на меня.

Проклятое! Ужо тебе!
Получишь ты свое сполна!
Была трехлетняя война,
Я победил. И вот теперь
Умолк его змеиный шум,
Повержен шелковистый щит:
Он на распялочке торчит,
Отбросив новый мой костюм.

1924

ЗАМЕТКА О ФАУСТЕ

Черный пудель превратился в черта.
Гете

Если б старость не была болезнью,
Я б охотно постарел. (Немножечко.)
Так занятно проходить над бездной
С философским холодком под ложечкой.

Но пройдет немногим больше месяца —
И привычка бездной овладела:
Черный пудель, говорите, мечется?
Ну, и пусть. Его собачье дело.

1924

КАКОЕ В ЖЕНЩИНЕ БОГАТСТВО!

Читаю Шопенгауэра. Старик,
Грустя, считает жепскую природу
Трагической. Философ ошибался:
В нем говорил отец, а не мудрец,
По мне, она скорей философична.

Вот будущая мать. Ей восемнадцать.
Девчонка! Но она в себе таит
Историю всей жизни на земле.

Сначала пена океана
Пузырится по-винограды в ней.
Проходит месяц. (Миллионы лет!)
Из пены этой в жабрах и хвосте
Выплескивается морской конек,
А из него рыбина. Хвост и жабры
Затем растаяли. (Четвертый месяц.)
На рыбе появился рыжий мех
И руки.
Их четыре.
Шимпанзе
Уютно подобрал их под себя
И философски думает во сне,
Быть может, о дальнейших превращениях.
И вдруг весь мир со звездами, с огнями,
Все двери, потолок, очки в халатах
Низринутись в какую-то слепую,
Бесстыжую, прадавнюю боль.
Вся пена океана, рыбы, звери,
Рыдая и рыча, рвались на волю
Из водяного пузыря. Летели
За эрой эра, за тысячелетьем
Тысячелетие, пока будильник
В дежурке не протренькал шесть часов.

И вот девочке пиянюшка подносит
Спеленатый калачик.
Та глядит:
Зачем все это? Что это?
Но тут
Всемирная горячая волна
Подкатывает к сердцу. И девочка
Уже смеется материнским смехом:
— Так вот кто жил во мне миллионы лет,
Толкался, педовольничал! Так вот кто!

Уже давно остались позади
Мужские поцелуи. В этой ласке
Звучал всего лишь маленький прелюд
К эпической поэме материнства,
И мы, с каким-то робким ощущением
Мужской своей ничтожности, глядим
На эту мать с куклою-матрешкой,
Шепча невольно каждый про себя:
«Какое в женщине богатство!»

1928

В клетке с хищной падапсью: «Женщина»,
Чтоб каждый из нас на восходе дня,
Преподаея ей бессонные ночи,
Мог бы спросить: «Любишь меня?»
И каждому отвечалось бы: «Очень».
И вы, излюбленный ею вы,
Уходите в недра коптор и фабрик,
Но целые сутки будет в крови
Любовь топорщить звездные жабры.

Шучу, конечно. Да дело не в том.
Кто хоть раз услыхал свое имя,
Вызванное этим ртом,
Этими зубами в уличном шптлме...

Русые брови лпкого залета
Такой широты, что взглянешь — и дрожь!
Тело, покрытое позолотой,
Напоминает золотой дождь,
Тело, окрашенное легкой и маркой
Пылью бабочек жарких, как сон,
Тело точно почтовая марка
С каких-то огромней Канопуса солнц.

Вот тут и броди, и кури, и сетуй,
Давай себе слово, зарок, обет,
Автоматически жуй газету
И машинально читай обед.
И вдруг увидишь ее двою...
Да что сестру? Ее дедушку! Мопса!
И пластырем ляжет на рану твою!
Почтовая марка с Канопуса.

И все ж не помогут ни стрижка кузины,
К сходству которой ты тверд, как бетон,
Ни русые брови какой-нибудь Зины,
Ни зубы этой, ни губы той —
Что в них женского? Самая малость.
Но Лиза сквозь них проступала, смеясь,
Тут женское к женственному подымалось,
Как уголь кристаллизовался в алмаз.

Но что, если этот алмаз не твой?
Если курок против сердца взведен?
Если культуре твое естество
Воет под окнами белым медведем?
Этот вопрос я поднял не зря.
Наука без действенной цели — болото.
Ведь ежели

от груза

мочевого пузыря

Зависит сповидение полета,
То требую хотя бы к будущей весне
Прямого ответа без всякой водицы:
С какими еще пузырями водиться,
Чтоб Лизу мою увидеть во сне?

Шучу. Шучу. Да дело не в том.
Кто хоть однажды слышал свое имя,
Так... мимоходом... ходом мимо
Вызвоненное этим ртом...

Она была вылита из стекла.
Об нее разбивались жемчужины смеха,
Слеза твоя бы по ней стекла,
Как по графшну: соленою змейкой,

Горечь и кровь скатились по ней бы,
Не замутив водяные тона.
Если есть ангелы — это она:
Она была безразлична, как небо.

Сегодня рыдай, тоскою терзаемый,
Завтра повизгивай от умор —

Она,

как будто

из трюмо,

Оправит тебя драгоценными глазами.

Она... Но передашь ее меркой ли
Милых слов: «подруга», «жена»?

Она

была

похожа

на

Собственное отражение в зеркале,

Кто не страдал, не умеет любить.
Ли́за же, как на статистике Дания,—
Рай молока и шоколада, а не быт:
Полное отсутствие страдания.

В «социализм» ее вкраплено имя,
Фамилия рифмуется со словом «революция»,
О, если бы душой была связана с ними
Ли́за Лю́тце!

1929

РУССКАЯ ДЕВУШКА

Если ты пленился Россией,
Если хочешь понять до корней
Эту душу, что нет красивей,
Это сердце, что нет верней,—

Не копайся в ученых книгах
И в преданиях старины,
А взгляни среди пажитей тихих
Лишь на девушку нашей страны.

Ты увидишь в глазах широких
Синий север высоких широт:
В них — легенда о светлых сроках,
В них — живой этой верой народ.

По разлету крылатых линий
Меховых темно-русых бровей
Ты почувешь порыв соколиный
Неуемных русских кровей,

А какая упрямая сила
В очертахъях этого рта!
В этой девушке — вся Россия,
Вся до родинки разлита.

Погляди на летящую гривку,
На лихую посадку ее,
Когда с поля на стриженном Сивке
Скачет в галках через жнивье.

Платье знаменем по ветру плещет,
Серебром полотна звеня,
А она, пригибая плечи,
Только гонит и гонит коня,

А она упоенно хохочет
И несется вперед, вперед:
Если изгородь — перескочит,
Если рытвина — махом берет.

1930

ТРИ ПЕСНИ

1. БЕРЕСТ

Жили берест и береза,
Как жених с невестой,
Вместе дрогли от мороза,
Шелестели вместе.

Как друг дружку-то любили:
Жили душа в душу!
Но березку подрубили,
Сделали долбушу.

Унеслась она за берег
Лодкой удаюю...
И тогда заплакал берест
Желтою смолою.

Та смола упала в море,
В бури окунулась.
Через год мужское горе
Янтарем вернулось.

1934

2. БЕРЕЗА

Ты, березонька рябая,
Черно-пегая моя.
Под тобою ли, березонькой,
Стоит себе скамья.

Ах, на той ли на скамейке
Меня милый целовал,
Называл меня «березкой»,
Ненаглядной называл,

Как то лето пролетело?
Как очнулась я от сна?
Как на этой на скамейке
Я осталась одна?

Грусть-тоска меня терзает,
Совесь девичья корит,
А березка, будто свечка,
Желтым пламенем горит.

Вот и свечка догорела,
Завела береза вой,
Машет розгами береза
Над моею головой.

Не пугай меня, родная,
Мы с тобой одной семьи:
Неразлучные сестрицы
У некрашеной скамьи.

1934

3. К Л Е Н

Шла лужайка под уклон,
Шел и я по той лужайке.
На лужайке старый клен,
Старый клен в зеленой майке.

Поклонился я ему.
Отчего? Не понимаю...
То ли клену, то ли маю,
То ли миру самому?

Только вдруг мой старый клен
Вскинул весело кудрями
И пошел в полупоклон,
Подбоченившись ветвями.

И глядит сосновый бор
На старишнюю повадку.
Как он сыплет перебор,
Как он ринулся вприсядку.

То корнями впереплет
И налево и направо,
То он «барыней» плывет,
Будто писаная пава.

Что за чудо во бору
В этот сирий день весенний?
Я ж второе воскресенье
В рот хмельного не беру...

А зеленый милый клен
Так и ходит! Так и машет!
Эх, ребята! Кто влюблен,
Для того и клены пляшут.

1934

Т. А — О В О Й

Ты стоишь передо мною,
Неземное существо,
Дразнит сердце белизною
Пепа платья твоего.

Что-то есть в тебе лебяжье:
Плечи, плавность, но, увы,
Остойти меня обяжет
Говорок людской молвы.

Как сольем с тобой уста мы,
Если шепчут свыше мер:
— Кавалер-то ниже дамы,
Ниже дамы кавалер...

Как тут быть? Не знаю просто.
Видно, встречи не с руки...
Мы, орлы, не вышли ростом,
Только крылья широки.

Но скажите мне, Тамара
Александровна, ужель
Белой лебеди под пару
Длинноногий журавель?

Нет, не думаю, не верю,
Не желаю, не хочу.
Распахну свои я перья,
Над тобою залечу —

И лебедку молодую
За ее за белизну
Зачарую, заколдую,
Ветром сердце оплесну.

Пусть ей кличут из болотца:
«Журы! Журы!»
Знаю я:
Под крылом моим забьется
Лебедь белая моя.

1936

ЖЕНА

Жена моя, красавица,
Мечтая за рулем,
По улицам катается
Сквозь штрафы напролом,
Сплошное разорение!
Но ей не до того:
Ах, зори-озарения,
Апреля колдовство!

На ней мапто атласное
(Весь заработок мой...),
На ней перчатки красные,
Пуховые с каймой,
На ней, как розы льдистые,
Горит песцовый мех;
А волосы — пушистые,
Звенящие душистые,
А смех ее... А смех!

Недаром этот звонкий,
Где переходит в гонги
Рояльная струя,
Вчера на звукопленке
Увсковечил я.
Красавица катается,
Забывши о делах;
За ней огни кидаются,
А рядом с ней качаются
И «форд» и «кадиллак»,
Чтобы сквозь дымку серую
Узреть на всем маху
Московскую Венеру
В серебряном меху.

Но дама в одиночестве
Пронзает фонари.

На ней манто из ночи,
Перчатки из зари.

Летит стрела зеленая,
Легенды силуэт;
Толпа, в нее влюбленная,
Стихами бредит вслед,
И сам я тоже впрямую,
Со всей толпой влюблен,
Хочу, как в воду, броситься
Под голубой баллон,
Чтоб на высокой скорости,
Крылатостью маяя,
Жена в летящем городе
Заметила меня.

1936

МОЯ ЗНАКОМАЯ РУСАЛКА

Я человек счастливый. Все мечты
мои сбываются. А я мечтал
всегда о недоступном.

Первой сказкой,
которую мне в детстве рассказали,
была легенда о русалке.
В школе
я вечно рылся в книгах, чтоб найти
какую-либо правду о наядах.
А правды не было. Мне было скучно
расти большим и знать, что никогда
не повстречать мне водяную деву.
И в самом деле: можно ли увидеть,
чтоб женское пленительное тело
переходило в рыбий хвост?

Но вот
однажды
в Копенгагенском порту
на камне, выходящем из воды,
я бронзовую увидал скульптуру.
Она звалась «Mermaid».
Опершись
ладонью о нагретый солнцем камень,
сидела девушка.
Ей лет пятнадцать.
Она была нагая.
Голова
с упрямым скандинавским подбородком,
едва-едва палившие перси,
прозрачные ребяческие руки
и тонкие колени обличали
в ней человека, женщину.
Но голень переходила в ласт.

Когда волна
окачивала статую по бедра
и снова с камня скатывалась вниз,
казалось, будто ласты оживали
и трепетно поплескивали в пене.

Оказывается, не все паяды
обязаны иметь хвосты. У «Mermaid»
пожные ласты были так изящны,
как только могут быть у человека,
когда он девушка в пятнадцать лет.

Я оценил в тот миг все остроумье
ваятеля, который так приблизил
русалку к человеку. Но искусство —
холодногато. Бронза — только бронза.
А я мечтал о чуде.
И однажды
я это чудо увидал в Москве.

За Крымским мостом — Теплый переулок.
Протезный институт.
Мой друг — профессор
водил меня по всем своим палатам
и демонстрировал больших.
Увечья,
чудовищные костные раненья,
уродства от рожденья... Дантов ад!

Заходим в операционный зал.
Большие окна, полные лазури.
Стерильный блеск. Халаты. Тишина.
Все это изумленно окружало
знакомое виденье:
опершпсь
рукою смуглой о холодный мрамор,
сидела статуя.
Ей лет семнадцать.
Она была прелестна. В русой челке,
со вздернутыми губкой и ноздрями,
лучась от золотистого загара,
она полулежала, как на льдине.
Но главное: она была живая
и страстно говорила:

— Ах, профессор!
Хотя бы я безногою была,
и то мне было б легче. А ведь это
не человек я вовсе.

Но профессор
не соглашался ласты удалять.

А девушка просила, умоляла,
она глядела синими глазами,
где смешивались страх и стыд:
— Прошу вас!
Ну, сделайте! Ну, что вам стоит?
— Нет!
Я не могу калечить организма.
Твои конечности вполне здоровы.
Ты превосходно плаваешь. И вдруг
отрезать их? Сменить их на протезы?
Не вижу смысла. Глупо. Просто глупо.
Жила же ты семнадцать с лишним лет?
Ну, вот и дальше проживешь. В чем дело?

Тогда она заплакала.
Профессор,
пожав плечами, вышел. Он не понял,
зачем на восемнадцатом году
ей вдруг понадобилось резать ласты.

— Послушайте! — сказал я вдруг. —
Не плачьте.
Ведь тот, кого вы любите, не знает,
кого ему судьба послала.
Он
решил, что вы урод. А вы русалка!
Чудесная русалка!
Я поэт.
Я напишу о вас поэму.
— Правда? —
Ее лицо сквозь слезы осветилось:
— О том, что я русалка?
— Ну конечно.

Я напишу поэму о пловце,
который за хрустальною волной
увидел девушку. Он вас окликнул,
и вы поплыли рядом. Пена к пеню.
Он с вами по дороге говорил
о том о сем. Как ваше имя?

— Лида.

— Он выяснил, что ваше имя Лида,
что вы студентка...

— Верно.

— Что отец
у вас поморский лоцман.

— Нет, бухгалтер.

— Ну, хорошо, бухгалтер. Но когда
настало время выходить на берег,
он увидал, что вы... что вы русалка!
И сразу древнее очарование
до трепета наполнило его.

Она счастливо засмеялась:

— Ну?

Рассказывайте! Что же было дальше?

— А дальше он вас поднял и понес,
лоснящуюся золотом, живую,
ту самую русалку, о которой
он так мечтал еще со школьных лет,
ту самую, которую нашел
в далеких шхерах датского залива,
ту самую, что вдруг ему явилась
невероятною студенткой Лидой.

Поэзия! Великое искусство!

Могуче обаяние твое...

Вот человек. Он родился калеккой.

Но ты его увидела прекрасным!

И он становится счастливым, гордым,
он славит то, что было до сих пор
его проклятьем...

— О! Так я русалка?

Вы обо мне напишете стихи?

И он их прочитает?

— Кто?

— Сережа.

— Какой Сережа? А! Ну да... Сережа...

Прочтет, конечно. Мы ему поэму
отправим заказною бандеролью.

— Куда же вы уходите?

— Дела.

— Вы очень мало рассказали.

— Мало?

Напротив, я сказал вам очень много.

Гораздо больше, чем хотел сказать.

Я человек счастливый.

Я могу

чужое горе перешлавить в радость.

1936

* * *

Как охотник ловит серебристую,
Выследив тропу ее к воде,
Этой сероглазою да быстрою
Чуть не бредя всюду и везде,

Так и я, чего-чего ни делаю...
У меня капкан как волшебство.
День за днем, неделя за неделю
Рыщу в тропах сердца твоего.

Думаю: вот-вот она объявится...
Я ее навеки приручу.
Где-нибудь должна же ты, красавица,
Подойти к заветному ручью.

Вот она! Ее повадка гоночья!
Только б не случилось одного:
Не испугнуть бы глупого лисеночка
Персбоем... сердца... моего...

1939

* * *

Если умру я, если исчезну,
Ты не заплачешь. Ты б не смогла.
Я в твоей жизни, говоря честно,
Не занимаю большого угла.

В сердце твоём оголтелый дятел
Не для меня стучит о любви.
Кто я, в сущности? Так. Приятель.
Но есть права у меня и свои.

Бывает любовь безысходнее круга —
Полубезумье такая любовь!
Бывает — голубка станет подругой,
Лишь приголубь ее голубок,

Лишь подманить воркованьем губы,
Мехом дыханья окутать ее,
Грянуть ей в сердце прямо и грубо
Жаркое сердцеблещье свое...

Но есть на свете такая дружба,
Такое чувство есть на земле,
Когда воркованье просто не пужно,
Как рукопожатье в своей семье,

Когда не нужны ни встречи, ни письма,
Но вечно глаза твои видят глаза,
Как если б среди тонких струн организма
Новый какой-то нерв завелся.

И знаешь: что б ни случилось с тобою,
Какие б ни прокляли голоса —
Тебя с искалеченною судьбою
Те же теплые встретят глаза,

И встретят не так, как радушные люди,
Но всей
 глубшою
 своей
 чистоты,
Не потому, что ты абсолютен,
А просто за то, что ты — это ты.

1939

* * *

Нет, я не тот, кого ты ждала
Зиму, лето да осень
И в ожидании все дела
Делала так... Не очень.

Как это скучно: папа, мам,
Житье под родимой крышей.
Сверчок со скрипочкой по углам
Был тебе много ближе.

Так день проходит, и ночь идет.
И вдруг стучится прохожий!
Нет, я, конечно, совсем не тот,
А только чуть-чуть похожий.

Опять твое сердце не запыто,
И даль все та же во взорах,
Но ты жалеешь меня за то,
Что я тебе мил, да не дорог.

А мне, бедовая жизнь у кого,
Которого за борт смывало,
Мне твоя жалость дороже всего!
Жалость... Это не мало.

Ты думаешь: так это оп... Болтовня...
Нет, я на самом деле:
Любили меня, бранили меня,
А вот жалеть не жалели.

1941

Я НА ЯВОРЕ НА КЛЕНЕ

(Песня)

Я на яворе, на клене
Сердце вырезал когда-то.
Был и я тогда зеленый,
Стройный, шумный, кудреватый.

А потом пошли невзгоды,
Ветер гладил против шерсти,
Позабыл я в эти годы
И себя, и клен, и сердце.

Но упрямым я родился
И, невзгоды побеждая,
Умудренным воротился
К берегам родного края.

Вот и явор мой крылатый!
Вот и сердца очертанье...
Только что тут за стрела-то:
Шутка чья или страданье?

Жаркий трепет душу пронял,
Грудь тоскою затошило...
Понял я, да поздно понял,
Что она меня любила,

1946

* * *

Я живу в столице, ты в тайге.
Дням разлуки ни числа, ни счета.
Я живу в печали, ты в тоске —
Между нами только самолеты.

Много ли расскажет письмецо,
Краткий вздох в бумажке полосатой?
Скоро для тебя мое лицо
Растворится в буквах адресата.

Да и я не прыгну через кряж:
Очертанья мреючи да зыбки...
Помню только алый карандаш
По излучинам твоей улыбки.

Отчего ж наперекор всему
Мы не разлучаемся в разлуке?
Отчего по-прежнему к письму
Тянутся порывистые руки?

Для меня ты — зорька-лисий-хвост,
Да пурга, да бел-горюч-алатырь;
Для тебя я — Москворецкий мост,
Планетарий и Большой театр.

1946

СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА

Итак, родная, вот уж четверть века,
Как мы с тобою за руки взялись,
Чтобы идти дорогой в голубое.
То голубое от тяжелых туч
Бывало черным. От военных залпов
Бывало желтым, сизым и багровым,
Но... серым не бывало никогда.

Мы радовались, горевали, злились,
Томились, тосковали, упивались,
Блаженствовали, падали, ползли,
Опять вставали, и, хромая, шли,
И снова спотыкались, но нигде,
Не правда ли, родная? — не скучали.

Так четверть века прожиты, как день!
Я серебрист. Лицо мое в морщинах.
Утратив молодое обаянье,
Теперь бы я тебя уж не пленил.
Но ты глядишь веселыми глазами
Сквозь маску моего лица и видишь
Меня таким, каким в твоей душе
Я отражен при вспышке молнии — навек.

Что седина, когда все чувства наши
Устремлены вперед! Когда мы можем
Чего-то ждать — но ожидать дано
Лишь молодости. Мертвые не ждут.
Быть может, человеческая жизнь
Всего лишь вечный пафос ожидания.

Гляди же гордо, милая моя.
Грядущее — вот где отчизна наша!
Пусть мы до него не добрели,
Пусть его увидят наши дети,

По мы с тобой, подруга дорогая,
Убеждены, что будущее: вот!
Лишь перейти вон ту крутую гору,
В конце концов не очень и большую,

А там уж... там... И с этим убежденьем
Как жили мы с тобой, так и умрем.
Как знать? Быть может, мы умрем от счастья...

(Я так мечтаю, чтоб случилось это
Для нас двоих в один и тот же час.)

1949

* * *

Муравьи беседуют по радио
(Усики у них антенны),
Милых сердцу веселя и радуя,
Шлют волнишки сквозь любые стены.

Ну, а мне-то как найти, красавица,
Нежную волну твою в пространстве?
Я уже с утра (могу покаяться)
Из чернильницы вздымаю стансы.

Я тебе пишу не по профессии,
Но в ответ ни кляксы, ни марашки...
Поневоле с высоты поэзии
Позавидуешь любой мурашке.

Слово бы — и я всю душу вымою!
От тебя ж ни строчки, ни помарки...
Думай обо мне, моя любимая, —
Я тебя услышу и без марки.

1949

СОНЕТ

Я никогда в любви не знал трагедий.
За что меня любили? Не пойму.
Походка у меня как у медведя,
Характер — впору ветру самому.

Быть может, голос? Но бывали меди
Сродни виолончельному письму;
Иных же по блестящему уму
Приравнивали мы к самой комете!

А между тем была ведь Беатриче
Для Данте недоступной. Боже мой!
Как я хотел бы испытать величье
Любви неразделенной и смешной,

Униженной, уже нечеловечьей,
Бормочущей божественные речи.

1950

А Л И С А

(Из рукописей моего друга, пожелавшего остаться неизвестным)

Э т ю д 1

Никуда души своей не денем.
Трудно с ней, а все-таки душа.

Я тебя узнал по сновиденьям,
Снами никогда не дорожа,
Я тебя предчувствовал, предвидел,
Нехотя угадывал вдали,
И когда глаза твои, как выстрел,
Мне зрочки впервые обожгли
И когда вокруг необычайно
Силетня заметалась, как в бреду,
Я все это принял, как встречают
Долгожданную беду.

Э т ю д 2

На безлунье в бору высоком,
Где чернели даже луны,
Угадал я не глазом, но оком
Ледяные твои огни.
Только ночь с ее странною мерой
Так могла подшутить надо мной.
С небосклона скатилась Венера,
Изменяя порядок земной:
Оползала полпочная мрачность,
А туман занялся по пизам,
И такая возникла прозрачность,
Словно фосфор весь мир пронизал!
Палучались коряги да жерди...
В Млечный Путь претворилась река...
В этот миг я увидел бессмертье!
Ты же видела лишь... старика.

Этюд 3

В день, когда по льдинам Заполярья
С ледокола на Чукотский берег
Шел я на собаках в океане,
Бородатый, тридцатитрехлетний,—
Где-то в Польше родился ребенок:
Девочка со льдистыми глазами.
Я увидел их и содрогнулся:
Арктика сквозь мгли, сквозь туманы
Вырубила деву из льда.
Девушка смеется, веселится,
Будущему детски улыбаясь,
Униваясь юностью, успехом,
Дружбою, любовью... Ну, и пусть
Ей ведь, упоенной, невдомек,
Что она задумана природой
Лишь затем, чтобы войти в поэму!
В черный день ледового похода
Для меня *Алиса* родилась.

Этюд 4

Она мне постоянно говорила,
Что у нее жених, что он красавец
И что, мол, нет на свете человека
Такого некрасивого, как я.
И вдруг однажды очень удивленно:
— А знаешь? А ведь ты похож на тигра! —
А я подумал: нужен только образ,
Чтоб увидеть в уродстве красоту.

Этюд 5

Я часто думаю: красивая ли ты?
Но знаю: красота с тобою не сравнится,
В тебе есть то, что выше красоты,
Что лишь угадывается и снится.

Этюд 8

Я хочу вобрать в себя павеки
Весь пейзаж твоих полярных глаз
И звезду, что лишь в XX веке
На небе торжественно зажглась...
Наглотаться бы перед разлукой
Слов твоих и смеха, милый друг,
Чтоб затем с удвоенною мукой
Услышать безмолвие вокруг.

Этюд 9

Как же быть теперь без нее?
Как мне жить теперь без нее?
Кофе пить. Газеты читать.
Никогда ничего не ждать.
Ничего

о ней

не знать.

Я найду ее!

М?

Нет.

Я на дне разыщу ее!

Бред.

На край света за нею!

Ложь.

Ни-ку-да ты за ней не пойдешь.

Этюд 10

Пять миллионов душ в Москве,
И где-то меж ними — одна.
Площадь. Парк. Улица. Сквер.
Она?
Нет, не она.

Сколько почтамтов! Сколько аптек!
И всюду люди, народ...
Пять миллионов в Москве человек —
Что ее тут найдет?

Случай! Ты был мне всегда как брат.
Еще хоть раз помоги!
Сретенка. Трубная. Пушкин. Арбат.
Шаги, шаги, шаги.

Иду, шепчу колдовские слова,
Магические, как встарь.
Отдай мне се! Ты слышишь, Москва?
Выбрось, как море янтарь!

Э т ю д 11

Не в том, не в том моя беда,
Что, утерев тебя навек,
Я не увижу никогда
Ни этих губ, ни этих век,
А в том, что если бы, любя,
Ты захотела новых встреч,
Я отказался б от тебя,
Чтобы любовь твою сберечь.

Э т ю д 12

Железнодорожная держава,
Царство встреч, но и глухих разлук!
Голубой экспресс «Москва — Варшава»...
Медного рожка унылый звук...

В мире нет печальнее мотива:
Как он сиротлив и одиноч!
Траурный штандарт локомотива...
Красный уходящий огонек...

Он уходит, в дымке догорая,
Плавню пробираясь по леску...
Полюби Россию, дорогая,
Наши звезды и мою тоску.

Этюд 13

Имя твое шепчу неустанно,
Шепчу неустанно имя твое.
Магнитной волной через воды и страны
Летит иностранное имя твое.

Быть может, Алиса, за чашкой кофе
Сидишь ты в кругу веселых людей,
А я всей болью дымящейся крови
Тяну твою душу, как чародей.

И вдруг изумленно бледнеют лица:
Все тот же камин. Электрический свет.
Синяя чашка еще дымится,
А человека за нею нет...

Ты снова со мной. За строфою-решеткой,
Как будто бы я с колдунами знаком,
Не облик, не образ — явственно, четко
Дыханье, пахнущее молоком.

Теперь ты навеки моя, недотрога!
Постигнет ли твой Болеслав или Стах,
Что ты не придешь? Ты осталась в стихах.
Для жизни мало, для смерти много.

Этюд 14

Так и буду жить. Один меж прочих.
А со мной отныне на года
Вечное круженье этих строчек
И глухонемое «Никогда».

Письмо Алисы

(Перевод с польского)

Дедов дом
На старом месте.
Все знакомо
До созвездий.

Я гуляю
По аллее,
Ни о ком я
Не жалею.

Так и нужно,
Милый, жить:
Не гадать,
Не ворожить,
Не томиться,
Не терзаться,
Лишь со случаем
Встречаться.

Безмятежно
Я живу —
Снов не вижу
Наяву.
Вот мой сад.
Вот мой дом.
Не жалею
Ни о ком.

Я брожу
Со псом игривым
По аллеям
И по нивам.

А жених мой
Оказался
Не таким уже
Красивым...

Э т ю д 15

Нет, не шутка. Честное слово.
В загробные больше не верим края,
Но разве не могут атомы снова
Сложиться в такое, как ты да я?

Ужели материя так убога,
Что я да ты только раз удались?
Даже помимо понятия «бога»
Здесь очевидный идеализм.

Закономерность или причуда
Формула под названием «я»?
Разве рожденье мое это чудо,
Неповторимое для бытия?

Не слишком ли много, моя дорогая,
Люди думают о себе?
Пройдут века — и ты, не другая,
Задышишь, не помня о прежней судьбе,

И снова умрешь, и появившись снова,
Год ли спустя, миллион ли годов —
Частный случай на вечной основе,
Который мгновенно возникнуть готов.

Да, я родился, проживу до ста,
Чтобы затем навсегда умереть.
Но я — электронов случайная доза,
А эта случайность возможна и впредь.

Вечность — это не только время.
Это возможность у нас на Земле
Любой структуры любого явления,
Структуры Алисы в том числе.

Еще ты не раз повторишься, Алпса.
Сойдутся в грядущем пути наших дней.
Всем

чутьем

материалиста

Я чувствую правду догадки моей.

И снова, как прежде, в мучениях, с боем
Найду я тебя на своем пути!
Но только пускай нам будет обоим,—
Хочешь? — обоим по двадцати...

Не будет во мне этой душевной глубины,
Не омрачит она твой покой...
Но вряд ли

таким

ты меня полюбишь,

И вряд ли тебя полюблю я такой.

СОНЕТ

А я любя был глуп и нем.
Пушкин

Душевные страдания как гамма:
У каждого из них своя струна.
Обида подымается до гама,
До граянья, не знающего сна;

Глубинным стоном отзовется драма,
Где родина, отечество, страна;
А как зудит раскаянье упрямо!
А ревность? М-м... Как эта боль страшна!

Но есть одно беззвучное страданье,
Которое ужасней всех других.
Клинически оно — рефлекс глотанья:

Когда слова уже горят в гортани,
Дымятся, рвутся в брызгах огневых,
Но ты не смеешь и... глотаешь их.

1951

* * *

Ты не от женщины родилась:
Бор породил тебя по весне,
Вешнего неба русская вязь,
Озеро, тающее в светизне...

Не оттого ли твою красу
Хочется слушать опять и опять,
Каждому шелесту душу отдать
И заблудиться в твоём лесу?

1957

* * *

В косы влетены лучи,
Руки нежные, как ручьи...
Рыба в аквариуме всплывет,
Видя в воде отраженье твое;
В клетке чирик вдруг запоет,
Услыхав приближенье твое;
Быть может, и мне пригрезятся сны
В страшном моем замороженном сне:
Ведь ты даже в шубке — примета весны
Рыбам, птицам и седице,

1958

ДВЕ КУКУШКИ

Деревянная кукушка
Отсчитала пять часов.
Вдруг подружка на опушке
Откликается на зов.

Но часы, уснув на даче,
Не тревожились нимало.
А живая, чуть не плача,
Куковала, куковала.

1958

* * *

Все нервы о тебе поют,
Все кости по тебе болят...
В такую муку только пьют
Волну, что пахнет, как булат.
Но хоть во рту железный вкус
Пройдет по горлу, как кинжал,
Я не сопьюсь, я не сопьюсь —
Я ранку пальцами зажал.
Ведь ты, расправившись со мной,
Столкнула ножкою ко дну
Совсем не мир духовный мой,
А маску внешнюю одну.
Не стану буйствовать, кляня,
Венец терновый не совью;
Ведь ты отвергла не меня,
А только женственность свою.

1953

ЗАКЛИНАНИЕ

Позови меня, позови меня,
Позови меня, позови меня!

Если вспрыгнет на плечи беда,
Не какая-нибудь, а вот именно
Вековая беда-борода,
Позови меня, позови меня,
Не стыдись ни себя, ни меня —
Просто горе на радость выменяй,
Растопи свой страх у огня!

Позови меня, позови меня,
Позови меня, позови меня,
А не смеешь шепнуть письму,
Назови меня хоть по имени —
Я дыханьем тебя обойму!

Позови меня, позови меня,
Поз-зови меня...

1958

ЗАВИСТЬ

Что мне в даровании поэта,
Если ты к поэзии глуха,
Если для тебя культура эта —
Что-то вроде школьного греха;

Что мне в озарении поэта,
Если ты для быта создана —
Ни к чему тебе, что в гулах где-то
Горная дымится седина;

Что мне в сердцеведение поэта,
Что мне этот всемогущий лист,
Если в лузу, как из пистолета,
Бьет без промаха билллардист?

1958

* * *

Разве может любовь обижать?
Разве я повредил вашей гордости?
Я хотел тебя обожать,
Монументом воздвигнуть в городе.

Чтобы стало всем хорошо,
Как бывает народу от радуги,
Чтобы каждый унес ворошок
Упоенности, нежности, радости;

Чтоб по улицам плыл уют
От твоей улыбки мечтательной;
Чтобы знали улыбку твою,
Как московскую примечательность.

Чтобы май, в огнях синевы
Прилетев среди снега талого,
От тебя,
улыбка Москвы,
Ожидал бы: «Добро пожаловать!»

Но ты тупо спрягалась в быт.
Нет, тебе не взрасти до статуи:
Для того, чтобы женщиной быть,
Юбочки недостаточно.

1958

ЦЫГАНСКИЙ РАСПЕВ

Д е в у ш к а

Отчего ты, милый мой,
Не пришел ко мне домой?

Ты сказал, что у меня
Губы полные огня,

Что пушинки над губой
Стали вдруг твоей судьбой,

Пахнет молнией коса,
Ослепительна краса.

Отчего же, милый мой,
Ты нейдешь ко мне домой?

Отчего шагаешь зря
За углом у фонаря?

У нее глаза в очках,
А волосики в пучках,

Нет пушинок на губе,
А фигурка так себе.

Отчего же? Почему?
Плачу. Злоблюсь. Не пойму.

Х о р

Девка, брось! Ему нужна
Не любовь, а новизна.

1958

* * *

Годами голодаю по тебе.
С мольбой о недоступном засыпаю,
Проснусь — и в затухающей мольбе
Прислушиваюсь к петухам и к лаю.

А в этих звуках столько безразличья,
Такая трезвость мира за окном,
Что кажется — немислимо разлиться
Моей тоске со всем ее огнем.

А ты мелькаешь в этом трезвом мире,
Ты счастлива среди простых забот,
Встаешь к семи, обедаешь в четыре —
Олений зов тебя не позовет.

Но иногда, самой иконы строже,
Ты взглянешь исподлобья в стороне —
И на секунду жутко мне до дрожи:
Не ты ль сама тоскуешь обо мне?

1959

РОМАНС

Если губы сказали: «Нет»,
А глаза ответили: «Да» —
Будто море хлынет в ответ,
Захлестнув тоску без следа.

Но завянет алый рассвет,
Почернеет любая звезда,
Если губы ответили: «Да»,
Но душа отвечает: «Нет».

1959

СТИХОТВОРЦУ-НЕУДАЧНИКУ

В стихах не Пушкин ты, а... Пуцип,
Но не спеши несчастным быть:
Талант не всякому отпущен,
Но каждому дано любить.

Любовь же — это вдохновенье,
Дурманящее, словно дым,
Как солнце, льющееся в вены
Бродящим хмелем золотым.

И занеможешь ты... И ты
Раскроешь сонные ресницы
И так почувствуешь цветы,
Как и поэту не приснится.

А что слова? Не суесловы!
Влюблен? Ну, значит, нет проблемы!
Меняю все свои поэмы
На шалости твои, Любовь.

1959

ШИПОВНИК

Среди цветов малокровных,
Теряющих к осени краски,
Пылает поздний шиповник,
Шпящий, закатно-красный.

Годные только в силос,
Качаясь, как богдыханы,
Цветы стоят «безуханны»,
Как в старину говорилось.

А этот в зеленой куще,
Лицом отражая запад,
Еще излучает ликующий
Высокомерный запах.

Как будто, ничуть не жалея
Тебя со всей твоей братней,
Сейчас прошла по аллее
Женщина в шумном платье.

Запах... Вдыхаю невольно
Это холодное пламя...
Оно омывает память,
Как музыкальные волны.

Давно уже спит в могиле
Та женщина в каплях коралла,
Что раз назвала меня:

«Милый» —

И больше не повторяла.

Было ли это когда-то?
Прошли океаны

да рельсы...

Но вот
 шиповник
 зарделся,
Полный ее аромата,

И, алой этой волною
Рванувшись ко мне отчаянно,
Женщина снова со мною
С лаской своей случайной.

1959

* * *

Б. Я. С.

Мечта моей ты юности,
Легенда моей старости!
Но как не пригорюниться
В извечной думе-наросте

О том, что юность временна,
А старость долго тянется,
И кажется, совсем она
При мне теперь останется...

Но ты со мной, любимая,
И, как судьба ни взбесится,
Опять, опять из дыма я
Прорежусь новым месяцем.
И стану плыть в безлунности
Сиянием для паруса!

Мечта моей ты юности,
Легенда моей старости...

1960

ГЕТЕ И МАРГАРИТА

О, этот мир, где лучшие предметы
Осуждены на худшую судьбу!..
Шекспир

Пролетели золотые годы,
Серебрятся новые года...
«Фауста» закончив, едет Гете
Сквозь леса неведомо куда.

По дороге завернул в корчму,
Хорошо в углу на табуретке...
Только вдруг пригрезилась ему
В кельнерше голубоглазой — Гретхен.

И застрял он, как медведь в берлоге,
Никуда он больше не пойдет!
Гете ей читает монологи,
Гете мадригалы ей поет;

Вот уж этот неказистый дом
Песней на вселенную помножен!
Но великий позабыл о том,
Что не он ведь чертом омоложен;

А Марго об этом не забыла,
Хоть и знает пиво лишь да квас:
— Раз уж я капрала полюбила,
Не размениваться же на вас.

Барвица
1960

МОЛДАВСКАЯ ПЕСНЯ

У коня дыханье как у девушки...
Только *что* мне от такого проку?
Расступитесь, дубушки-деревушки,
Дайте непутевому дорогу!

И зачем живу на белом свете я,
За версту твой хутор объезжая?..
Эх, кабы моложе на столетия
Были мы с тобой, моя чужая!

Я б не стал над арчаком сутулиться,
Знать не знал вот этой дикой боли...
Подхватил бы я тебя на улице,
Кинул на седло —
и ветер в поле!

Пусть тогда с легавыми да гончими
Вся меня округа бы сковала,
Пусть хотя бы пулею прикопчилп —
Ты по мне на крик бы тосковала...

1960

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Спасибо за тяжелый сон,
Который ты мне подарила:
Как обессиленный Самсон,
Лежал я пред тобой, Далпла.

А впрочем, что мне в сказке сей?
Развей я хоть двенадцать дюжин —
Тебе я попросту не нужен
Со всюю силою своей.

И все же ты сыграла роль
Далилланскую отчасти...
Благодарю тебя за счастье,
Хоть это счастье — только боль.

1960

РЕПЛИКА

Не спрашивай, зачем под старость лет,
Не преступив венчального обета,
Я вдруг пишу о той или об этой:
Стихи, как сны, — над ними власти нет.

1960

* * *

Вы забежали к нам пакоротке,
Нас опавнув как бы дыханьем вальса,
Но в пепельнице долго не сдавался
Окурок с краскою на ободке.

И в этой дымке шоколадно-зыбкой,
В живом пятне меж мертвых папирос
Почудилась дрожащая улыбка
И слово, что еще не родилось.

1960

* * *

Когда пред высокой стоишь красотой,
Ощущаешь себя ничтожеством.

Полночь, глядящая в дымке седой
Сириусом
Ежистым,
Бор черпобурый

в огнях

озер,

Земляничные запахи стелющий;
Океана оплавленный кругозор...
Вулкана кровавое зрелище...

Ворохом душу твою вороша,
Выбив ее из обычая,
Они презирают тебя, мураша,
Всей громадой величия!

И только одна из великих стихий
Тебе улыбнется:

Женщина.

Пускай сражаются женихи
Со Змеем, с которым обвенчана;

Пускай богатырь быллинных кровей
Вынес ее из побоища,
А ты, бедняга, всего муравей
Со всей душонкой воющей,

Но стон твой горячей кровинкой виша
Ее обожжет! В этом главное!
Иначе не женщиной будет она,
Обожаемая. Богоравная.

1961

* * *

Каждому мужчине столько лет,
Сколько женщине, какой он близок.
Человек устал. Он полусед.
Лоб его в предательских зализах.

А девчонка встретила его,
Обвевая предрассветным бризом.
Он готов поверить в колдовство,
Покоряясь всем ее капризам.

Знает он, что дорог этот сон,
Но оплатит и не поскупится:
Старость навек сбрасывает он,
Мудрый, Молодой. Самоубийца.

1961

ВЛЮБЛЕННЫЕ НЕ УМИРАЮТ

Да будет славен тот, кто выдумал любовь
И приподнял ее над страстью:
Он мужество продолжил старостью,
Он лилию выводит среди льдов.

Я понимаю: скажете — мираж?
Но в мире стало больше нежности,
Мы вскоре станем меньше умирать:
Ведь умираем мы от безнадежности.

1961

ГИМН ЖЕНЩИНЕ

Каждый день, как с бою, добыт.
Кто из нас не рыдал в ладони?
И кого не гонял следопыт
В тюрьме ли, в быту, фельстоне?

Но ни хищность, ни зависть, ни месть
Не сумели мне петлю сплести,
Оттого что на свете есть
Женщина.

У мужчины рука — рычаг,
Жернова, а не зубы в мужчинах,
Коромысла в его плечах,
Чудо-мысли в его морщинах.

А у женщины плечи — женщина,
А у женщины локоть — женщина,
А у женщины речи — женщина,
А у женщины хохот — женщина...

И, томясь о венерах Буше,
О пленительных ведьмах Ропса,
То по звездам гадал я в душе,
То под дверью бесенком скребся.

На метле или в пене морей,
Всех чудес на свете милей
Ты — убежище муки моей,
Женщина!

1961

* * *

Я мог бы вот так: усесться против
И все глядеть на тебя и глядеть,
Все бытовое откинув, бросив,
Забыв о тревожных криках газет.

Как нежно до слез поставлена шея,
Как вся ты извечной сквозишь новизной...
Я только глядел бы, душой хорошея,
Как хорошеют у моря весной,

Когда на ракушках соль, будто пней,
Когда тишина еще кажется синей,
А в бухте, там, где скалистый проход, —
Огнями очерченный пароход..

Зачем я подумал о пароходе?
Шезлонг на палубе... Дамский плед...
Ведь счастье все равно не приходит
К тому, кто за ним не стремится вслед.

1961

FEMME DE QUARANTE ANS

Ц. А. В

Бальзак воспел тридцатилетнюю,
А я бы женщину под сорок:
Она блестит красою летнею,
Но взгляд уже осенне-зорок;

Не опереточная женщина,
Пленяющая разномастных,
Здесь очаровывает женщина,
Перед которой мир без масок;

Она живет в обидной ясности,
А ум бесстыдно гол, как сабля,
И тайный запах опасности
В ней тонко чует волчья капля;

У ней в кулечках вся оконница,
Давно она уже не плачет...
Но если

за тобою

гонятся,

Опа тебя в постели спрячет.

1962

* * *

Он, много раз меняя жен,
Подобен был весне:
Он что ни год — молодожен,
Хоть старился, как все.

Но вот и свечка зажжена —
Вошли все жены в зал,
Но что такое —
Жена,
Он так и не узнал.

1962

ЧЕЛОВЕК УМИРАЛ...

Человек умрел на больничной койке.
Был он профессор. Седой и старый.
Дышал, то бурно, то кое-как,
А секунды на часиках
почему-то стали.

По нему ознобом бежал огонь,
Отдирая костяк от мышц.
И как всегда бывает в агонии,
Тело таило огромную мысль.

В зубах, плечах, коленях — везде
Все в нем клокочет, не хочет, сердится...
А пальцы как будто держали в узде
Какого-то зверя. Может быть, сердце.

Вокруг стояли ученики.

— А доктор где?

— Куда смылся?

— Ольга!

— Что?

— Одеяло накинй! —

Голос Ольги: — Не вижу смысла. —
О чем он думал?

О, совсем не о том,

Что, будь он ловчей по природе,
Он стал бы не винтиком, а винтом,
Члепом коллеги или чем-нибудь вроде;

И не о том, что по жизни шел,

Медь находя или олово,
Но так ни разу и не нашел
Золота

в конскую голову.

Нужно ль об этом в предсмертный час,
Где доброе так же бесцельно, как злое?
Нужно!

Ибо

в могилу

нас,

Как мать на фронт, провожает Былое.

1962

Любви моей молодой:
Тот же стан изящный и тонкий,
Так и тянущийся в балет,
Те же вздернутые губенки
Баловницы семнадцати лет,
То же пенье с легкой гримаской,
Неуверенное и с листа,
А ресницы ее полумаской
Оттеняют бледность лица.

Значит, юности нашей зданье
Не разбила годов череда.
Как я счастлив от этого знанья!
Не бессмертья ли в этом черта?

2

Есть у каждого свой двойник.
Если б мой бы рядом возник,
Ненавидел бы я его
За непрошеное сродство,
За безрукость эту в быту,
За ненужную доброту,
За провалы в его судьбе,
Что всегда прощал я себе,
За проклятую седину,
Что никак не уймет сатапу.

1963

ПРЕЛЮД

Если по клавишам бить кулаком
Или пальцем стучать небрежно,
Не жди, что, не думая ни о ком,
Создашь ты что-либо нежное.

Но и стандартом его не создашь:
Оно не выносит правил,
Хотя бы испытанный карандаш
Его умудренно правил.

Движенья у нежности широки,
Но многое в ней от каприза...
Любовь — соната в четыре руки,
Разыгранная *improviso*.

1963

МОЛЕНЬЕ О ЧУДЕ

(Сюита)

Человек умер в приморском санатории, оттого что в море разыгрался шторм. Врачи констатировали смерть от перемены давления при коронарной недостаточности и не настаивали на вскрытии. Среди бумаг покойного нашли анкеты, квитанции, облигации, письма и стихи. Письма были строго делового характера. На стихи не обратили внимания. А между тем...

ПРЕЛЮД

О, как сбежало из парадного
Ее ликующее тело!
Она могла меня порадовать,
Но этого не захотела,

И чудеса преображения,
Присущие ее дыханью,
С собой умчала эта женщина
С ее весенними духами.

Уж вот среди домов высотных
Растаяла в чужих плечах,
Но, как перчатку или зонтик,
Она оставила печаль.

Печаль... Зря на нее клеветают:
Она не может погубить.
Но что мне делать с этой вещью:
Привыкнуть к ней и полюбить?

СУМЕРКИ

Сижу. Сумерничаю. Птицы
Задумчивые, как и я,
В снегу обсели черепицы
Вокруг железного конья.

Но не глядишь на немилого,
Губ для него не разжала бы.
Можно русалку выловить,
Но невозможно разжалобить.

* * *

Хоть бы присниться тебе, проклятой,
В черных минах на берегу
И хищною фронтовой расплатой
Зацеловать тебя на бегу,

Да, на бегу! Потому что крали
Влюблялись не только под пение муз.
Ах, любимая... Я не смеюсь:
Счастье любит, чтоб его крали.

* * *

Кладу на тебя заклятье!
Как нищий томится о злате,
Как житель Полярного круга
Жаждет солнца
при скучной луне,

Так и ты, лаская супруга,
Будешь думать лишь обо мне:
О руках моих, о плечах моих,
О притягивающих
очах моих.

КАК УМОЛЯЛ Я О ЧУДЕ

Как тосковал я о чуде!
Как молил я, как умолял!
Оно было нужно мне, как снег
умирающему в Сахаре.

Но чудо сегодня
сложней и проще:

это не снег в Сахаре,
не вестник божий в виде медведя,
пришедший к святому Сергию,
не телевизор, экраном которому
служила бы лунная поверхность...

Чудо это — крылатая радость,
влетевшая к нам в окно,
хоть мы ее ничем не заслужили.

Эта крылатость
в руках людей,
в возможностях каждого человека —
в этом-то, дорогая,
самая
суть
чуда.

Если б я завихрил тебя, любимая,
письмами,
телефоном,
стихами,
в конце концов через год-другой
я стал бы нужен,
необходим,
и ты подарила бы мне свои ласки.
Но ведь такое
может случиться с каждым,
а я хотел чуда,
только чуда,
чтоб человек спасал человека
не через год, не через два,
а именно в ту минуту,
когда он жаждет спасенья.

Я не смею тебя проклинать. За что?
По какому праву я требовал чуда?
Ты — это ты.
Я — это я.
Каждый из нас — особый мир.
Ты никому ничем не обязана
и за шитом уголовного кодекса
можешь спокойно глядеть на то,

как на костре обугливается
томящийся по тебе.
Ты
права.
Совершенно права.

О ПРИРОДЕ ПЕЧАЛИ

Умей воспринимать печаль
Без трагедийности, иначе
«Лишь то, — ты скажешь, — в мире значит,
На чем страдания печать».

А я такому тюфяку
Не стану близким человеком,
А я курю свою тоску,
Как трубку с золотым дюбеком.

И хоть горчит обычно дым,
Бывает сладкая затяжка.
Вдвоем с дюбеком золотым
Существовать не так уж тяжко.

С тоской приходят мне на ум
Баллады, грезы и прозренья...
Пусть я, казалось бы, угрюм,
Угрюма и краса осенья.

И я не ринусь на рожон,
Печаль с бодрячеством мешая;
Мне так бывает хорошо,
Что радость иногда мешает.

* * *

Не желаю Вам беды,
Зла Вам не желаю —
Вместо хлеба лебеды,
Чобра вместо чаю.
Но в далекой глубине
Вижу Вашу долю:
Ты еще придешь ко мне,
Раненная болью.

ГАДАНИЕ

Вынув карты из маленького конвертца,
Старуха

гадала

пропойце:

«Для тебя...

Для дома...

Для сердца...

И чем сердце успокоится».

Меня потрясла эта сентенция:

Проста. Глубока. Могуча.

Как ты рубль, цыганка, пи мучай,

Все равно ты мудрая старушенция.

И слушают галки да улитки

Гадалку

под церковью

Троицы...

На вине, на весне, на улыбке,

В гробу! — но сердце успокоится.

А СМЕРТИ НЕТ!

В конце концов умереть тоже не плохо.

Эйнштейн

Поэмы кончатся смертью

С крестами под сенью луны,

Как будто все сводится к метру

Кладбищенской глубины.

Тяжки надгробные плиты,

Но тот электропный рой,

Что создал твоё обличье,

Не станет мириться с норой.

Кружил этот рой без начала.

Будет кружить без конца,

И были мгновеньем причала

Черты твоего лица.

Во что этот рой воплотится
В движенье бессмертном своем?
Шекспир ли опять повторится,
Гонкуры ль пройдутся вдвоем?

В этой идее как будто
С умами древнейших родство —
Такими, допустим, как Будда
Или монахи его,

Но все это лишь строенье
Мельчайших частиц вещества,
Их шалое настроенье,
Изученное едва...

1963

О ЛЮБВИ

Любящий многих зраст женщин,
Любящий одну познает Любовь.
«Нисо-Пао»

Есть в судьбе моей женщина,
Каждый раз казавшаяся новой.
Нет, любовь не наслажденщина.
Этого не понял Казанова.

Но и выбрать одну
отныне и присно
В этом нет еще истины.

Только к закату жизни
Поймешь,
Кто была
Единственной.

1964

* * *

Милый! Если тебе неможется
И почему-то счастье не снится —
Возьми мою душу с терпкой кожицей,
Раскрой на любой странице.

Ты услышишь голос, которому неможется,
Словно видишь свое отражение с моста:
Он всеми твоими богами божится
И горько над ними, как ты, смеется.

1965

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ

В раннем детстве,
Когда я укладывал куклу спать
И накрывал ее одеяльцем,
Мне самому становилось тепло...
Не понимал я тогда,
Что это и есть любовь.

1965

* * *

Когда я впервые увидел Эльбрус,
Эту двуглавую вспышку магния,
Был я мальчишкой. Совсем бутуз.
Но мной овладела мания,
И я шептал себе: «Ничего!
Вырасту — завоюю его».

Когда ж я впервые увидел вулкан
С кровавой тучей над кратером,
Меня не смутил ключевской великан.
Быть может, в кочевье неоднократном
Я знал его сотни лет назад,
И тундру эту, и это становье...
Вот только чей-то убогий сад
Являл для меня что-то новое.

Когда я, родная, увидел тебя,
Недосягаемую такую,
Кровь моя не вскипела, знобя,
Как если бы встретил другую:
Я сразу понял — ты мне суждена.
В Древнем Риме — (чутье порукой!) —
Была ты, матрона, моей супругой,
И вот узнал я тебя, Жена!

1966

* * *

Когда я был молод,
Силен
И была у меня улыбка,
Завораживающая женщин,
Я никогда не читал им
Своих стихов.
Я находил, что такое средство
Ниже достоинства моей музыки.

Но сейчас,
Когда я очень устал
И улыбка моя
Может выразить только неудавшуюся жизнь,
Ради вас, дорогая,
Я иду и на это...

Мне стыдно,
Но я читаю
Старые свои баллады,
В которых осталось что-то
От виолончельного тембра,
Каким когда-то
Была полна моя грудь.

1966

ИЗ ПОЭТА ИГРЕК

Родная... Мой великий друг...
Единственная радость жизни...
Я целовал твоих подруг.
Винюсь. Достоин укоризны.

Прости меня. Мне мир — тюрьмой,
Когда грустишь о всяком вздоре.
Родная! Друг великий мой!
Мое единственное горе!

Институт терапии
1967

НОВЕЛЛА О ЗАТЯЖНОМ СНЕ

Что ни ночь — один и тот же сон.
Как я жаждал наступленья ночи!

С чего все это началось?
Однажды,
Когда я шел на службу к десяти,
Мне встретилась в пустынном переулке
Она.
Мы разминулись.
В ту же ночь,
Хоть я совсем о девушке не думал,
Приснилось мне, что я ей поклонился.
Она ответила и улыбнулась.

На следующий день, когда я снова
Пошел на службу к десяти, она
Мне встретилась в пустынном переулке.
Под мышкой у нее была ракетка.
В клеенчатом чехле.
Я поклонился,
Но девушка с надменным выраженьем
Откинула головку.
Этой ночью
Мне снилось, будто мы сидели рядом
На голубой скамейке у воды.
Лица я не запомнил, но заметил
Лишь ямочку на подбородке...
Утром
Я снова поклонился ей. Она
По-прежнему откинула головку,
И я увидел ямочку, которой
Не видел наяву.
На этот раз
Мне снилось: девушка сидит на камне,
А я в самозабвении сжимаю

Ее колени, милые колени,
Крутые, как бильярдные шары.
Но больше я не кланялся. К чему?
Ведь эта недотрога все равно
Не обращала на меня вниманья.

С тех пор прошло немало дней. И все же
Все свои ночи проводил я с ней.
Она меня не замечала днем,
Но в полночь приходила, целовала,
Шептала девичьим своим дыханьем
Заветные слова, которых я
Еще ни разу в жизни не слышал.

Как я был счастлив!
Что за чудо — сон...
Кто мог мне запретить?
Мы с ней, бывало,
Лежали в дюнах у морской губы,
Схватившись за руки, бросались в волны,
Плескались, хохотали — все как люди.
Но утром, утром... В переулке снова
Она, любимая. Пройдет, не глядя
И даже отвернувшись. Белый свитер,
Такой пушистый... Клетчатая юбка...
На каучуке желтые ботинки...
А я? Я думал: «Знаете ли вы,
Что вы — моя? До трепета моя!»

Ушли недели, месяцы ушли.
И вдруг в один из августовских дней
Она прошла в кроваво-красном платье
И на руках

несла ребенка

в сон...

Теперь она приснилась мне женой,
А мальчик... Оц, конечно, был моим.
И вот тогда-то среди бела дня,
Когда я шел на службу... И она...
Я вдруг остановился перед ней,
Как бык пред матадором, — будь что будет! —
И чувствовал, как на моем лице
Все мышцы заплясали, точно маска...
«Я больше не могу! — вскричал я зычно,

И переулочек отозвался гулом.—
Поймите, больше не могу!»
Она
Испуганно взглянула на меня
И шепотом ответила:
«Я тоже...»

1967

ЛЮДИ, ВЛЮБЛЯЙТЕСЬ!

Влюбленные, вы — миротворный мирт,
Ведь доброта в самой любовной химии.
Влюбляйтесь, люди! Вы спасете мир:
Влюбленные не могут быть плохими.

1967

* * *

Нет, любовь не эротика!
Это отдача себя другому,
Это жажда
Чужое сердце
Сделать собственной драгоценностью.
Это не просто ловушка
Для продолжения рода —
Это стремление человека
Душу отмыть от будней,
Это стремление человечества
Лаской срубить злодѣйство,
Мир поднять над войной.

1967

ТИХООКЕАНСКИЕ СТИХИ

ВЕЛИКИЙ ОКЕАН

Одиннадцать было. Часики сверь
В кают-компании с цифрами диска.
Солица нет. Но воздух не сер:
Туман пронизан оранжевой искрой.

Он золотился, ронлся, мигал,
Пушком по щеке ласкал, колоссальный,
Как будто мимо проносят меха
Голубые песцы с золотыми глазами.

И эта лазурная мглистость песется
В сухих золотинках над мглою глубин,
Как если б самое солнце
Стало вдруг голубым.

Но вот загораются синие воды
Субтропической широты.
На них маслянисто играют разводы,
Как буквы «О», как женские рты...

О океан, омывающий облако
Океанийских окраин!
Даже с берега, даже около,
Галькой твоей ограян,

Я упиваюсь твоей спневой,
Я улыбаюсь чаще,
И уж не нужно мне ничего —
Ни гор, ни степей, ни чащи.

Недаром храню я, житель земли,
Морскую волну в артериях
С тех пор, как предки мои взошли
Ящерами на берег.

А те из вас, кто возникли не так
И кутаются в одеяла,
Все-таки съездите хоть в поездах
Послушать шум океана.

Кто хоть однажды был у зеркал
Этих просторов — поверьте,
Он унес в дыхательных пузырьках
Порыв великого ветра.

Такого тощища не загрызет,
Такому в беде не согнуться —
Он ленинский обоймет горизонт,
Он глубже поймет революцию.

Вдохни ж эти строки! Живи сто лет —
Ведь жизнь хороша, океанная...

Пускай этот стих на твоём столе
Стоит, как стакан океана.

Владивосток
1932

ОХОТА НА НЕРПУ

1

Угрюм и сумрачен обросший шумом берег.
На нем, казалось бы, могла
Ужиться лишь сырая мгла.
Но двести лет здесь обитает имя — Беринг,
И мнится сумрак дождевой
Его кудлатой головой.

2

Когда арктическою розой пахнут зори
И, всеми космами дрожа,
Их оплетет седая ржа —
С глухой рыбалки на Берингово море,
Морозной искрой опылен,
Выходит в море патефон.

3

Когда арктическою розой пахнут зори
И серый север-нелюдим
В зеркальный кутается дым,
Всплывает нерпа на Беринговом море
И лает громко, но шутя,
Доверчивая, как дитя.

4

Она отлается и снова на просторе
Ныряет, вьется вкривь и вкось,
Куда ведет ее лосось,
Но вдруг услышит глухую толщу моря,
И в ней какой-то странный звук,
Раскатываемый вокруг.

И в любопытстве, покинув поле брани,
 Мерцая ластами, гребет
 Туда, где пел рыбацкий бот,
 Где, как винтовку, салом смазавши мембрану,
 Кой-что заводит Пантелей
 Из итальянских кантилен:

Quando sponta la luna a Marechiare
 Pure li pisce nce fann'a l'ammore,
 Se revotano l'onne de lu mare
 Pe la priezza cagneno culore.
 Quando sponta la luna a Marechiare ¹.

(Идет тюлень, гребет тюлень
 На сладкогласье кантилен.)
 O, tu Marechiare!
 (Идет тюлень, гребет тюлень...
 Уж Пантелею бить их лень!)

О, драгоценность миланского «La Scala»,
 Звучащий бронзе в тембр и тон
 Великолепный баритон!
 Подозревал ли ты, что песнь твоя ласкала
 Среди поклонников и слуг
 Морского зверя толстый слух?

Подозревал ли ты, что лирикой твоею,
 Твоей любовью и тоской
 Глушат тюленя, как доской,
 Что, ноты песни, как неводы, развея,
 Твоей груди органнй звук
 Набил 148 штук!

¹ Когда всходит луна над Марекиаре, даже рыбы трепещут от любви, волнуя глубины моря и от радости меняя его цвета (*Неаполитанская песня*).

Мне чужды тема, и техника, и вкус твой.
Но как твоя двойная роль
Тревожит слышную боль...
Затем что душно мне от фраз!
Что я и сам бывал не раз
Избит, как нерпа, за доверчивость к искусству.

Пароход «Pronto».
Великий океан
1932

ОХОТА НА ТИГРА

1

В рыжем лесу звериный рев:
Олень окликает коров,
Другой с коронованной головой
Отзывается воем на вой —
И вот сквозь кусты и через ручьи
На поединок летят рогаши.

2

Важенка робко стоит бочком
За венценосным быком.
Его плечи и грудь покрывает грязь,
Измазав чалый окрас,
И он, оскорбляя соперника басом,
Дует в ноздри и водит глазом.

3

И тот выходит, огромный, как лось,
Шею вдвое напруживая.
До третьих сучьев порозросло
Каменное оружие.
Он грезит о ней,
о единственной,
Глаза залиты кровавой мечтой. *той!*

4

В такие дни, не чуя ног,
Иди в росе по колени.
В такие дни бери манок,
Таящий голос оленя,
И, лад его добросовестно зúбря,
Воинственной песнью мани изюбря.

Золотая. Закатная. Усатая, как солнце.
Жаркая морда тигра!
Полный балдеж во блаженном усенье —
Даже... выстрелить не успели.

10—11

Олени для нас потускнели вмиг.
Мы шли по следам напрямик.
Пройдя километр, осели в кустах.
Час оставались так.
Когда ж тишком уползали в ров,
Снова слышим излюбревый рев —
И мы увидали нашего тигра!
В оранжевый за лето выгоря,
Расписанный чернью, по золоту сед,
Драконом, покинувшим храм,
Хребтом повторяя горный хребет,
Спускался он по горам.

12

Порой остановится, взглянет грустно,
Раздраженно дернет хвостом,
И снова его невесомая грузность
Двигается сопками в небе пустом.
Рябься от ветра, ленивый, как знамя,
Он медленно шел на сближение с нами.

13

Это ему от жителей мирных
Красные тряпочки меж ветвей.
Это его в буддийских кумирнях
Славят, как бога: Шан-
Жен-
Мет-
Вэй! ¹

Это он, по преданью, огнем дымящий,
Был полководцем китайских династий.

¹ Шан-Жен-Мет-Вэй — Истинный Дух Гор и Лесов — так китайцы пазывают тигра.

Громкие галки над ним летали,
 Как черные ноты рычанья его.
 Он был пожилым, но не стар летами —
 Ужель ему падать уже на стерво?
 Увы! — все живое швыряет вразлук
 Пороховой тигриный запах.

Он шел по склону военным шагом,
 Все плечо выдвигая вперед;
 Он шел, высматривая по оврагам,
 Где какой олений народ —
 И в голубые струны усов
 Ловко цедил... излюбленный зов.

Милый! Умница! Он был охотник:
 Он применял, как и мы, «манок».
 Рогатые дурни в десятках и сотнях
 Летели скрестить клинок о клинок,
 А он, подвывая с картавостью слабой,
 Целился пятизарядной лапой.

Как ему, бедному, было тяжело!
 Как он, должно быть, страдал, рыча:
 Иметь. Во рту. Призыв. Рогача —
 И не иметь в клыках его ляжки.
 Пожалуй, издавши излюбленный зык,
 Он первое время хватал свой язык.

Так, вероятно, китайский монах,
 Косу свою лаская, как девичью,
 Стонет...

Но гольд вынимает «манок».
Теперь он суровой, чем давеча.
Гольд выдувает возглас оленя,
Тигр глянул — и нет умиленья.

19

С минуту насквозь прожигали меня
Два золотых огня...
Но вскинул винтовку товарищ Игорь,
Вот уже мушка села под глаз,
Ахнуло эхо! — секунда — и тигр
Нехотя повалился в грязь.

20

Но миг — и он снова пред нами, как миф,
Раскатом нас огромив,
И вслед за октавой глубокой, как Гепдель,
Харкнув на нас горячо,
Он ушел в туман. Величавой легендой.
С красной лентой. Через плечо.

Владивосток
1932

ЧИТАТЕЛЬ СТИХА

Розоватеньким, желтеньким, сереньким критикам, а также критикам переливчатого цвета шанжан.

Муза! Как ни грусти, ни сетуй,
А вывод мой, к сожаленью, таков:
Среди миллионов читающих газету,
Девять десятых не читает стихов.

Иного к поэтам влечет их полемика,
Однако с затишьем и этот стихал...
Но есть

одно

лихое

племя,

Живущее на побережье стиха.

Это уже не просто читатель,
Не первый встречный и не любой.
Он не стучит по рифмам, как дятел,
Не бродит в образах, как слепой,
Не ждет воспитания от каждой точки,
Не умиляется от пустяка —
Совсем по-иному подходит к строчке
Читатель стиха.

Он видит звуки,

слышит краски,

Чувствует пафос, юмор, игру.

И свои пузырьки

литературные карасики

Ему не всучат за жемчужью икру;

Ему не внушить, рассказавши про заек,

БЕЛЫЙ ПЕСЕЦ

Мы начинаем с тобой стареть,
Спутница дорогая моя...
В зеркало взглядываешься острей,
Боль от самой себя затая:

Ты еще вся в озарении сил,
В облаке женственного тепла,
Но уже рок. Изобразил.
У губ и глаз. Пятилетний план.

Но ведь и эти морщинки твои
Очень тебе, дорогая, к лицу.
Нет, не расплещить нашей любви
Даже и времени колесу!

Меж задушевных имен и лиц
Ты как червонец в куче пезет,
Как среди меха цветных лисиц
Свежий, как снег, белый песец.

Если захочешь меня проклясть,
Буду униженней всех людей,
Если ослепнет влюбленный глаз,
Воспоминаньями буду глядеть.

Сколько отмучено мук с тобой,
Сколько иссмеяно смеха вдвоем!
Как мы, невзысканные судьбой,
К радужным далям друг друга зовем.

Радуйся ж каждому новому дню!
Пусть оплетает лукавая сеть —
В берлоге души тебя сохраню,
Мой драгоценный, мой Белый Песец.

1932

* * *

В каком бы часу я ни лег, но в пять
Глаза открываются сами,
И горло забито опять и опять
Смерзшимися слезами,

Дрейфующий хаос угрюмых обид,
Гордых унижений...
И пробуешь вслух, как будто навзрыд,
Глотательные движенья.

Но все торчат (или силы не те?)
Углы несъедобной боли...
Черным крестом лежишь в темноте,
Точно могила в поле,

1932

ДРУГ ЛАМУТСКОГО НАРОДА

В этих долинах, в этих лесах
Белка еще зовется «ясак».
Русский, прибыв на туземный пост,
Носит старинное имя — «пес».

Тут, среди чада красных костров,
С глазами, похожими на апостроф,
Среди трахомы и ломоты
Живет народ — ламуты.

Однажды пришли по долинам рек
Много веселых русских человек.
И были они все как один.
Каждый к ламутам в гости ходил,
Ямы копал, забивал кол,
Ставил леса для больниц и школ.

Он будто пришел для детской игры:
Не грабил у них ни мехов, ни икры,
Оленьих ножек не прятал в куль,
Не звал замужних поспать в кукуль,
С молодыми плясал, со старухами ел,
О Красной Армии песни пел.

Был царский год и японский год.
Но видит впервой ламутский народ:
Вот пришел настоящий гость,
Ладом настоящий, хороший гость:
Ни раб его, ни начальник его,
Не нужно ему от них ничего.

Из глаз его смотрит ласковый свет,
За его плечом вырастает Совет.
Большой Совет, много людей
(Таких, как эти, занятых людей).

И стали друг другу ламуты шептать,
Чтоб русских собаками не называть.

В стране, где нет феодальных регалий,
Где пулеметы орлов обстрогали,
Где львам на щитах не собрать горба, —
Я ношу выше баронской короны,
Звонче герцогского герба
Революционный, багрянородный
Титул — друга ламутского народа.

ЭССО (Ламутский нацрайон).

Камчатка

1982

* * *

Занимаюсь от злости немецким,
Ухожу в себя, как аскет...
Перекинуться словом не с кем
На роскошном моем языке.

И чернее роится рана,
Раздражая шипением змей,
Что родился я слишком рано
И неясен эпохе моей.

Нелюбим я ей, неосвоен.
Есть ли смысл в прозябанье таком?
Я, как серный источник, с воем
По ущелью киплю кипятком.

Надо мной не возник санаторий,
Для меня не издали заем —
И бесцельно в студеное море
Уношусь я в кипенье своем.

И завидую каждой луже,
И мечтаю в бессильном сне —
Как бы стать поменьше, поуже,
Покруглее да попресней,

Поприлизанней, потрусливей,
Приглушающим каждый стык,
Вяловато-съедобным, как слива,
Тепловатым, как пушкинский стих.

И не хочется быть Колумбом...
Но конец мой еще не назрел —
И обида табачным клубом
Вырывается из ноздрей.

И опять мои дымные строки,
Как дыханье, взойдут надо мной
И туманом затянут дороги,
И на время станет темно.

Но ведь ясно ж, как на экране,
Но ведь сведено к самым простым:
Если страсть из орудия грянет,
То ее окутает дым.

Но пройдет эпохальное детство,
И увидишь в ясных ветрах —
Башни, разбитые в прах
Орудием дальнего действия.

*Мыс Рыкарпий.
Ледовитый океан
1933*

Океанская вода ходила,
Огни зажигая по эмали,
А в голубизне ее горели
Два огня электрической нерпы.
По утрам, мохнатой простынкой
Обтерев серебристое тельце,
Я носил ее туда и обратно
Мимо почты, цирюльни и аптеки,
И, обняв меня ластом за шею,
Положивши голову на ворот,
Нерпа тихо дышала в ухо,
Точно больной ребенок.

Так мы с ней замечательно дружили,
Каждый день по улице гуляли.
Но прошло уже семеро суток,
А она

ничего

не ела.

Я бросал ей живую рыбу,
Радугой зажегшую ванну.
Рыба прыгала, играла, кувыркалась,
Но недвижно

огни

горели.

Тогда я понял, что нерпа
Жить у меня не будет:
Замечательные паши отношенья
На ее решимость не влияли.
И тогда я взял ее из ванны
И понес не на улицу, а к морю —
На ветру моя нерпа встрепенулась
И, как в первый день, укусила.

Я спустил ее с берега в воду.
В глубину ушла моя подруга,
И литое серебряное тело
В полумгле блеснуло торпедой.

Я стоял над широкой бухтой
И, волнуясь, считал секунды...
Далеко, далеко на солнце
Вспыхнула. И обернулась.

И исчезла. Больше не выйдет.
Я ее никогда не увижу.
И, поправив жалкую улыбку,
Я ушел решительным шагом.

Парикмахерская... Радио... Аптека...
Все-таки она обернулась.
Может быть, увидела на мысе
Черный силуэт человека?

Я мечтаю о пламенной дружбе,
Потрясающей, точно клятва,
Чтобы сердце свое, если нужно,
Разодрать пополам! На два!
Но идея дружбы проста ведь:
Как служить такому призванью,
Если мог я ей предоставить
Взамен океана — ванну?

Уплывай же, веселая рыба,
Из моих бесприютных комнат.
Оглянулась —

и на том спасибо.

Оглянулась, стало быть, помнит.
Но навек берегам не обрмить
Эту беглую смутную память:
Снова море стихию разбудит,
И она меня позабудет.

Но однажды нырнет со стаей
Под огни пароходного носа.
Обожжет ее боль золотая,
О моей теплоте взгрустнется...
Затоскует по моим песням,
Задохнется от слез щемящих —
Океан покажется тесным
И просторным эмалевый ящик.

ПОРТРЕТ МОЕЙ МАТЕРИ

Нехай маты усмихнется,
Заплакана маты.

Шевченко

Она подымается на пятый этаж,
Мелкая старушка с горькими слезами.
Лестница та же, и дверь все та ж...
Но как волнуется! Точно экзамен.
Прыгают губы. Под сердцем нудит.
За дверью глухо звучит пианино.
С медной таблички бесстрастно глядит
Чужая жизнь родного сына.

Здесь кухня в шутку зовется «лог»,
«Рыцарской залой» — столовая,
Послеобеденный чай — фэйфоклок
(Кто его знает, что за слово?).
И все это компактное арго
Полно игнорирующего уюта.
Она себя чувствует здесь каргой,
Севшей на шкаф и взирающей люто.

Но накопец нажимает звонок.
Его холодок остается на пальцах.
Слушает... Вот! Это стук его ног.
Да-да. Это он. Ее мальчик.
В последний раз поправляет платок...
На лестницу бурно вырвался Штраус.
Я ей улыбаюсь, снимаю пальто,
Чмокаю в щеку. Стараюсь.
Она так мизерна. Может быть, я
Слишком басю? Я дьявольски кроток.
Это лучшие миги ее бытия,
Она на минуту чувствует отдых.
И вместе с убогой лысой лисой
С души стекают ледовые оползни.
Ее вековечное лицо

Опять становится симферопольским.
И слушаю этот милый слог,
И крымский пейзаж оживает снова...
Как в зимнем сене сухой василек,
В речи попадает татарское слово.
Но вдруг исчезают «сенап» и «пашла»,
Лицо старушки сведено драмой:
Слышится внучкин голос: «Мама!
Черненькая бабушка пришла».

И входит жена, и зовет пить чай.
И мы неестественно выходим из комнаты.
Старушка идет, как сама печаль,
А мы с женой, как виновные в чем-то...
И к «черненькой бабушке» из-за стола
Розовая теща встает и кланяется,
Падчерица вскакивает, как стрела,
Вспрыгивает женина племянница.
И каждый считает, что он не прав.
И все выстраиваются по линии,
Как будто в воздухе летят Эринии,
Богини материнских прав.
Но гранд-парада почетный строй
Старушка встречает горькой усмешкой:
Она себя чувствует здесь турой,
Стиснутой королевой и пешками.
Корни обиды глубоко вросли.
Сыновий лик осквернен отныне,
Как иудейский Иерусалим,
Ставший вдруг христианской святыней.

А что ей почет? Это так... По годам.
От победителей нет признанья.
Она лишь попавшая к господам
Ихнего сыпа старая няня...
И дымная трудовая рука
В когтях и мозолях — рука вороны —
Делает к сахару два рывка
И вдруг становится как бы вареной,
Как бы пронзенной миллионами глаз...
И так ей муторно, как от болести,
Точно рука у нее зажглась
Огненной казнью на Лобном месте.
И все молчит. То ли тема узка,
То ли напротив: миф для трагедии.

Берет она два небольших куска,
Хотя ей очень хочется третий.
И я с раздраженьем хватаю еще
И, улыбаясь, кладу в ее чашку.
«К чему?» Она поднимает плечо —
И всем становится тяжко.
Потом жена ее снова зовет,
Уложит, укроет оленьей шубой.
Но снится ей, что она живет
Вместе с сыном в таврической глуби;
Что нет у него ни жены, ни детей.
Она в чулке бережет его тыщи...
К чему? Зачем? Неизвестно и ей.
Просто так. Для духовной пищи.

Потом очнется, как от вина,
Вздохнет, отлежится и скажет сторожко:
«Дал бы, сынок, сахарку старушке,
Но только пускай не знает *она*».

И я, подмигнув, забираюсь в «лог»
И зазываю жену из «зала»:
«Дай-ка, рыжик, для мамы кулек,
Но так, чтобы ты, понимаешь, не знала!»

И мать уходит. Держась за карниз,
Бережно ставя ноги друг к дружке,
Шажок за шажком ковыляет вниз,
Вся деревянненькая, как игрушка,
Кутая сахар в заштопанный плед,
Вся истекая убогою ранкой,
Прокуренный чадом кухонных лет,
Старый, изуродованный жизнью ангел.
И мать уходит. И мгла клубится.
От верхней лампочки в доме темно.
Как черная совесть отцеубийцы,
Гигантская тень восстала за мной.

А мать уходит. Горбатым жуком
В страшную пропасть этажной громады,
Как в прах. Как в гроб. Шажок за шажком.
Моя дорогая, заплакана маты...

Ледокол «Челюскин».
Мыс Рыркарпий
1933

24/X - 1933

Я рад, что старюсь; что алость губ
Заменилась железной линией рта;
Что рокочущий голос — охрип и груб;
И светает волос ночная орда;

Что мальчишеской челки мне не носить,
Не скакать на Пегасе задом вперед
(Он, как шахматный конь, выбирает брод,
И в глазах засветилась мудрая сыть);

Что округлая рожица стала пной —
И кубизм скул проступает остро,
И по гралям его — наутинной стальной
Протянулся морщин музыкальный строй;

Через лоб зазяло басовое «до»
И могучей струною чернеет, звеня;
Восемнадцатый год от Каховки и до
Арабатской Стрелки вымчал меня...

А другую такую ж прожгла любовь,
Незажившая голубая черта...
Вот эта стрела — с Маяковским бой,
Охоту на тигра — означила та.

Как забрало, я эту решетку надел:
В безобразье его — романтический зов.
Я горжусь этим сборищем грозных рубцов,
Как освистанный саблями гренадер.

И когда телеграммы сыграют в трубу
Тревогу о том, что взволнован рубеж, —
Футуризм и тигра — узлом на лбу
Красногвардейский свяжет рубец.

Но когда, проходя мимо фотогрупп,
Я увижу очерк знакомых губ, —
Замирающей болью согнется у рта
Страдальческая голубая черта.

Мы проходим сквозь годы, как сквозь ножи,
Не укроешь их почерк от вдумчивых глаз:
Это искра об искру когда-то зажглась,
Это азбукой Морзе записана жизнь.

Тут угрюмые думы и страсти транс...
Но из черточек выявляются вдруг
Очертанья каких-то больших пространств,
Философия преодоленных мук.

Так в пузырьках газированных дней
Мощно возводится в тайной тиши
Все величавее и сложней
Архитектура нашей души.

Ледокол «Литке».
Остров Малого Диомида
(Аляска)
1933

ТАЙФУН 20-34

Тайфунам дают имена.
Тайфун 20-34,
Один из свирепейших в мире,
У нас прозывался «Нана».

В нем гонгом гудели норды,
Врываясь в ревущий норд-ост,
Чтоб с юга орущие орды
Закружили его
взахлест!

Над морем шла канонада,
Неся разоренье и крах,
А смерчи, как колоннада,
Стояли в прожекторах.

Пучина рвала и метала
И, пенами тьму окрыля,
Обрушивала
тонны металла
На палубу корабля.

От дикого кашля залаяв,
Которые сутки без сна,
Хрипит капитан Николаев:
— Хана, брат, ваша Нана!

Но я под ударами гонга
Подумал, тайну храня:
«Еще ни одна девчонка
Не обижала меня».

*Японское море
1934*

БАЛЛАДА О ТИГРЕ

Какая мощь в моей руке,
Какое волшебство
Вот в этих жилах, кулаке
И теплоте его!
Я никогда не знал о них
До самой той зари,
Когда в руке моей затих
Хозяин Уссури.

За штабом N-ского полка,
Где помещался тир,
«ТОВАРИЩИ! —

гласил плакат —

В РАЙОНЕ ТИГР!»
А я из Дальнего как раз
Шел

в тыл,

Но на плакат внимания
Ничуть не обратил.

В те дни я сызнава и вновь
Все думал об одном:
О слове душном и родном
По имени Любовь.
Я это слово не люблю,
Как пьяница вино,
Затем что слишком в жизнь мою
Вторгается оно.

(Не хмурьтесь, милая моя,
Не надо горьких слов.
Бродил я, листьями гремя,
И слушал соловьев,

Но мой рассказ не о любви —
О тигре мой рассказ.
Мы счеты сложные свои
Сведем не в этот раз.)

Однако сонка, чуть дыша,
Свою пузырит грязь,
Над пей дрожит ее душа,
От газов разгорясь,
Однако плачется москит...
Что это? Стоп? Песнь?
Москит, несущий меж раки
Сонную болезнь.

Дымком вулканным тянет здесь
От каждого листа.
Ведь это самые что есть
Тигриные места.
И вдруг я вижу изо мха
В три линии усы,
И вдруг я слышу сквозь меха
Рипящие басы
И различаю: желт и бел
И два огня горят...
Но странно: я не оробел.
Напротив: рад!

Не от катара я умру,
Не от подагры, нет!
Не заглядевшись на пиру
В бездонный пистолет;
И не от ревности в Крыму,
В Москве не от статей —
Я, как поэму, смерть приму
Из тигровых когтей.

А может быть, совсем не то...
А может быть, затем,
Что вера в счастье, как в лото,
Сильнее всех поэм —
Все вдохновенное во мне
Дохнуло в грудь мою,
И две стихии, как во сне,
Переплелись в бою.

Какая мощь в моей руке,
Какое волшебство
Вот в этих жилах, кулаке
И теплоте его —
Я эту истину постиг
На берегу зари,
Когда со мной схватился тигр
У плеса Уссури.

Безумье боли, гром ядра,
И дых, и два огня,
И пламя смертного овра
Окутало меня,
И, обжигая как литье,
Зверь

взял

верх.

Но преимущество мое
В одном: я человек!

Покуда в левое плечо
Вгрызаются клыки,
Пока дыханье горячо
Дымится у щеки
И тьма сознания моего
Уже совсем близка —
Я стал почесывать его
За ухом... у виска.

Он изумился и затих.
За все свои года
О битве лаской грубый тигр
Не слышал никогда,
И даже более того:
Откуда эта весть
О том, что где-то у него
Такие нервы есть?

Еще его округлый клык
Дробит мое плечо,
И за раскатом рыка рык
Вздывается еще,
Но ярость шла по голосам
Тленцой, а не огнем,

И зверь прислушивался сам
К тому, что было в нем.
Когда вечерняя звезда
Растаяла ко дню,
Его рыкание тогда
Сошло на воркотню.
Он дергал ухом. Каркал он.
Он просто изнемог.
Но растерзать меня сквозь сон
Уже никак не мог.

Когда же вовсе рассвело,
И стали петь леса,
И лунки белые свело
На желтые глаза,
Он, сединой поголубев,
Откинулся вразвал
И, словно стая голубей,
Один заворковал.

Вот, собственно, и весь рассказ.
В нем правды — ни на пядь.
Но он задуман был для Вас:
Я что

хотел

сказать?

Что если перед Вами я,
О милая, в долгу,
Что если с Вами, жизнь моя,
Ужиться не могу
И ты хватаешься, кляня,
Рукой за рукоять —
Попробуй все-таки меня
Над ухом... почесать.

Какая мощь в твоей руке,
Какое волшебство
В перстах твоих, и кулачке,
И теплоте его —
Я никогда не знал о них
И жил бы день за днем,
Как вдруг схватился с тигром стих
В сознании моем.

ЗАРУБЕЖНОЕ

СВЕРЧОК

В бумажной хижине японца
Висит сушеный запах солнца.
Здесь чистота и пустота,
Здесь ни одной ненужной вещи —
Одни улыбки человечьи
Да детских глазок пестрота.

Но в потолке у них крючок —
Свисает крошечная клетка.
На клетке марлевая сетка,
За сеткой рыженький сверчок.

Японцу ничего не надо —
Ни молока, ни шоколада.
Встают за океаном зори,
Виденья ходят вдалеке,
А он сидит и клеит «дзори»¹
В своем пустынном уголке.
Ты скажешь: «Быт его убог...»
Ну, да. Башмачник не микадо.
Но с ним сверчок — домашний бог,
И больше ничего не надо.
Сидит в бумажном он листе
С улыбкой страшной на лице.

Ему не надо ничего.
Стрекочут ножницы его,
Трещат-поскрипывают кожи,
На стрекот рыжего похожи...
И показалось мне, я помню,
Что и у хижины крючок,
А этот сторбленный японец
Все тот же (но большой!) сверчок.

Хакodate
1932

¹ Д з о р и — сапдалии.

ЛАВКА УЛИЧНОГО БАШМАЧНИКА

Подходит к лавчонке башмачник лысый,
Стены раздвинул, точно кулисы,
Вывесил дзорей цветистый хлам,
И нет лавчонки — есть маленький храм.
Куруются жаровни на прыном сандале,
И всюду гроздьями сотни сандалий,

Но слушай, друг: не ошибся ли ты?
Может быть, не сандалии? Цветы?
Коллекция бабочек махаонов,
Цвета лазури, пены, лимонов,
А он среди них копошится, как мышь?

У этой пары сверху камыш,
Срединка сбита из плотной ваты,
Низок — из резины голубоватой;
У той — по красному дереву шелк,
Подошва на клавишах — шелк да шелк!
У этих стелька — парчовое поле,
Дальше бамбук и слой канифоли;
У этих дракон на бархате шит.
Снизу толь, а середина самшит;
У этих — губка, стекло и пробка;
У тех — из черной почвы коробка.
Сверху пурпурно-ранний дымок.
А что внизу — угадать не мог.

А лаки, лаки! А цвет! А тон!
Каждая пара — девичий стон.
Взглянешь — ясно: одной породы,
Все слоеные, как бутерброды.
Этого зрелища просто не съесть:
Каждую пару хочется съесть.

Куплю вот эти!

Нет, нет — вон те!

Эти куплю: эти со звонцем!

Башмачник сочувствует: любовь к красоте

Свойственна всем японцам.

Хакodate
1932

ШЕСТВИЕ ГНОМОВ

Пасмурно. Раннее утро в шторах.
Ливень прошел, как проходит «дожд».
Опять тишина и размеренный шорох,
Как если б ракушечный шел дождь.

Размеренность эта клонила ко сну,
Но воздух в шорохах незнакомых.
Встаю с постели, бросаюсь к окну,
Вижу: улица сплошь в гномах.

По мелкой гальке идут и идут
Горбатые карлики в капюшонах:
Красные там, желтые тут,
А сколько лиловых, сколько зеленых!

Дети. Не прыгая, не скользя,
Течет толпа ало-желто-лилова.
Пред нею школа. Шуметь нельзя!
Скрежещет галька, но дети ни слова.

И ведь никто на них не орет,
Даже никто не шипит: «Тише!»
Да... Японцы великий народ.
А все-таки жаль японских детишек.

Хакодате
1932



Вот предлагает девочка цветы.
Но я советской не менял монеты.
Меж тем язык вселенской бедноты
Отказ мой перевел понятьем: «Нет»,

И девочка мне дарит в простоте
Большую астру, желтую, как солнце.
Нельзя без цветов!

Любовь к красоте
Живет в душе любого японца.

Хакодате
1932

ДУЭТ С ЯПОНКОЙ

По бульвару шла японка.
Справа море и заря.
Где-то пыла перепонка
Музыкального пузыря¹.

Мальчик-рикша яро катит,
Плечики корежатся.
Всюду жарят каракатиц
С человечесьей кожицей.

Все тут мне тут не под пару —
Этот запах... Эта ярь...
Шла японка по бульвару,
Будто шелковый фонарь.

Неужели в самом деле,
Как вы глобус ни линейте,
Я, проехав две недели,
На другой живу планете?

И, преследуя упрямо
Это кимоно,
Не найду я с этой дамой
Ни словечка все равно?

Как печально это, право!
Пусть луна у вас в полуде,
Пусть у нас иные нравы,
Но в конце концов мы люди!

¹ Музыкальный пузырь — музыкальный инструмент, состоящий из бычьего пузыря, струны и деревяшки.

Только вдруг моя японка
Потянулась, как во сне,
И запела тонко-тонко
Что-то грустное из Массне.

На затылок сдвинув шляпу,
Вспоминаю: эту трель
Вел по радио Шаляпин,
А за ним виолончель.

Тут я смело за прелестной
Затянул. А рядом море.
Поплыла тихонько песня
На два голоса в миноре,

И услышала волна,
Как мы с нею ладно пели:
Я — взамен виолончели,
А за Федор Иваныча — она.

Хакодате
1932

ЧЕРЕПАХА

Черепаша на базаре Хакодате
На прилавке обессиленно лежит.
Рядом высятся распиленные латы,
Мошкара над окровавленной жуужит.

Миловидная хозяйюшка степенно
Выбирает помясистее кусок:
— Отрубите мне, прошу, за пол-иены
Этот окорок или вот этот бок.

И пока мясник над ухом у калек
Смачно крикает, топориком рубя,
Черепаша только суживает веки,
Только втягивает голову в себя.

Отработавши конечности до паха,
Принимается торговец за жпвот,
Но глядит, не умирает черепаша...
Возмутительно живучая — живет!

Здесь, читатель мой, кончается сюжет.
Никакого поучения тут нет.
Но, конечно же, я не был бы поэтом,
Если б мысль моя закончилась на этом.

Хакодате
1932

ПЕЙЗАЖ

Я был в Японии. Это —
Совсем другая планета:
Фрукты здесь без вкуса,
Цветы —
 без благоуханья,
Женщины без обаянья.

Зато гора Фудзияма,
Течение Куросиво
Делают Нихон ¹ красивой,
А жизнь
Счастливой.
Вот только бы повысить зарплату...

1932

¹ Н и х о н — Япония (япон.).

ЯПОНСКИЕ СТИХИ

(Юмореска)

Дождь, дождь
Шел, шел:
Буль-буль,
Кап и кап,
Едва-
Едва,
Чуть-чуть,
Как-никак.

1932

КАК БИТВА ЗМЕИ С ПОРОСЕНКОМ

В концертном зале маленькая эстрада.
Блещет оружием яркий джаз.
Орган, как зданьце магистрата,
Как бы в далеком тумане держась,
Стальной маской, снятою с Баха,
Навис над базарной семьей голосов,
Но гонги и трещотки,
Тараторя и бабахая,
Подняли дикий рев,
И все улетело в дальний позыв,
Будто приснившись просонкам.
И вот на арене, стон испустив,
Струна оплела барабанный пузырь
Битвой змеи с поросенком.

В системе бума, гроха и клаца,
Которые принял я не дыша,
Мне вдруг начинает в шутку казаться,
Что весь этот хаос —
моя душа...

И я с замиранием сердца
Под эти джазбандные вскрики
Слежу за развитием скерцо
В битве литавр и скрипки:
Какие душевные силы
Во мне победят? Неясно.
Дрожь барабанной жилы?
Скрипичных нервов нюансы?

И вдруг, зажигаясь огнистою фарой,
На плац вылетая в конном строю,
По трем вентилям золотая фанфара,
Звеня, пропустила литую струю.
Изящный раструб заглушив сурдиной

С дырочками и жилками вкрест,
Ударив зорю, на самой середине
Она сорвала хаотический треск.

И гулы опали сами...
Снизился бубенный ураган;
Как северное сиянье,
Свои острия зажигает орган;
Но даст ли медь утоленье?
Не прогадать бы... не пожалеть...
Но уж фанфара ушла в кантилену,
В пиччикато и флажолет.
Слышу — не верю. Как? Неужели
Солдатский рожок ухитрился суметь?
Тонкая техника виолончели
Со струны перешла на медь?
Словно в гортани картавя рыбку,
Вся в пузырьках золотого ручья,
Фанфара играла первую скрипку,
Отбросив в сторону скрипача!
Все это было сияюще ново...
Медный струнаж трепетал, трубясь.
(Так Шаляпин роль Годунова
Вывел из баритона в бас.)
И все, что душу, как парус, мотало,
Слилось в один громогласный хорал:
Из тонкопрокатанного металла
Оратор в моей груди рокотал!
И подивился за гуслими предок,
Прадед —

за концертино

Неслыханной лирике гражданина
Эпохи пятилеток.

Копенгаген
1933

ПАННА ПОЛЬША

Тени дыма бегут, как кони.
Вместе с ними летят мои мысли.
Я один — в целом вагоне...
За окном деревушки Вислы.

Из окна немного увидишь.
Но глаз советский наметан:
На картинке Пилсудский, как витязь,
Но пейзажа не спрячешь: вот он!

У нас до межи не добраться —
Весь кругозор для заправки!
А здесь клочочки, квадратцы,
Словно черти играют в шашки.

У нас уже пятилетки,
Крестьяне — во! Величины!
А здесь дремучие предки
Жгут в куренях лучины.

Из окна увидишь немного.
Но вот и отель «Полония».
Только вступил — у порога
Растянулась дворяжка: агония.

Лифт.
Мой номер.
«Дзенкую!»
Выхожу. Городские мили.
А у нас бы собачку такую
Со всех сторон подкормили.

Впрочем, мелочь. Иду по городу.
Строки шепчу по привычке.
Пан поручик прикуривает гордо
У панны шавтанной певички.

На бочке пан ассенизатор
Важно едет пред носом трамвая,
И надменится пан театр,
«Мораль пани Дульской» давая.

Брожу. Шепчу свои строчки.
А от меня на градус
Понятовский в одной сорочке
Без штанов грозит Ленинграду.

Ему не стыдно: он медный.
Но на сабле, забыв о мести,
Плакат отнюдь не победный:
«Спасите от голода предместья!»

Сердце мое заныло.
Что тут можно поделатъ?
Грозит Понятовский уныло...
Предместья — это не мелочь.
Да одни ли предместья? Не больше?
Весь народ здесь от голода пьяный.
Ты добудешь спасение, Польша,
Если не будешь панной.

Варшава
1935

РЕПЛИКА Ю. ТУВИМА

Осенней почью ржавой
Фланируем Варшавой.
Плывут навстречу лица,
Но чья это столица?
Вот эта амазонка
Совсем американка,
А эта интригапка,
Наверное, саксонка.
Но где красавка полька?
О ней я слышал столько!

— Гадаете без пользы,—
Сказал поэт, как эксперт.—
Кто ищет полек в Польше?
Они в Париже. Экспорт.

Варшава
1935

НА КОНЦЕРТЕ

Дирижер, крутой и своевольный,
Жаждой бури явно обуян:
В скрипках зыбь, в виолончелях волны,
В контрабасах воеет океан.

И сквозь этот музыкальный хаос,
От родной отчаливши земли,
Выплыли, как приказал им Штраус,
Арфы, золотые корабли.

Как ревет и воеет океан!
Что мы, кораблишки, делать станем?
Но с небес мерцает им орган
Серебристым северным сияньем.

*Вена
1935*

ДЕВУШКА ИГРАЕТ НА КОНТРАБАСЕ

Джаз грохотал, залихватски рыдая,
В четыре трубы раструбясь.
Там девушка молодая
Вышла замуж за контрабас.

Она прильнула к нему вплотную,
Обнявши его за плечи,
Но это пичуть старика не волнует:
У контрабаса большая печень.

Он желчно ворчит. У него отрыжка.
Брюзжит — и тут же прощения просит.
Но все равно эта девушка рыженькая
Его никогда не бросит.

Так и живут. Безгрошие дочиста.
Она со шлейфом, а он во фраке.
Все-таки буржуазное общество
Знает и чистые браки,

*Вена
1935*

СЛУЧАЙ НА УЛИЦЕ РИНГ

День, как всегда, торопился по делу —
Трамвай, автобусы и такси...
В бензинном гаме подымалась куделью
Синева обычной городской тоски.

Клерки, забывшие о раздолье,
Рожденные в чернильницах секретари
Бежали куда-то за маленькой долей
От большой радости утренней зари.

Девушка, одетая очень скромно,
Шла, прижимая потную тетрадь.
И вдруг какой-то мужчина скоромный
Взглянул, обернулся и стал хохотать;

За ним другой закудахтал, как кочет!
От третьего — просто пещерный гул...
Чему смеются? Над чем хохочут?
Я кинулся.

Опередил.

Взглянул:

Глаза предо мной серебристо серели...
И сразу стало так весело мне,
Как будто бы я надыхался сирени,
Вес утратил, как на Луне,

Мысль обрела высотную смелость,
И жизнь казалась простой совсем:
Все пошрое превращалось в мелочь,
Великое становилось всем!

А девушка шла торопливой походкой,
За плечом

трепетал
фиолетовый газ...

Но тот,
 скромный,
 все трясся в икотке,
Просвечен стихией сияющих глаз.

В этой, такой обмелевшей жизни,
Где чуть ли не Арктикой кажется снег,
Шла
 по улице
 Неожиданность
И вызывала нервный смех.

Вот повернула... Сейчас исчезнет...
И всем захотелось крикнуть: «Постой!»
Но не было крыл. И сквозь грохот железный
Улица смеялась над красотой.

Вена
1935

ГОЛОВА ВЕНЕРЫ

Нет ничего условней красоты.
Во всех томах истории искусства
Прочтешь о том, что голова Венеры
Есть подлинное совершенство, ибо
Длина чела равна размеру носа,
А линия от носа к подбородку
Равна размеру лба. С издревних лет
Внушали нам и устно и печатно,
Что красота — в пропорциях.

И вот

Благоговейно подхожу к богине
И замираю в робком созерцанье...
Так вот она. Милосская Венера,
Явленье совершенной красоты,
Рожденное из пены океана!
О да... Все так, как говорили: лоб
Такого же размера, как и нос,
Как линия до подбородка... Точно!
Хоть нос от этого тяжеловат,
Тем более для женщины, но я
Не смею и задуматься: *Венера!*
Но, обладая все же глазомером,
Я вдруг отметил странную подробность:
Уста богини замкнуты, но зубы,
Я чувствую, разжаты под губами —
Привычка тех, кто дышит вечно ртом.

Я не хотел бы углублять вопроса
И утверждать, что некогда богиня
Имела аденоиды — хотя...
Ее чуть-чуть глухое выраженье
Сегодня медицине говорит
О кислородном голоданье мозга.
Но зубы, что едва-едва разжаты...

Сожми их на мгновение Венера —
И все линейные соотношенья,
Вся классика миллиметров — насмарку!
Так в чем же совершенство идеала?
Ужели в аденоидах?

Простите...

Я допустил ужасную бестактность
И буду гимназистками освистан,
А кафедрой эстетики растерзан!
Но — истина всегда бестактна. Amen!

Зачем пускаться к богиням дикарей?

2

ТИНТОРЕТТО. «СЮЗАННА В БАНЕ»

Хоть ярок день — Сюзанна только встала.
Нагая опускается к воде.
Слоеный жир на пышном животе,
А сквозь бедро просвечивает сало.

Мне вспомнилась Венера. Как сильна!
Как все в ней экономно, хоть и зрело!
Как юношески гибко это тело,
И как она от пены солоня...

А эта пресность? Правильней всего
Весь этот зельц перетопить на свечи.
Прекрасное прекрасно оттого,
Что есть и безобразное на свете.

3

К. МОНЕ. «ЖЕНЩИНА С ЗОНТИКОМ»

Эта кисть — из пламенно-мягких,
Не красками писано — огнями!
Поле в яростных маках,
Небо лазурное над нами.

Ах, что за судьбы у людей кисти или пера!
Руссо погиб. Но осознать его давно пора.
Вы припечатали его под маркой «примитив».

А что, как вдруг страданием пронизан каждый мотив?

А что, как вдруг Анри Руссо плюет на мир буржуа —

На музу вашу продажную, без паруса, как баржа,
На вашу романтику дохлую, без ярости и когтей,
На вашу любовь, где парочки и нет совсем детей,
На ваши пейзажи дражайшие,

где в штемпеле каждый лист.

А что, как вдруг Анри Руссо —

великий карикатурист?

Схвативши цивилизацию, он с маху ее — в гроб,
Палитрой своей,

как выстрелом,

пальнувши в собственный лоб?

Париж
1935

ТАНЕЦ В КАФЕ «БЕЛЫЙ БАЛ»

Она выходит на эстраду. Танец
Возник не сразу. Mademoiselle
Сперва прошла подробно, как газель,
Вдруг падает и тут на шею тянет
Угольник своего колена. Вдруг
Она описывает полукруг,
Как бы изображенная Матиссом,
И рушится в сплошной супрематизм,
Где нет уж

ни лица,

ни ног,

ни рук,

А только брызги пламенности. Вдруг
Остановилась. Ноет и трепещет.
А публика ей бурно рукоплещет.
Особенно визжал какой-то тип:
— Как хороша! Какие руки, плечи!
А бедра? Феерический изгиб!

А я подумал, сын своей России:
«Нескромные не могут быть красивы».

Париж
1935

ПАННО В КАФЕ «БЕЛЫЙ БАЛ»

Наивные глаза и грешный рот,
Над белокурой — капюшоном крот,
Собор Мадлен как бы подобье фона,
А в уголочке... номер телефона.

Париж
1935

L' HEURE BLEU¹

Париж поплыл в сигарном дыме
С оттенками серо-седыми —
И все закатное погасло.
Париж подернут флером сизым...
Но синий карандаш Пикассо
Подчеркивал его кубизм.

Париж
1935

¹ Синий час — сумерки (франц.).

КРАСНЫЕ РЫБЫ

Тушью залиты зданий черты.
Выходят фей, зовущиеся тварями.
Плывут во мраке женские рты,
Похожие на красных рыб в аквариуме.

Париж
1935

КРИК УЛИЧНОГО ТОРГОВЦА

Под рождество у Sacre Coeur¹
Разноголосый уличный хор.
— Mesdames! — орет простуженный бас
Женщинам, проходящим мимо.—
Этот мешочек порадует вас
Всего за четыре сантима.
Что вы имете в нем, mesdames?
Горох с изюминками пополам,
Один рубиновый леденец,
Два сапфировых леденца,
Шоколадку и, наконец,
Улыбку продавца!

*Париж
1935*

¹ Собор Святого сердца (*франц.*).

В АВТОБУСЕ

Вхожу в автобус. Стою, как и все.

Народу битком! Нно — ничего.

Подходит кондуктор:

— Куда вам, месье?

— На улицу Сент-Онорэ.

— Бравó!

Улица эта отнюдь не Дарьял,

Дом на ней далеко не Эльбрус —

Как-нибудь я до него доберусь,

А все же... кондуктор меня поддержал.

Париж

1935

ХРЮЧКИН В ПАРИЖЕ

Он ходит с тоской патриота-борца:
— Как скучно, ребята, в Европе!
Сейчас бы, тово... похлепать борща
Такого, какой в Конотопе.
Да разве водятся здесь такие
Средь ихних пошлых вещей?

Страдает возвышенной ностальгией
Патриот конотопских щей.

Париж
1935

Н О Т Е Л « I S T R I A »

Передо мной отель «Istria».
Вспоминаю: здесь жил Маяковский.
И снова тоски застарелой струя
Пропитала извилины мозга.

Бывает: живет с тобой человек,
Ты ссоришься с ним да споришь,
А умер — и ты сиротеешь навек,
Вино твое — вечная горечь...

Направо отсюда бульвар Монпарнас,
Бульвар Распай — налево.
Вот тут в потоках парижских масс
Шагал предводитель ЛЕФа.

Ночью глаза у нас широки,
Ухо особенно гулко.

Чудятся

мне

его

шаги

В пустоте переулка,
Видится мне его серая тень,
Переходящая улицу,
Даже когда огни в темноте
Всюду роятся и ульются.
И ноги сами за ним идут,
Хоть млеют от странной дрожи...
И оттого, что жил он тут,
Париж мне вдвое дороже.

Ведь здесь душа его, кровью сочась,
Звучала в сумерках сизых!
Может быть, рифмы еще и сейчас,
Как голуби, спят на карнизах,

И я люблю парижскую тьму,
Где чую его паренье.
Немалым я был обязан ему,
Хоть разного мы направленья.

И сколько сплетен ни городи,
Как путь мой ни обернется,
Я рад,
что есть
в моей
груди
Две-три маяковские нотцы.

Вы рано, Владимир, покинули нас,
Тоска? Но ведь это бывало.
И вряд ли пальнули бы вы напоказ,
Как юнкер после бала.

Любовь? Но на то ведь вам и дано
Стиха колдовское слово,
Чтобы, сорвавшись куда-то на дно,
К солнцу взмывать снова.

Критики? О! Уж эти смогли б
Любого загнать в фанабериях!
Ведь даже кит от зубастых рыб
Выбрасывается на берег.

А впрочем — пускай зоилишка врет:
Секунда эпохи — он вымер.
Но пулей своей обнажили вы фронт,
Фронт
обнажили,
Владимир!

И вот спекулянты да шибера
Лезут низом да верхом,
А штыковая культура пера
Служит у них карьеркам.

Конечно, поэты не перевелись,
Конечно, не переведутся:
Стихи ведь не просто — поющий лист,
Это сама революция!

Но за поэтами с давних лет
Рифмач пролезает фальшивый —
И зашагал деревянный куплет,
Пленяясь легкой наживой.

С виду все в нем крайне опрятно:
Попробуй его раскулачь!
Капитализма родимые пятна
Одеты в защитный кумач;

Мыслей нет, но слова-то святы:
Вся в цитатах душа!
Анархией кажется рядом стихия
Нашего карандаша.

В поэзии мамонт, подъявший бивни,
С автобусом рядом идет;
В поэзии с мудростью дышит наивность —
У этого ж только расчет.

В поэзии — небо, но и трясина,
В стихе струна, но и гул,—
А этот? Одна и та же осина
Пошла на него и на стул.

И, занеся свой занозистый лик,
Твердит он одно и то же:
«Большие связи — поэт велик,
Ничтожные связи — ничтожен.
Связи, связи! Главное — связи!
Связи решают все!»

Подальше, муза, от этой грязи.
Пусть копошится крысье.
А мы, брат, с тобой — наивные люди.
Стих для нас — головня!
Хоть коршуном печень мою расклюйте,
Не отрекусь от огня.

Слово для нас — это искра солнца,
Пальцы в вулканной пыли...

За него
наши предки-огнепоклонцы
В гробовое молчание шли.

Но что мне в печальной этой отраде?
Редеют наши ряды.
Вот вы.
Ведь вы же искорки ради
Вздымали тонны руды.

А здесь?
Ну и пусть им легко живется —
Не вижу опасности тут.
Беда, что взамен золотого червонца
В искусство бумажки суют,

Пока на бумажках проставлена сотня,
Но завтра, глядишь, — миллион!
И то, что богатством зовется сегодня,
Опять превратится в «лимон».

И после нулей, подхалимски воспетых,
Придется идти с сумой.
Но мы обнищаем не только в поэтах —
В нравственности самой!

Да... Рановато, Владим Владимыч,
Из жизни в бессмертье ушли...
Так нужно миру среди горьких дымищ
Видение чистой души,

Так важно, чтоб чистое развивалось,
Чтоб солнышком пахнул дом,
Чтоб золото золотом называлось,
Дерьмо, извините, дерьмом.

А ждать суда грядущих столетий...
Да и к чему эта месть?
Но есть еще люди на белом свете!
Главное: партия есть!

Париж
1935—1954

ЧУДО СВ. ДЕВЫ

Вино в фужерах, вино в глазах,
В музыке, танцах, тостах!
Наконец я не выдержал и сказал:
— Хотите на воздух?

Вышли. Спускаемся к темному саду.
Туи пропитаны камфарой.
— Присядем, madame?

— Извольте. Сяду.—

Сели. Она занялась корой,
Что-то царапает по-французски.
Имя, должно быть. Увы — не мое.
Ей будет холодно в ее блузке.
Я снял пиджак и надел на нее.
— Мерсі.—

Сидит с моими плечами.

Вверху в тумане кружится зал.
Тогда я голосом, полным печали,
Ежась от сырости, ей сказал:

— Вы верите в чудо? Конечно, не в то,
Когда перед вами слуги мадоньи
Спускаются с неба в незримом авто
И принца подносят вам на ладони.
Нет, современное чудо, madame,
Так сказать, чудо двадцатого века,
Прежде всего является нам
От человека.

Это чудо — огромная радость,
Но радость, которой не ждали ничуть.
Ради которой даже на градус
В венах своих не подняли ртуть,

Не натянули своих сухожилий,
Не сконцентрировали костяк,
Радость, которой не заслужили,
Счастье, что выпало просто так.

Вот, например, мы сидим на скамье
В парú голубом разноцветного мрака.
Она — нечто в стиле madame Рекамье,
Он — что-то вроде де Бержерака.
Сидят. Он видит ее сквозь тьму
В легком нюаже бальной одежды,
И вот — она подошла бы к нему,
Далекому даже от смутной надежды...

— Но разве это была бы любовь?
— Нет. Но чудо! Архангелов трупы!

У девушки шевельнулась бровь,
И вдруг
я почувствовал губы.
Кружение зала... Трепет листа...
Дрожь луны на подветренной куще...
Милая!
Как ты была чиста,
Пройдя сквозь этот озноб всемогущий!
Среди эвкалиптов, грабов и туй
Прохожему, неизвестно откуда,
Ты подарила святой поцелуй,
Чтоб на земле сохранилось чудо.

Париж
1935

В ОДНОМ ПАРИЖСКОМ КИНО

В киношку на рынке чужой не войдет:
Здесь грузчик, возчик, гамбн.
И круглые сутки монтер ведет
Программу без перемен.
Тут входят, выходят, не глядя на час.
Фонарики светят им.
Фонарик на место усадит вас
И получает сантим.
Но в зале никто на экран не глядит.
Для этого разве кино?
Третий сеанс модистка Эдит
Сидит со своим Жанно.
А рядом сидят с Огюстиною Пьер,
С Пьереттой сидит Огюст,
И кажется нежным шуршаньем портьер
Сплошное шептание уст.

Но вдруг с экрана ударил марш!
Гремит на фòруме Рим:
Навел бровей патетический грим
С трибуны на зрителя Марс.
Хоть он не пытался коня оседлать
И в штатский одет сюртук,
Но мощный наплыв итальянских солдат,
Но их подкованный стук
Бурей дохнули в зрительный зал...
И только запела труба,
Жанно не выдержал и сказал:
— Moussolini, á bas!
— Á bas! — загремело со всех сторон.
— Á bas Moussolini! Долой! —
В стае монахов и черных ворбн
Дуче парил над землей.
Как явно освищенный этот актер
Нерона играет сейчас!

Но Длань Судьбы, то есть рыжий монтер,
Пускает новую часть,
И снова гремит барабанный бой.
Но майские тут голоса!
Ленин с плаката, плывя над толпой,
Взглянул, глаза в глаза.
И в этих глазах отразился люд,
Сидящий в этом кино:
Огюст, работающий, как верблюд,
И все же идущий на дно;
Пьеретта, которая знает сама,
Что ждет ее темный квартал;
Жанно, которого ждет тюрьма,
Хоть он ничего не крал.
А за плакатом в тяжелой красе
Знамен краснокрылых слет.
И в каждом рыночном этом месье
Проснулся былой санкюлот!
И, серые мысли сгоняя со лба,
Выплескивая тоску,
Неистово загремела толпа:
«Moscou! Vive la Moscou!»

И мне показалось, что стал багрян
Стяг через все полотно,
Что крупным планом взошли на экран
Пьер, Огюстина, Жанно.

*Париж
1936*

РАЗГОВОР С ДЬЯВОЛОМ ПАРИЖА

Я стою над костлявостью крыш
У химеры «Дьявол Парижа».
Внизу подо мной Париж
Бурый и рыжий.
Что влечет к Парижу людей?
Почему так легко в Париже?
Не видал я в Европе нигде
Столицы родней, ближе.

И сказал мне Дьявол, хрипя
Смешком своим бесноватым:
— Здесь амуры не хуже репья
Обращаются с вашим братом.
А отсюда историй — тьма!
Драматичнее всякой сцены.
Потрудился я, fratre, весьма
В этом смысле для Сены.
А уж кстати мой чуткий клюв
Стал от нюханья возмужалым...

И химера, мне подмигнув,
Облизнулась раздвоенным жалом.

— Видишь улицу Риволи?
Возьми от нее направо.
Там на дальнем холме развели
Садик с бронзовой оправой.
Да не этот! Этот не мой.
А вон тот: длинноватый да узкий.
Там король Эдуард VIII
Развлекался вполне по-французски,
Это было — хе-хе — лишь раз...
Он уехал, оправив брыжки,
Но с тех пор не смыкал глаз
В мечте о Париже.

Я принес, дорогой, сюда
Чарованье особой культуры,
И слетели со мной навсегда
На метле мои милые дуры.
И столица навек пленена!
Ничего ей больше не надо...
Ведь Манон Леско и Нана —
Девочки с нашего ада.
А ты, чувствую, говоришь:
«Это город с каким-то секретом».
Дьяволички — вот он, Париж!
Секрет в этом.

Я гляжу с Нотр-Дам на Париж
В серо-сизой синеющей гамме...
И почудилось, будто паришь
Вместе с его кругами,
И от этой его синевы
Неожиданно мыслью окольной
Стал я грезить кругами Москвы
С Ивановой колокольни...
Но за внешним сходством его,
Если сердцем с историей слиться,
Удивительное сродство
Меж французской и русской столицей.

— Нет, не в этом Парижа секрет! —
Отвечаю гнусавой химере. —
Пусть король ведьмовкой согрет,
Да что мне в этом примере?
Разве дева редкой красоты,
Что колпак фригийский падела
И, зажегши в пушках басы,
Начала великое дело,
Разве *эта* была из твоих?
Разве это — твоя креатура?
А меж тем революции вихрь
Поднял знамя новой культуры,
И тогда-то в робких умах,
Не умевших за бомбы братья,
Раскатились ввысь на громах:
«Свобода! Равенство! Братство!»

П А Р Л А М Е Н Т

В метели чаек висится парламент,
Углами проступая сквозь туман.
Выходит спикер, старый англоман,
Почти доисторический, как мамонт.

Он поседел в пыли бумаг и хартий,
Но спикеру чужда пустая спесь:
Ведь все дела решаются не здесь,
А где-то там, в соотношеньях партий.

Его же дело — только беспристрастье.
Он, как парламент, облачен в туман.
Судьба рабочих, участь мусульман,
Как эти чайки, кличут о печальстве,

Но спикер глух. Исчадие чернил,
Он знает все и бережет лишь нервы:
За бронзовой оградой — Карл I,
А рядом — Кромвель, что его казнил.

Да, да. Враги. Тут, право, нет описки:
Убийца этот, убиенный тот.
Вы скажете, пожалуй, «анекдот»?
Но анекдот рассказан по-английски.

Для англomана в этом высший разум
Со всею саркастичностью его.
Что в мире есть мудрее? Ничего.
Один лишь спикер и его маразм.

Звонят часы. Прогулочный регламент
Уже истек. Шаги. А сквозь туман
В гранитных пятнах висится парламент,
Великой нации самообман.

Лондон
1936

ЧТО ТАКОЕ АНГЛИЯ!

Поминая святителя, нищий стоит,
Умильно, умильно качается.
А рядом бобби выходит на стрит.
Впрочем, его не касается.

Качанья старца равны нулю,
И черт подбирает святителя!
— Бобби!
— Э?
— Передай королю,
Что Англия отвратительна!

И бобби корректно ответил: — Есть! —
(Свобода суждений — Евангелье!)
А нищий упал. Ему нечего есть.
Вот что такое — Англия.

*Лондон.
1936*

Е В Р О П А

Фары сшибаются, как в поединке!
Рояль изо всех витрин и дверей —
Кафе ли на Пратере, зал на Ринге
Или глухой Шенбруннский дворец...
Вена! Ты вся в окрыленных талантах!
И если на город с поля взглянуть,
Почудится: огненный трансатлантик,
Вальсом объятый, тронулся в путь.

Но в поле люди. Тысяча глаз
Глядит на корабль, оставшись за бортом.
Там десятинка одна разлеглась —
Косточка, брошенная безработным.
Уж тут не соборы. Тут не дворцы.
Тут уж не парки с листвою нездешней —
Здесь

одни человечьи скворешни,
Которыми брезгают и скворцы.
И люди глядят на большие огни,
На ожерельем горящие мили.
Их прадеды эти дворцы возводили,
Кровью отстаивали они...
А им объявили весьма откровенно:
— Угодно в столицу? Деньги на коп! —
Гляди же, литейщик. Гляди, коногон.
Милая Вена... Веселая Вена...

Париж! Город женственной красоты,
Кто позабудет твои бульвары,
Твои химеры, твои кресты,
В Булонском лесу счастливые пары,
В кафе (с сумасшедчинкою подчас)
Рисунки Леже, этюды Сюрважа,
Синий час твоего пейзажа,
Вечереющий пятый час?

А с поля смотрит множество глаз
С ресницами, опаленными в домнах.
Там десятинка одна разлеглась
Для безработных и для бездомных.
Там шалаши, землянки, палатки,
Купальных фанер голубые щиты,
Даже такси без колес и в заплатке —
Роскошь истинной нищеты.

Лондон! Величественные ансамбли
Проступают в туман и нагар.
У замка Виндзор гвардейские сабли
Светят площади Трафальгар.
Фары плывут, лишась очертаний...
Контур собора, который согбен...
И все это обаяние тайны
Благословляет «Большой Бел»¹.
А с поля смотрит множество глаз:
Там десятинка одна разлеглась.
У каждой столицы свое обличье,
Особое вдохновенье резца:
Попробуй Виндзорского замка величье
Сменить

на величье Шенбруннского дворца
Или поставить собор Нотр-Дам
Взамен Вестминстерского аббатства!
Но десятинок бездомное братство
Можешь совать по всем городам...

Тут ни одна газетная кряква
Не завопит: «Да ведь это не та!»
Вена... Лондон... А нищета
Всюду выглядит одинаково.

Лондон
1936

¹ «Большой Бел» — название колокола.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИСПУТ

Зал

Пуст.

Голосишко литератора:

— Не только Горький, но даже Пруст
Сожжен на плацу у театра...

Но рейхсминистр сказал:

— Ерунда!

Ничего не знаю о Прусте,

А печать при нацизме свободна. Да, да.
Несвободную цензура не пропустит.

Берлин
1936

ДИСПУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Все ораторы, молодецки
Громыхая подкованной пяткой,
Осуждали порядок советский
С высоты своего беспорядка.

И хогь диспут еще в начале,
Но не грозит ему хаос:
Оппоненты мирно молчали,
За тюрьмою в петле качаясь.

*Берлин
1936*

АНТИСЕМИТЫ

Майер и Шульц помешались на пункте
Защиты святого креста:
— Тридцать сребреников — вы подумайте! —
Иуда взял за Христа.

Шульц и Майер — почтенные лица,
Вздыхают они о Христовой судьбе...
(Мечтая присвоить
с помощью полиции
Тридцать сребреников
себе.)

*Берлин
1936*

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Кафе. Две-три чашки. Зевают лакеи.
Скрипка закончила покурри.
Тогда в коричневейшей ливрее
Швейцар замурлыкал свое у двери.

Кто-то насмешливо фыркнул: — Гений! —
И тут-то певун заорал из дверей:
— Кто сказал «Гейне»? Никаких Гейне:
Гейне — еврей!

Молчанье. И вновь, стоеросов, как пихта,
Бубнит он у вешалки номерной:
— Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu ¹.

Берлин
1936

¹ Это старая история, но она остается вечно новой (*Народная немецкая песня о любви, автор которой Гейне*).

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Берлин. Рестораны, театры, кирхи,
Дрожь монет золотых

во мгле:

Автомобилей глазастые вихри
По голубой кружатся земле.

А в поле, где сбрита даже былинка,
Лагерь бездомных.

Все шалаши.

Но среди них — дрянная кабинка,
Крейдой покрашенная от души.
Пред нею кустик. Он неказист,
Но нежно обернут в газетный лист.

В этой кабинке шорник живет,
Выброшенный из сельца на Майне.
Но здесь он хозяин. Он гладит живот:
— Kleine — aber meine! ¹

Правда, хозяину нечего есть.
Но что ему партия? Что идеи?
«Красные» против частных владений,
А у него недвижимость есть.
Ну, натурально, каждый рассудит,
Что он за коммуну держаться не будет.

Берлин
1936

¹ Маленькое — да мое! (нем.)

КРЫСЫ ИДУТ НА ВОДОПОЙ

Когда крысы идут на водопой,
Даже сторож с палкой сторонится.
С крысами невозможен бой,
Их не потопчет и конница.

Над ними воздух — серый угар...
Прячьтесь, коты да кошечки:
Попадись им сам ягуар,
Они обглодают его до косточки.

Все они в пенависть погружены,
Весело им

свой кошмар нести!

Анонимщики,

склочники,

грызуны,

Серые горбатые бездарности...

*Берлин
1936*

О СЛАВЕ

1

Здесь больше не верят славе:
У славы не птичье тельце,
За славой — единодержавие!
(Мы знаем, как она делается...)
И пусть торжествует призер
И вечностью кажется премия —
Бывает такое время,
Когда и слава — позор.

2

Не путайте со славою рекламу,
Как это совершает большинство.
Поставят поросенка в раму,
Объявят Джиокондою его,
Потом, прорвавшись сквозь период свиста,
Любые хрюканья произведут в чины,
Чтоб наконец из этакого свинства
Нарезать для себя немало ветчины.

3

Императорских ликов златое литье
Швыряли на грязный прилавок.
Если мир тебя знает в лицо,
Это еще не слава;
Слава — быть может, десяток людей,
Которые рвутся из душных клеток,
Которым легче цепное житье,
Когда произносят имя твое.

*Берлин
1936*

ДЕКРЕТИРОВАННЫЙ ЗАЯЦ

(Басня)

Однажды Лев собрал зверей
И объявил, не заикаясь,
Что, мол, отныне всех сильнеей
Считаться будет Заяц.
Пошел Зайчишка в лес
И ну плясать да петь!
Но тут с березы слез
Медведь.
— С дороги! — пискнул Заяц. — Идиот!
Или не видишь, кто идет? —
Медведь захохотал.
(Ну, право же, смешно!)
Он так хватил косога среди смеха,
Что от того осталось лишь пятно
И не осталось даже меха.
Но с дуба вдруг Совы раздался вещей глас:
— Поплатишься ты за бестактность эту:
Ведь Заяц был сильнеей всех нас,
Согласно львиному декрету.
Лев объявил о том, собрав лесную знать. —
Заплакал тут Медведь: — О небо...
Откуда же я мог про Зайца это знать?
Ведь я-то на собрании-то не был!

Берлин
1936

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

На сером гранитном гробу очертанья
Усопшего война в шлеме.
Огромный кадык у безмолвной гортани —
Сугубо тевтонское племя.

Кем был он при жизни?
Где пал он в сраженье?
Как звали героя когда-то?
На Курфюрстенштрассе в гранитной сажени
Протянуто тело солдата.

Но гикнет истошно оратор в рейхстаге —
И вот уж не сер, а коричнев,
Восстанет солдат, и шагнет он под стяги,
И, мертвый, умрет он вторично.

*Берлин
1936*

О, если бы нам рифмовать не слова,
А эти формулы, цифры, числа,
В которых больше огня и смысла,
Чем в заревой тоске соловья!

Серебросталью с отливом сизым,
В строгом безмолвье пугая рожь,
Стоит идея. Конструктивизм.
Гигантом шагнувший в поле чертеж.

Железный чертеж в голубой атмосфере
Зияет, с природою породнясь!
Не это ли нас отличает от зверя?
Не это ли с богом равняет нас?

И все ж перед ним пресмыкаться не будем.
Да, музыкальность! Чертеж как гимн!
Но что за богатство несет он людям,
И если несет, то каким?

Увы — об этом не спрашивай. Тайна.
Иначе нельзя: божество!
Над ним небес голубое таянье,
Желтая золоть вокруг него,

Дальше — грядки, какие-то овощи...
(Нищий фольварк уныл и убог.)
А он стоит — стальное чудовище,
Металлический бог.

И каждые три минуты из чрева
В невинную даль золотистых дорог
Плывет, не качаясь ни вправо, ни влево,
Тавроанный свастикой единорог.

Затонет в полях состав шестиосный,
И снова гаубицы ползут —
Одни помечены мелом: «Nach Osten»,
Другие углем: «Nach Süd»¹.

¹ На восток. На юг (нем.).

Да здравствует же стальная эпоха!
Бог технологии

врос

в быт!

(Однако запомним канище «бога»:
Как знать? Не придется ль его бомбить...)

Берлин
1936

ШВЕЦИЯ

Огоньки на горизонте светятся.
Там в тумане утреннего сна
Опочило королевство Швеция.
Говорят, уютная страна.

Никогда не знала революции,
Скопидомничала двести лет;
Ни собрания, ни резолюции,
Но у каждого велосипед.

В воскресенье едет он по ягоды,
Ищет яйца в чаечном гнезде.
Отчего ж в аптеке банки с ядами,
Черепушки в косточках везде?

Почему, как сообщают сведенья,
Несмотря на весь уютный быт,
Тихая классическая Швеция —
Страшная страна самоубийц?

В магазинах гордо поразвесила
Свитера, бюстгальтеры, штаны,
Только где же у нее поэзия?
Нет великой цели у страны.

Что же заставляло два столетия
Жить среди вещей, как среди богов?
Смерти не боится Швеция,
Страшно выйти из берегов.

1964

ВОЙНА

ПОЭЗИЯ

Поэзия! Не шулки ради
Над рифмой бьешься взаперти,
Как это делают в шараде,
Чтоб только время провести.

Поэзия! Не ради славы,
Чью верность трудно уберечь,
Ты утверждаешь величаво
Свою взволнованную речь.

Зачем же нужно так и этак
В строке переставлять слова?
Ведь не затем, чтоб напоследок
Чуть-чуть кружилась голова?

Нет! Горизонты не такие
В глубинах слова я постиг:
Свободы грозная стихия
Из муки выплеснула стих!

Вот почему он жил в народе.
И он вовеки не умрет
До той поры, пока в природе
Людской не прекратится род.

Бывают строфы из жемчужин,
Но их недолго мы храним:
Тогда лишь стих народу нужен,
Когда и дышит вместе с ним!

Он шел с толпой на баррикады.
Его ссылали, как борца.
Он звал рабочие бригады
На штурмы Зимнего дворца.

И вновь над ним шумят знамена —
И, вырастая под огнем,
Он окликает поименно
Бойцов, тоскующих о нем.

Поэзия! Ты — служба крови!
Так перелей себя в других
Во имя жизни и здоровья
Твоих сограждан дорогих.

Пусть им грезится победа
В пылу труда, в дыму войны.
И ходит
 в жилах
 мощь
 поэта,
Неся дыхание волны.

Действующая армия
1941

**ЖЕНЩИНАМ МИРА
И ЕЩЕ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЕ**

И снова слетается галочий орден
По упокою солдатской души.
Опять Европа брошена ордам,
И волки до храма дошли.

И вот уже тучи военной оснастки
Над бедной планетой понеслись.
Любимые ноты, любимые краски
Кружат, словно осенью лист...

Баллада слетает к чугунным мортирам,
К огням крейсеров приливает вальс.
Уйдите! Сочтет себя дезертиром
Тот, кто вспомнит о вас.

О, как вы ничтожны пред ликом солдата,—
Опять возрождается каменный век.
Уснут баллады, увянут сонаты
И вальсы, вальсы навек...

И, все обаяние мира утратив,
Не смея по-своему зазвенеть,
Душа распадается, точно радий,
В холодный и темный свинец.

В такие мгновенья за космами дыма,
Где в ужасе рушатся башни твои,
Ты ловишь, носящую женское имя,
В небе — звезду любви.

Ты, которую, взяв из созвездья,
Стараясь не видеть милых гримас,
Ты очень всерьез подарил невесте,
Как дарят во сне алмаз;

Ту, старомодную... Ту, что до гроба...
Перед которою все равны...
Она вырастает в бога подобье —
И это закон войны.

О ней. Никто. Не скажет. Ни слова.
Но, словно в пуху родного гнезда,
Взошла для маршала и рядового
Эта теплынь-звезда.

И с этим виденьем под куревом боя
Душу вдруг наполняет свет,
Как будто пролил свое голубое
Заветный тот самоцвет.

И снятся рукам чьи-то теплые руки,
Что женскую нежность с собой принесли.
Светите же нам, дорогие подруги:
Вы — завтрашний день Земли!

Ведь если сквозь судьбы всех поколений,
Пройдя через пущу, болота и рвы,
Легенду пронес человеческий гений,
То эта легенда — вы...

Может быть, только в окопной сажени
Стало отныне понятно всем,
Что вы — глубочайшее преображенье
Наших сонат и поэм.

Матери, сестры, дочурки, жены!
Слушайте: миф не навеки уснул.
Вот я стою, фронтовик обожженный,
И говорю сквозь гул:

Пусть наши губы залубенели,
Голос — одно лишь «ура» наизусть,
Ящерица ползет по шинели,
Бороды в глине — пусть!

Только бы облик *ваш* не затмился,
Только бы мы не утратили *вас!*
Мы все восстановим — и звуки и мысли,
На ваш ореол отзовясь...

И снова заря, а не взрыв на рассвете,
И музы опять поселятся в дому —
Только б души твоей семицветье
Не почернело в дыму.

Действующая армия
1941

ФАШИЗМ

Была маяком для мпра когда-то
Германия Гете, Германия Гейне.
Куда ж она сгинула? Где ж ее гений?
Что сделали с ней свои же солдаты?
Сгорела ли? Вымерзла, как астероид?
Некогда

этим

заняться:

Психологи в будущем как-нибудь вскроют
Драму перерождения наций.

Пока же пред нами — Гитлер и клика.
Хищные отпрыски сабельнозубых,
Они поднимают дымящийся кубок,
Как бомбу, за гибель всего, что велико:
«Да будет культура отныне во прахе!
Да высохнет Мысль от истока до устья!
Вернитесь, вернитесь, древние страхи,
И вновь первобытные боги вернутся...»

Нам говорят: здесь бацилла безумья!
Умалишенный под маской барса
Хочет в коричневом этом самуме
Выдумать сумасшедшее царство.
(Чем же еще объяснить этот ужас?)
А он объясняется очень просто:
Карлик-фашизм, пыхтя и патужась,
Вывихнуть хочет

Закон Роста.

Тысячелетия — век за веком —
Двигаясь к эре великих свершений,
В лад машинам и библиотекам
Мир становился все совершенней.
Четырехлапый, он подымался

На две ноги и шагал сквозь джунгли.
Струны в нем пронизали мясо,
Страхи его оползали и жухли...

Раб становится пролетарием.
Вот он — вожак в коммунистическом прологе.
Как это вынести «божьим тварям»,
Зрящим вселенную из берлоги?
«Божьей твари» древний обычай
Управляться с ее добычей:
Крупному хищнику — туша овечья,
Крупну и Стиннесу — кровь человечья.

Если ж отныне сердце людское
Не заковать ни в цепи, ни в деньги —
Значит,

 надо

 вернуть

 для покоя

Человечество па четвереньки.
Взрывайте же храмы! Книжки развейте!
Заляпайте краски Ватто и Латура!
Философии пет на свете,
Честь и совесть — «литература».

Так будь же ты проклят, фашизм-убийца!
Проклят во имя Земного Шара,
Проклят за каждую вспышку пожара,
За посвист каждой стальной крушцы,
Проклятье твоим певцам и поэтам
За то, что Германию нагло украли,
 За то, что ее отравили бредом,
На фальши разыгранном, как на роляе.

Кто говорит — «безумие века»?
Ложь! В искривленной гайнамп сфере
Вижу восстание рыжего зверя
Против владычества человека.

Я ЭТО ВИДЕЛ!

Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел. Своими глазами.
Понимаете? Видел. Сам.
Вот тут дорога. А там вон — взгорье.
Меж ними

вот этак —

ров.

Из этого рва подымается горе.
Горе — без берегов.

Нет! Об этом нельзя словами...
Тут надо рычать! Рыдать!
Семь тысяч расстрелянных в мерзлой яме,
Заржавленной, как руда.

Кто эти люди? Бойцы? Нисколько.
Может быть, партизаны? Нет.
Вот лежит лопухий Колька —
Ему одиннадцать лет.

Тут вся родня его. Хутор Веселый.
Весь «самострой» — сто двадцать дворов.
Ближние станции, ближние села —
Все как заложники брошены в ров.
Лежат, сидят, всползают на бруствер.
У каждого жест. Удивительно свой!
Зима в мертвецке заморозила чувство,
С которым смерть принимал живой,
И трупы бредят, грозят, ненавидят...
Как митинг, шумит эта мертвая тишь.
В каком бы их ни свалило виде —
Глазами, оскалом, шеей, плечами
Они пререкаются с палачами,
Они восклицают: «Не победишь!»

Парень. Он совсем налегке.
Грудь распахнута из протеста.
Одна нога в худом сапоге,
Другая сияет лаком протеза.
Легкий снежок валит и валит...
Грудь распахнул молодой инвалид.
Он, видимо, крикнул: «Стреляйте, черти!»
Поперхнулся. Упал. Застыл.
Но часовым над лежбищем смерти
Торчит воткнутый в землю костыль.
И ярость мертвого не застыла:
Она фронтовых окликает из тыла,
Она водрузила костыль, как древко,
И вежа ее видна далеко.

Бабка. Эта погибла стоя.
Встала меж трупов и так умерла.
Лицо ее, славное и простое,
Черная судорога свела.
Ветер колышет ее отрешье...
В левой орбите засгыл сургуч,
Но правое око глубоко в небе
Между разрывами туч.
И в этом упреке деве пречистой
Рушенье веры дремучих лет:
«Коли на свете живут фашисты,
Стало быть, бога нет».

Рядом истерзанная еврейка.
При ней ребенок. Совсем как во сне.
С какой заботой детская шейка
Повязана маминым серым кашне...
Матери сердцу не изменили:
Идя на расстрел, под пулю идя,
За час, за полчаса до могилы
Мать от простуды спасала дитя.
Но даже и смерть для них не разлука:
Не властны теперь над ними враги —
И рыжая струйка
из детского уха
Стекает
в горсть
материнской
руки.

Как страшно об этом писать. Как жутко.
Но надо. Надо! Пиши!
Фашизму теперь не отделаться шуткой:
Ты вымерил низость фашистской души,
Ты осознал во всей ее фальши
«Сентиментальность» пруссацких грез,
Так пусть же

сквозь их

голубые

вальсы

Горит материнская эта горсть.
Иди ж! Заклейми! Ты стоишь перед бойней.
Ты за руку их поймал — уличи!
Ты видишь, как пулею бронебойной
Дробили нас палачи,
Так загреми же, как Дант, как Овидий,
Пусть зарыдает природа сама,
Если

все это

сам ты

видел

И не сошел с ума.

Но молча стою над страшной могилой.
Что слова? Истлели слова.
Было время — писал я о милой,
О щелканье соловья.

Казалось бы, что в этой теме такого?
Правда? А между тем
Попробуй найти настоящее слово
Даже для этих тем.

А тут? Да ведь тут же первы как луки,
Но строчки... глуше вареных вязиг.
Нет, товарищи: этой муки
Не выразит язык.

Он слишком привычен, поэтому беден,
Слишком изящен, поэтому скуп,
К неумолимой грамматике сведен
Каждый крик, слетающий с губ.

Здесь нужно бы... Нужно создать бы вече
Из всех племен от древка до древка
И взять от каждого все человечье,
Все прорвавшееся сквозь века —
Вопли, хрипы, вздохи и стоны,
Отгул нашествий, эхо резни...

Не это ль

наречье

мўки бездонной

Словам искомым сродни?

Но есть у нас и такая речь,
Которая всяких слов горячеш:
Врагов осыпает проклятьем картечь,
Глаголом пророков гремят батареи.
Вы слышите трубы на рубежах?
Смятенис... Крики... Бледнеют громилы.
Бегут! Но некуда им убежать
От вашей кровавой могилы.

Ослабьте же мышцы. Прикройте веки.
Травою взойдите у этих высот.
Кто вас увидел, отныне навеки
Все ваши раны в душе унесет.

Ров... Поэмой ли скажешь о нем?
Семь тысяч трупов.

Семиты... Славянс...

Да! Об этом нельзя словами
Огнем! Только огнем!

Керчь
1942

БАЛЛАДА О ЛЕНИНИЗМЕ

В скверике, на море,
Там, где вокзал,
Бронзой на мраморе
Ленин стоял.
Вытянув правую
Руку вперед,
В даль величавую
Звал он народ.
Массы, идущие
К свету из тьмы,
Знали: «Грядущее —
Это мы!»

Помнится сизое
Утро в пыли.
Вражьи дивизии
С моря пришли.
Чистеньких, грамотных
Дикарей
Встретил памятник
Грудью своей!
Страшная статуя...
Жест — как сверло,
Брови крылатые
Гпевом свело.

— Тонко сработано!
Что ж это тут?
«ЛЕНИН».

Ах, вот оно?

Аб!

— Гут!

Дико из цоколя
Высится шест.
Грохнулся около
Бронзовый жест.

Кони хвостатые
Взяли в карьер.
Нет
 статуи,
Гол
 сквер.

Кончено! Свержено!
Далее — в круг
Ввѣден задержанный
 Политрук.
Был он молоденький,
Двадцать всего,
Штатский в котике
Выдал его.

Люди заохали...
(«Эх, маета!»)
Вот он на цоколе,
Подле шеста;
Вот ему на плечи
Брошен канат.
Мыльные капли
Землю кропят...

— Пусть покачается
На шесте.
Пусть он отчаётся
В красной звезде!
Всплачется, взмолится
Хоть на момент,
Здесь, у околицы,
Где мопумент,
Так, чтобы жители,
Ждущие тут,
Поняли. Видели.
 Ауф!
 — Гут!

Желтым до зелени
Стал политрук.
Смотрит...
О Ленине вспомнил...
И вдруг

Он над оравую
Вражеских рот
Вытянул правую
Руку вперед —
И над оковами,
Бронзе вослед,
Вырос
 кованый
Силуэт.

Этим движением
От плеча,
Милым видением
Ильича
Смертник молоденький
В этот миг
Кровною родинкой
К душам приник...

Будто о собственном
Сыне — павзрыд
Бухтою об стену
Море гремит!
Плачет, волнуется,
Стопет народ,
Глядя на улицу
Из ворот.

Мигом у цоколя
Каски сверк!
Вот его, сокола,
Вздернули вверх;
Вот уж у сонного
Очи зашлись...
Все же ладонь его
Тянется ввысь —
Бронзовой лепкою,
Назло зверью,
Ясною, крепкою
Верой в зарю!

Керчь
1942

БАЛЛАДА О ТАНКЕ КВ

*Посвящается героическому экипажу
танка — товарищам Тимофееву, Ос-
танину, Горбунову, Чернышеву и
Чиркову.*

1

По куполу танка ударил снаряд.
Сквозь щель прорывается дым и газ.
Волосы у бойцов горят.
От гаря — слезы из глаз,
А танк, развив наступательный пыл,
В минное поле вступил.

2

И вдруг подымается дымный клуб...
Танк оседает. Толчки коротки.
Гребень трака зарылся вглубь,
Кружили впусую катки,—
И танк, одною правой гребя,
Вертелся вокруг себя.

3

А между тем наш удар отбит,
Пехота уже залегла в траве,
И вот начинается страшный быт
У танка марки «КВ»:
Вдруг, оборвав огневой заслон,
Мертвым прикинулся он.

4

Мины его обдавали днем,
Прямой наводкой била картечь;

Ночью бутылки метали по нем,
Пытаясь его зажечь.
А он стоял среди вражьих троц,
Словцо запаянный гроб.

5

Когда-то была его страшная сталь
Окрашена цехом под зелень и дым.
Теперь же, купаясь в пулях, он стал
Серебряно-седым
И по утрам исчезал, как во сне,
Тая в голубизне...

6

И лишь орудийная маска ¹ его,
Засалив свирепые скулы свои,
Недвижно глядела — по не мертво,
А предрекая бои!
И так эта маска была страшна,
Как если б дышала она.

7

Дни проходили. Но танк был нем.
Он стал, как этот пейзаж, знаком.
К чему же тогда его жечь? Зачем?
Не лучше ли взять целиком?
Когда батальоны пройдут вперед,
Сапер его отопрет.

8

И мертвый танк пощажён огнем,
Много ль таких валяется глыб?
А если кто и остался в нем,
Конечно, давно погиб.
И, давши фото в газетке своей,
Враги подписали: «Трофей».

¹ Маска — часть танкового орудия.

Однако в «трофее» — пять сердец
 Бились по-боевому в лад.
 Однако в «трофее» каждый боец
 Втянулся в железный уклад:
 Держа в порядке военный металл,
 Он напряженно ждал.

10

Пускай одышка. Дробь у виска.
 Весь костяк изломац, измят...
 По жаркою верой в свои войска
 Жил броневою каземат —
 И дни эти были для всех пятерых
 Лучшими в жизни их.

11

Когда ты брошен самой судьбой
 Туда, где дымит боевая тропка,
 И вся страна следит за тобой
 И подвига ждет от тебя —
 Высокая гордость волною морской
 Над темной ходит тоской.

12

Так и сжились. Завели уют:
 Если курить воспрещается (дым!),
 Зато они шепотком поют,
 Бреются по выходным
 И каждую почь, приоткрывши люк,
 Вдыхают веселый луг...

13

И каждую ночь Большая земля,
 Как мать, окликала своих сынов:
 По радио Спасская башня Кремля
 Била 12 часов,
 И чудились в мире почпой синевы
 Родные рубины Москвы.

Прошло уже ровно пятнадцать дней.
 Шестнадцатый шел. Был день как день.
 Но стало ребятам дышать трудней,
 В глазах — кровавая тень...
 И вдруг одна из фашистских колонн
 Вышла под их заслон.

Бояться ли пленников? Трупы они.
 Танк безжизнен. Ну, ну! Бодрей!
 Ведь в ярких ямах его брони,
 Изрытых огнем батарей,
 Спокойно гниет дождевая вода...
 Слетаются птицы сюда.

Итак, деревню взять на прицел.
 «Die erste Saxische Rote zum Drang!»¹
 И вдруг в тиши услышал офицер,
 Как засмеялся танк,
 И чуть ли не маска, влитая в бронь,
 Тихо сказала: «Огонь!»

1942

¹ Первая Саксонская рота — в атаку! (нем.)

БОЙ В ТРИДЦАТЬ СЕКУНД

(Из беседы с летчиком Ч.)

1

— Когда ты говоришь о быстроте,
Рассказывай замедленно, иначе
Все очертанья растекутся в дым.

— Летело их двенадцать.
Я один.
Уйти?
Да нет уж. Поздно.
Тут сраженьё
Решалось только быстротой решенья —
И я рискнул.

Случилось это утром на высоте 3500,

2

Быстрота летящих миль —
Авиатора оплот.
Здесь оружие — пулемет
И стремительная мысль.
Я врываюсь головой
Прямо в эти «мессера»,
Воздух нежно-голубой
Краспой трассой озаря.

А вокруг меня они:
Всё кресты, кресты, кресты...
Только им с моей брони
Даже лак не соскresti!

Объегорил я врага:
Не приладиться ему.
Чуть промаз — наверняка
Угодит по своему.

Среди туч, как между гор,
Я свирепствую в бою,
Бронебойными в упор
Упоенцо в брони бью.

Но темнеет на земле:
Ввысь туманы забрели,
Растекаются во мгле
И турели и рули —

И ни зги средь бела дня...
Только цифры едут вкось,
Точно мир вокруг меня
«Стодевятками» оброс.

3

Тогда я от ведущего отбил
Ведомого. Я звал его к дуэли
В прогалину голубизны. И вот
На встречных курсах два аэроплана,
Как вьюгами просвистанные льдины,
Стремительно помчались друг на друга.
Его пятьсот... Да и мои пятьсот...
Но он не выдержал. Мы разминулись
На волосок. И только близко-близко
Туманная полоска промелькнула,
Как берег на далеком горизонте.

Он, видимо, был очень молод. Я
Сужу об этом потому, что «мессер»
Не догадался тут же подсосаться
К течению вихря за моим хвостом.
Огромная ошибка!

У меня

Секунды оказались выше.

Миг —

И я у хвостового оперенья.
Он хочет увернуться, оторваться,

РОССИИ

Взлетел расщепленный вагон!
Пожары... Беженцы босые...
И снова по уши в огонь
Вилываем мы с тобой, Россия.
Опять судьба из боя в бой
Дымком затянется, как тайна,—
Но в час большого испытанья
Мне крикнуть хочется: «Я твой!»

Я твой. Я вижу спы твои,
Я жизнью за тебя в ответе!
Твоя волна в моей крови,
В моей груди не твой ли ветер?
Гордись тобой или скорбя,
Полуседой, но с чувством ранним,
Люблю тебя, люблю тебя
Всем пламенем и всем дышащем.

Люблю, Россия, твой пейзаж:
Твои курганы печенежьи,
Стапухи белых побережий,
Орапжевый на синем пляж,
Кровавый мех лесной зари,
Олений бой, тюленьи игры,
И в кедраче над Уссури
Шаманскую личипу тигра.

Люблю твое речное дно
В ершах, и раках, и русалках;
Моря, где в горизонтах валких,
Едва меж волнами видно,
Рыбачье судно ладит парус,
И прямо в небо из воды
Дредпоут в космах бороды
Выносит театральный ярус.

Люблю, Россия, птиц твоих:
Военный строй в гусином стане,
Под небом сокола стоянье
В размахе крыльев боевых,
И писк луны среди жливья
В очарованье лунной ночи,
И на невероятной пете,
Самоубийство соловья¹.

Ну, а красавицы твои?
А женщины твои, Россия?
Какая песня в них взрастила
Самозабвение любви?
О, их любовь не полубыт:
Всегда событие! Вечно мета!
Россия... За одно за это
Тебя нельзя не полюбить.

Люблю великий русский стих,
Не всеми попятый, однако,
И всех учителей своих —
От Пушкина до Пастернака.
Здесь та большая высота,
Что и не пахнет трын-травой,
Недаром русское всегда
Звучало в них как мировое.

Люблю стихию наших масс:
Крестьянство с философской хваткой,
Стаину нашего порядка —
Передовой рабочий класс
И вышешенную в бою
Интеллигенцию мою —
Все общество, где мир впервые
Решил вопросы вековые.

Люблю великий наш простор,
Что отражен не только в поле,
Но в революционной воле
Себя по-русски распростер:
От декабриста в эполетах
До коммуниста Октября

¹ У соловьев во время пения иногда разрывается сердце.

Россия значилась в поэтах,
Планету заново творя.

И стал вождем огромный край
От Колымы и до Непрядвы.
Так пусть галдит над нами грай,
Черня привычною неправдой,
Но мы мостим прямую гать
Через всемирную трясину,
И пыне воспрять Россию —
Не человечество ль припять?

Какие ж трусы и ввали
О нашей гибели судачат?
Убить Россию — это значит
Отнять надежду у Земли.
В удушье денежного века,
Где низость смотрит свысока,
Мы окрыляем человека,
Открыв грядущие века.

1942

ИЗ ФРОНТОВОЙ ТЕТРАДИ

1

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Прочтите описание весны
В любом романе. Даже голос прозы
Взволнованно отметит дух березы,
И облака, похожие на сны,
И раннюю продрогшую зарю...
О птицах я уже не говорю.

А здесь весной не было весны
Со всею этой прелестью нехитрой,
А здесь проходят облака Войны,
Насыщенные толком и селитрой,
А здесь когда-то щебетавший лес
Обуглился и догола облез,
Лишь пять осин с железною листвою
Легли мостом дорогой фронтовою,
Пожар объял полнеба сгоряча...
А птицы?

Впрочем, как не верить слетам?
Вчера у дота пали два грача,
Подрезанные в небе самолетом.

2

СОН

От сна здесь остается только слово.
Не сон, а ощущение толчка.
У застоявшегося часового
«Заснет», пожалуй, правая рука,
Или майор в беседе засопит,
Упустит речь и только взглянет тупо —
И это тоже сон. Война не спит.

Тут спят по-настоящему лишь трупы.
Тут спать уже как будто и не могут,
Хоть веки, что у Вия, тяжелы.
Сомкнешь глаза под говор, гомон, грохот —
И пробуждаешься от тишины.

Здесь самое большое счастье: сон.
Но кто ж его на фронт берет с собою?
Взамен дыханья — хрипота и стон,
А вместо сповиденья — фильм о бое.
Мы и во сне идем, идем, идем,
Взрываемся на минах, умираем,
А нас за это награждают раем,
А рай-то, оказалось, — отчий дом.
И вот пред нами самовар и плюшки...
Но плюшки прочь! И самовары прочь!
И спится нам, что мы летим в подушки,
Что спим без сновидения всю ночь.

3

СТРАХ

Вы знаете ли, что такое страх?
Вам кажется, что знаете. Едва ли.
Когда сидишь под бомбами в подвале,
А здания пылают на кострах —
Не спорю: это страшно. Это жутко.
Чудовищно! Но все это не то!
Отбой — и ты выходишь из закутка,
Вздохнул — и напряжение спято.

А страх — это вот тут, под грудью камень.
Попятно? Камень. Только и всего.
В берлоге батальона своего
Ты трубку набиваешь корешками,
Ты часики лениво заведешь,
Потом выходишь под осенний дождь,
Куря, следишь за дымовой завесой,
Мигнешь орудию (вы с ним на «ты»).
А камень твой все той же тошноты.
Того же уровня. Того же веса.
Ты бледноват. Но не бледнее всех.

Тебе совсем не боязно. Не жутко.
Ты отвечаешь на остроту шуткой,
Нередко удается даже смех.

А камень твой все той же высоты...

Но это страхом не признаешь ты,
О, ты бесстрашен, как и быть должно,
Великое в тебе отражено.
Ты можешь стать и бронзою и песней.
А камень?

Что ж,

мы поступаем с ним,
Как с небольшой телесною болезнью —
Хроническим катаром фронтovým.

Действующая армия
1942

ПЕСНЯ

72-й КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДИВИЗИИ

Из-за леса, леса конница идет.
Сам Василь Ивапыч Книга нас ведет.
(Ты, Кубань моя, родимая река!)
Сам Василь Ивапыч Книга нас ведет.

Геперал от знаменосца в двух шагах,
Первый полк выходит в синих башлыках.
(Ты, Кубань моя, родимая река!)
Первый полк выходит в синих башлыках.

То не маки зацвели по-над горой —
Это в красных башлыках идет второй.
(Ты, Кубань моя, родимая река!)
Это в красных башлыках идет второй.

В башлыках голубо-серых третий полк.
Все мы знаем перед родиной свой долг.
(Ты, Кубань моя, родимая река!)
Все мы знаем перед родиной свой долг.

Как раскатится сигнальщика труба —
Растуманится военная трона.
(Ты, Кубань моя, родимая река!)
Растуманится военная трона.

Тут уж, конь мой, только гривой полыхай,
Птицей-птахою над полем пролетай!
(Ты, Кубань моя, родимая река!)
Птицей-птахою над полем пролетай...

Чтобы славушка по травушке пошла,
Грозной тучею под ветром поплыла.
(Ты, Кубань моя, родимая река!)
Грозной тучею под ветром поплыла.

Чтобы враг уже по топоту подков
Узнавал бы нас, кубанских казаков.
(Ты, Кубань моя, родимая река!)
Узнавал бы нас, кубанских казаков.

*Действующая армия. 72-я Кубанская дивизия
1943*

ПЕСНЯ КАЗАКА

Был бы казак гайда,
а за конем дело не станет.

Генерал В. П. Книга

Ах ты, конь мой, конь, золота-заря,
Молодой мой конь! Огопек.
Серебром тебя я попл за зря...
И зачем попл? Невдомек.

Отвели тебя за литой лафет.
Я сплжу с пехотою в ряд.
Говорят, коплю пынче дела нет,
Устарел, мол, конь, говорят.

На него теперь не надейся тут.
Пулемет у нас да картечь.
Хорошо еще, коли в рейд пошлют,
Без того и шашке не сечь.

От таких речей казаку тоска.
Видно, впрямь надежду оставь.
Эх ты, конь мой, конь! Эх, Кубань-река...
Одолея пехотный устав.

Самоходка-пушка торчнт во рву.
За хатенкой спит самолет.
Эта божья тварь не жует траву,
Из ручья-ключа не сосет;

Не подымет храп, увидав меня,
Не зовет с тоской в стремена.
Хоть огня полна — не того огня...
Изменилися времена.

Ну, да что скулить! Проживем и так.
От тоскй не будет добра.
На большом бугре появился танк —
И пыхнуло пламя с бугра.

Как ударил раз — самоходку сбил,
Как ударил два — самолет.
Отогнать его неостанет сил,
А оставить — всех перебьет.

Эх ты, копь мой, копь, золота-заря,
Золотой мой копь. Ветерок!
Я ползу к нему, как в бреду горя...
Я вскочил. Лечу без дорог.

Две гранатки здесь. Раззудись, плечо...
Долетел мой копь до бугра.
Я рванул разок! Я рванул еще!
А меня догнало «ура».

Холодна земля в поябре-поре.
Горяча кровавая грязь.
Ну, а все ж и тапк на большом бугре
Завалился, дымом курясь.

Говорят бойцы, что совсем не зря
Своего копька я хранил,
Ах ты, копь мой, копь, золота-заря!
Целый взвод тебя хоронил.

*72-я Кубанская дивизия
1943*

КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Серебристая луна.
Золотая зыбка.
Истомись ты без сна,
Детка моя, рыбка!
Я еще тебе спою.
Мир тебе приснится.
Твой отец теперь в бою —
Вот кому не спится!
Баю-бай... Баю-бай...
Сни, а то возьмет бабай.

Подвела ему коня
Рыжего, как пламя,
Конь, подковами звеня,
Двинулся полями.
По долинам, по долам
Пусть и он пылает.
По фашистским по тылам
Твой отец гуляет.
Баю-бай... Баю-бай...
За родной воюет край.

Бурка черная на нем,
Словно беркут, вьется.
С краснопламенным концем
В бой казак несется.
Черный глаз его не сглазь!
В яму конь не ступит.
Та рука не родилась,
Что отца зарубит.
Баю-бай... Баю-бай...
Не зарубит. Не рыдай.

Но спасется ль от огня?
В бурку метит дуло.

Вдруг да свалится с коня,
Словно ветром сдуло!
И останутся тогда —
Домовина-хатка,
Солдатенок-сирота,
Вдовушка-солдатка.
Баю-бай... Баю-бай...
Спи, мой мальчик. Засыпай.

Больше я тогда, сынок,
Баек петь не буду.
Я отточепный клинок
С желобцом добуду,
И пролью вдоль желобца
Я слезинку злую
И вскочу на жеребца,
Лошадь удалую.
Лихо в бурку завернусь,
Вихрем-ведьмой обернусь.

Над водою пелена,
Пули над водою...
Вдруг покажется лупа
Люлькой золотою.

Задохнусь от духоты,
Не пойму, что зябко...
— Где же мама? — спросишь ты,
И ответит бабка:
— Баю-баюшки-баю...
Твоя матушка в бою.

*72-я Кубанская дивизия
1943*

ПЕСНЯ КАЗАЧКИ

Н. Авсееву

Над рекой-красавицей птица не воркует —
Голос пулемета заменил дрозда.
Там моя заботушка, сокол мой воюет,
На папахе алая звезда.

Я ли того сокола сердцем не кормила?
Я ли не писала кровью до зари?
У него, у милого, от его да милой
Письмами пабиты газыри.

Письма — не спасение. Но бывает слово —
Душу озаряет веселей огня.
Если там хоть весточки ожидают снова,
Это значит — помнят и меня.

Это значит — летом ли, зимней ли порошей
Постучит в оконце звонкое ружье,
Золотой-серебряный, друг ты мой хороший,
Горюшко военное мое.

Над моей бессонницей пролетают ночи.
Как закрою веки — вижу своего.
У него, у милого, карешькне очн...
Не любите, девушки, его.

*72-я Кубанская дивизия
1943*

КАЗАЧЬЯ ШУТОЧНАЯ

Черноглазая казачка
Подковала мне коня,
Серебро с меня спросила,
Труд недорого цена.

— Как зовут тебя, молодка? —
А молодка говорит:
— Имя ты мое услышишь
Из-под топота копыт.

Я по улице поехал,
По дороге поскакал,
По тропинке между бурых,
Между серых между скал:

Маша? Зина? Даша? Нина?
Все как будто не она...
«Ка-тя! Ка-тя!» — высекают
Мне подковы скакуна.

С той поры,— хоть шагом еду,
Хоть галопом поскачу,—
«Катя! Катя! Катерипа!» —
Неотвязно я шепчу.

Что за бестолочь такая?
У меня ж другая есть.
Но уж Катю, будто песню,
Из груди, брат, не извезь.

Черпоокая казачка
Подковала мне коня,
Заодно уж мимоходом
Приковала и меня.

1943

ЭПИЗОД

Помню, сидел в окопе
Под навесным огнем.
Рядом какой-то хлопец...
Я и не думал о нем.

— А знаете? Нынче сретенье! —
Сказал он голосом тонким.
Было в нем что-то среднее
Между мужчиной и ребенком.

Но гробят из-за горы...
Сидим. Пригибаемся низко.
— Парнишка! Есть закурить?
— Есть,— отвечает парнишка.—
А эта высотка, сосед,
Все-таки будет наша!
Вот. Возьмите кiset.
— Как тебя звать?

— Наташа.

И сразу возникло в окопе
Малепькое

чудо:

Я сквозь мученье и гробы
Счастливым стал почему-то,
Хоть, может быть, через секунду
Пятном растекусь по грунту.

*Действующая армия
1943*

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Мы с вами совсем незнакомы.
Но разве мы были чужими?
Летело железо и комья,
Весь окоп

закурился

в дыме.

Мы стояли, два человечка,
Перед этой

неистой стихией.

Нас хранил не бог, по осечка.

Какие же мы «чужие»?

И когда в трех шагах, не дальше,

Будто поезд пронесся мимо —

Я взял твою, девочка, пальцы

Мужскими

пальцами моими,

Я думал — ты их отнимешь...

(Кто вас, девушек, знает?)

Но не дебрями вьется одними ж

Дорога сердца лесная.

И ты подарила мне руку

Печально и обреченно,

Точно стала моей подругой,

Кольцом огня обрученной.

Но уже, охмеленные встречей,

Мы забыли о громе и вое.

Я накрыл твои, женщина, плечи

Шинелью своей боевою,

И в гарью овитых залах,

Словно память о жизни прежней,

Твой домашний, твой бабий запах

Опахнул меня духом скворешни...

Теплотою звериной норки

Охватило твое дыханье.

Как уютно
 стало
 на пригорке
В огневом вокруг океане!

А тьма. В железных. Залпах.
Лязгала на приволье.
Катастрофы комет внезапных
Разрывали в кратеры поле.
Земля. В удушье. Газа,
Где гелий, метан и стронций,
Стала похожа сразу
На агонию солнца.
Но в пожарах бездушной стали
Дрожало тепло гнездовье:
Два
 человека
 стояли
Со своей бессмертной любовью.

Действующая армия
1943

* * *

Если жарко думать о жене,
Фронтное выдержать нельзя.
Сердце станет мягче и нежней,
Все вокруг да около скользя,
Все вокруг да около — и вновь
По тому же кругу, как спираль,
Как пружина, ввинченная в кровь,
Змеевик, что горло распирал.

Если нежно думать о жене,
Как-то окунаешься в уют.
Полночью в блиндажной тишине
Вещи, точно призраки, встают:
Трубка над газетой в выходной,
Две подушки пышные, как снег,
Зеркало, улыбкою родной
Отвечавшее на женский смех.
Степь ли, побережье или кряж —
Эти вещи всюду предо мной,
Застилают фронтовой пейзаж
И зовут, зовут меня домой...

Это не годится никуда.
Это хуже всякого вина.
Может быть, на долгие года
Затянулась клятая война.
Значит, надо нервы окружить
Запахами поля и огня,
Надо не оглядываясь жить,
Точно прежде не было меня.

Мне теперь мучительно легко!
Фронтовой кубанский офицер,
Я живу ветрами и полком
В думах о коне да об овсе.

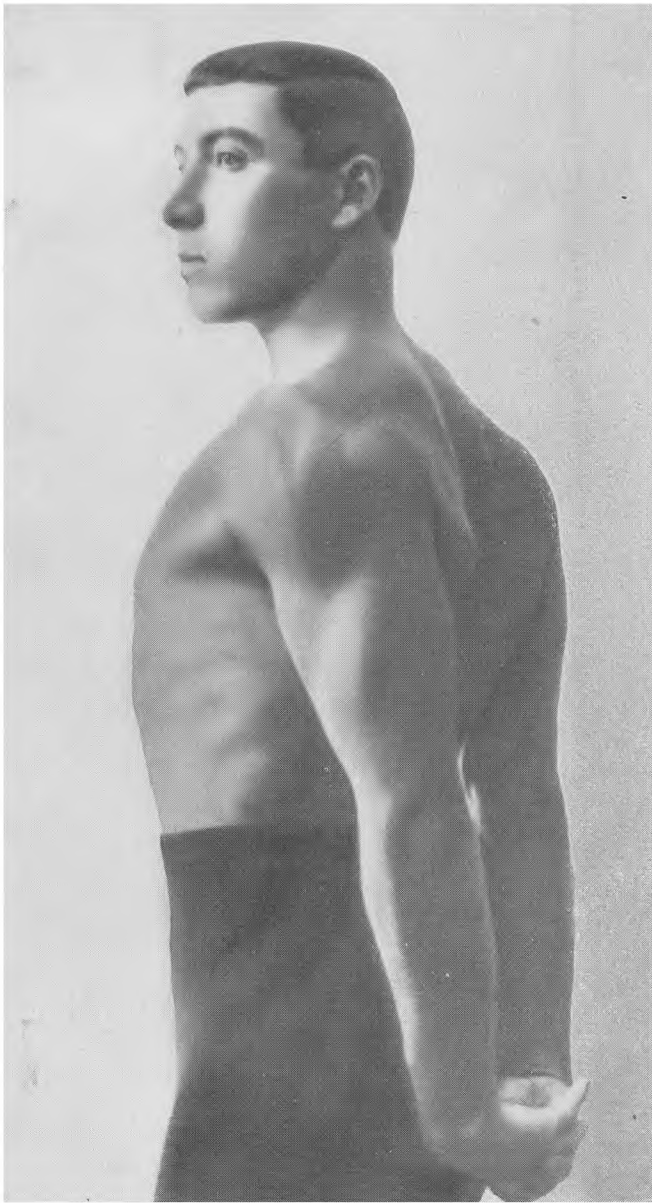
Ноздри одичалые мои
Дышат ароматами могил;
День, когда снижаются бои,
Мне уж, как преснятина, не мил;
Боль бронированной души
В боевое пламя зажжена!

Лишь на дне, в глубинистой тиши,
Светится жемчужина — Жена.

Действующая армия
1943



1. Илья Сельвинский-гимназист. 1916 г. Евпатория.



2. Илья Сельвинский «Лурих III, сын Луриха I». 1920 г.
Евпатория.

НАД КАРТОЙ ЕВРОПЫ 1943 ГОДА

Не только язык и монета,
 не только марки и флаги,
Души у страп различны —
 и тут уже красок не счесть:
Есть державы-плясущи,
 есть державы-деляги,
Философы есть державы,
 шпионы-державы есть.
Иная внушает жалость.
 В иную можно влюбиться.
Иная же так безлична —
 не подберешь и слов.
Но есть на карте Европы
 одна держава-убийца!
Казнь — ее профессия. Мокрое ремесло.

Чем был
 для пейзажа Англии
 медный рожок почтальона,
Чем для природы России
 был колокольный звон,
Тем для германских будней
 сделался марш батальонный,
Вой пролетающих асов
 и полевой телефон.
Точно коллекция марок,
 пестрела карта Европы:
К лиловым тонам Норвегии
 туманная шла весна;
Зеленые Нидерланды,
 бельгийская сизая копоть
И, наконец, Югославии горная желтизна.
Там,
 над фьордами Севера,
 бряцала железная лира,

Тут,
 пад лимапамі Юга,
 дудочка пела расвет...
Есть высокое счастье
 в многозвучии мира,
Наивная радость палитры,
 радуги семицвет.

И вдруг это все утопает
 в гнусной коричневой краске:
Древнетевтонская печаль
 свою разливает желчь.
Скандинавскую воду
 мутят рогатые каски,
Герб нацистской резины
 дороги сербские жжет,
И нет уже большие Европы:
 пар кровавый клубится.
Свежуют ее солдафоны,
 терзают за пятерых.
Но не об этой добыче
 мечтает держава-убийца!
Заветная перед нею
 лежит страна-материк.
Союз Советских Республик!
 Реки его блеснули.
Бор его стал чернее
 в лучах штабного авто.
Есть державы-дезяги,
 есть державы-плясуньи.
Лазутчики есть державы.
 А эта держава — кто?

Слушайте голос отчины:
 на рубежах укрепиться,
Новую выстоять муку
 и навалиться горой.
Верю! Верую! Знаю:
 рухнет держава-убийца,
И снова цветную Европу
 спасет держава-герой.

Действующая армия
1943

БАЛЛАДА О ЛААРЕ

Запомните имя Лаара,
Неведомое пока:
Погиб он в атаке ярой
Пятнадцатого полка.

1

— Что знал ты о жизни, товарищ Лаар?

— Берег я знал морской.
Берег я знал и крики гагар,
Звучавшие тоской.
Об этом я с детства книжки читал
(Я не был в стране отцов),
Но каждый мой нерв гудел, как металл,
Заслыша родины зов.

Товарищи! Малый и старый!
Родищу боготворя,
Запомните имя Лаара —
Эстонского богатыря.

2

— Что в жизни любил ты, товарищ Лаар?

— Брига любил паруса.
Бриг я любил. И глобуса шар.
Поэм и птиц голоса.
Но больше всего и глубже всего
Мой трудовой народ —
Корнеобразные пальцы его,
Упрямо сжатый рот.

Запомните имя Лаара.
Запомните навсегда, —
Он видел поэзии чары
В высокой прозе труда.

— Чего ты хотел от жизни, Лаар?

— Не многого я хотел:
Только того, чтобы мал и стар
Не прокляли свой удел,
Чтобы не знали нужды и зла
Все расы и все края,
А вместе с ними чтоб цвела
Эстония моя.

Запомните имя Лаара:
Он прожил не как-нибудь —
Хотел он, как высшего дара,
Страпе своей вольный путь.

— Что ж сотворил ты в жизни, Лаар?

— Почти ничего, мой друг.
Я видел дот. Над дотом пар.
И рапу почувствовал вдруг.
И кровь моя выстрелом огненным
Плеснула из раны вперед!
Я сжал свою боль и телом своим
Закрыл фашистский дот.

Запомните имя Лаара,
Неведомое пока:
Погиб он в атаке ярой
Пятнадцатого полка

Но полк не забыл о тебе, Лаар,
Ни в трауре, ни в пирах.
Как часовые, пара чинар
Стапет стеречь твой прах,

Под знаменем имя твое в строю
Правофланговым стоит.
Каждый боец за тебя в бою,
Как за себя, отомстит.

И ваша, товарищи, кара
Пушкой свершится, разя!
Помните имя Лаара:
Его забывать нельзя.

1943

А Д Ж И - М У Ш К А Я

Кто всхлипывает тут? Слеза мужская
Здесь может прозвучать кощунством.
Встать!

Страна велит пам почести воздать
Великим мертвецам АджИ-МушкаЯ.
Воспрянь же, в мертвый погруженный соп,
Подземной цитадели гарнизон!

Здесь был военный госпиталь. Сюда
Спустились пехотинцы в два ряда,
Прикрыв движенье армии из Крима.
В пещерах этих ожидал их тлен.
Один бы шаг, одно движенье мимо —
И пред тобой неведомое: плен!
Но, клятву всем дыханием запомня,
Бойцы, как в бой, ушли в каменоломни.

И вот они лежат по всем углам,
Где тьма нависла тяжело и хмуρο —
Нет, не скелеты, а скорей скульптура,
С породой смешанная пополам.
Они белы, как гипс. Глухие своды
Их щедро осыпали в непогоды
Порошей своего известняка,
Порошу эту сырость закрепила,
И, наконец, как молот и зубило,
По ним прошло ваянье сквозняка.

Во мгlistых коридорах подземелья
Белеют эти статуи Войны.
Вон, как ворота, встали валуны,
За ними чья-то маленькая келья —
Здесь на опрятный автоматец свой
Осыпался костями часовой.

А в глубине кровать. Соломы пук.
Из-под соломы выбежала крыса.
Полуоткрытый полковой сундук,
Где сторублевок желтые огрызья,
И копотью свечи у потолка
Колоцкою записанные числа,
И монумент хозяина полка —
Окаменелый страж своей отчизны.

Товарищ! Кто ты? Может быть, с тобой
Сидели мы во фронтовой столовой?
Из блиндажа, не говоря ни слова,
Быть может, вместе наблюдали бой?
Скитались ли на Южном берегу,
О Маяковском споря до восхода,
И я с того печального похода
Твое рукопожатье берегу?

Вот здесь он жил. Вел записи потерь.
А хоронил чуть дальше — на погосте.
Оттуда в эту каменную дверь
Заглядывали черепные кости,
И, отрываясь от текущих дел,
Печально он в глазницы им глядел
И узнавал Алешу или Костю.

А делом у него была вода.
Воды в пещерах не было. По своду
Скоплялись капли, брезжа, как слюда, —
И свято собирал он эту воду.
Часов по десять (падая без сил)
Сосал он камень, папоенный влагой,
И в полночь умирающим послал
Три четверти вот этой плоской фляги.

Вот так он жил полгода. Чем он жил?
Надеждой? Да. Копечно, и надеждой.
Но сквознячок у сердца ворошил
Какое-то письмо. И запах нежный
Пахнул на нас дыханием тепла:
Здесь клякса солнца пролита была.
И уж не оттого ли в самом деле
Края бумаги пеплом облетели?

«Папусенька! — лепечет письмецо.—
Зачем ты нам так очепь мало пишешь?
Пиши мне, миленький, большие. Слышишь?
А то возьму обижуся — и все!
Наташкин папа пишет аж из Сочи.
Ну, до свидания. Спокойной ночи.»

«Родной мой! Этот почерк воробья
Тебе как будто незнаком? Вот то-то
(За этот год, что не было тебя,
Проведена немалая работа).
Ребенок прав. Я также бы просила
Писать побольше. Ну, хоть иногда...
Тебе бы это родина простила.
Уж как-нибудь простила бы... Да-да!»

А он не слышит этих голосов.
Не вспомнит он Саратов или Нижний,
Средь хлопающих оживленных сов
Ушедший в камень. Белый. Неподвижный.
И все-таки коричневые орды
Не одолели стойкости его.
Как мощны плечи, поднятые гордо!
Какое в этом жесте торжество!

Недаром же, заметные едва
Средь жуткого учета провианта,
На камне нацарапаны слова
Слабеющими пальцами гиганта:

«Сегодня
вел
беседу у костра
о будущем падении
Берлина».

Да! Твой боец у смертного одра
Держался не одною дисциплиной.

Но вот к тебе в подземное жилище
Уже плывут живые голоса,
И постигают все твое величье
Металлом заблиставшие глаза.

Исполнены священного волнения,
В тебе легенду видя пред собой,
Шеренгами проходят поколения,
Идущие из подземелья — в бой!

И ты нас учишь доблести военной,
Любви к Советской родине своей
Так показательно, так вдохновенно,
С такой бессмертной силою страстей,
Что, покидая известковый свод
И выступив кавалерийской лавой,
Мы будто слышим лозунг величавый:
«Во имя революции — вперед!»

*Аджи-Мушкайские каменоломни
2—12 ноября 1943 г.*

РУССКАЯ ПЕХОТА

Дождь и снег. Сырое поле.
Всюду грязь и слизь.
Эх, солдатская ты доля,
Фронтальная жизнь...

Передрогнув, не закуришь,
С маршу — не поспишь,
В ослепляющую бурю ж
Нет солдату крыш.

Бьет нас пуля, рвет граната,
Порет штык и нож.
Только русского солдата
Смертью не возьмешь.

Русский страху не страшится.
Воевать мастак.
Русский, ежели решится, —
Значит, будет так!

Тут уж он и спа не знает,
Не смыкает век:
Очень совесть уважает
Русский человек.

Если взялся — значит, нужно
До конца тянуть,
Да уж с толком, да уж дюжно,
А не как-нибудь.

Так он сест, так он пашет,
Так и за верстак,
Так вот пьет он, так он пляшет
И воюет так.

Хороши казачьи кони
В тысячу монет:
Ни в атаке, ни в погоне
Их ретивей нет;

Ну, неплохи также пушки,
Тульский огонек:
Эти как пальнут с опушки, —
Неприятель — с пог!

Но когда на поле с хода,
Взводами пыли,
Выйдет русская пехота —
Загремит земля!

Танки хоботы подымут,
Копь рванется с пут,
В артиллернях из дыму
Песни запоют —

Тут тогда само собою
Ясно там и сям,
Что пришел хозяин боя,
Пехотинец сам!

И враги, глаза разиня,
Уползают в брешь —
Здесь уже сама Россия
Вышла на рубеж.

Вот идет она, солдатка,
Родина моя!
Ленинград или Камчатка,
Крым ли, Верея —

Тот же дух, ума палата,
Да пошире мощь.
Большевистского солдата,
Врешь, брат, не возьмешь!

Он падет. Но встанет слава.
И на вражий дот
Имя павшего по праву
Роту поведет.

Он победе вроде брата,
Даже за милька.
Против русского солдата
Смертушка мейка.

ТАМАНЬ

Когда в кавказском кавполку я вижу казака
На белоногом скакуне гнедого косяка,
В черкеске с красною душой и в каске набекрень,
Который хату до сих пор еще зовет «курень»,—
Меня не надо просвещать, его окликну я:
— Здорово, конный человек, таманская земля!

От Крымской от станицы до Чушки до косы
Я обошел твои, Тамань, усатые овсы,
Я знаю плавней боевых кровавое гнильцо,
Я хату каждую твою могу узнать в лицо.
Бывало, с фронта привезешь от казака письмо —
Усадят гостя на топчан под саблею с тесьмой,
И небольшой крестьянский зал в обоях из газет
Портретами станишников начнет на вас глазеть.
Три самовара закипят, три лампы зажужжат,
Три девушки наперебой вам голову вскружат,
Покуда мать не закричит и, взяв турецкий таз,
Как золотистого коня, не выкупает вас.

Тамань моя, Тамань моя, форпост моей страны!
Я полюбил в тебе уклад батальной старины,
Я полюбил твой ветерок военно-полевой,
Твои гортанные ручьи и гордый говор твой.
Кавалерийская земля! Тебя не полонить,
Хоть и бомбежкой распахать, пехотой бородить.
Чужое знамя над тобой, чужая речь в дому,
Но знает враг:

никогда

не сдашься ты ему.

Тамань моя, Тамань моя! Весенней кутерьмой
Не рвется стриж с такой тоской издалека домой,
С какою тянутся к тебе через огонь и сны
Твои казацкие полки, кубанские сыны.

Мы отстоим тебя, Тамань, за то, что ты века
Стояла грудью боевой у русского древка;
За то, что, где бы ни дралось, развеяв чубовье,
Всегда мечтало о тебе казачество твое;
За этот дом, за этот сад, за море во дворе,
За красный парус на заре, за чаек в серебре,
За смех казачек молодых, за эти песни их,
За то, что Лермонтов бродил на берегах твоих.

Северо-Кавказский фронт
1943

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

1

Здесь прежде улица была.
Она вбегала так неожиданно
В семейство конского каштана,
Где зелень свечками цвела.
А там, за милым этим садом,
Вздыхался дом с простым фасадом —
И прыгал, в пузырьках колюч,
По клавишам стеклянный ключ.

2

Среди обугленных стволов,
Развалин, осыпей, клоаки
Въезжали конные казаки,
И боль не находила слов.
Мы позабыли, что устали...
Черпели номера у здапий,
Но самых зданий больше нет:
Пещеры да стальной скелет.

3

Есть у домов свое лицо.
Но можно ль в каменных обвалах
Среди строил и между балок,
Сквозь это мертвое литье
Узнать фасад многооконный,
Литое кружево балкона,
Сквозь двери на стене пейзаж
И пальцев тающий пассаж...

Большой рояль, от блеска бел,
 Подняв крыло, стоял, как айсберг.
 Две-три триоли взяты наспех...
 Нет, не рыдал он и не пел:
 Дышал! И от его дыханья
 Рождалось эльфов колыханье,
 Не звук, а музыкальный дым
 Ходил над блеском ледяным.

5—6

Я не сказал бы, чтоб тогда
 Я был счастливее, чем прежде.
 Но если сад в былой одежде
 Теперь обуглен навсегда,
 Но если дом с балконом этим
 Мы больше никогда не встретим,
 То... — как бы это объяснить? —
 Какая-то на сердце нить
 Оборвана! И счастья нет.
 И словно что-то в нас убито.
 Воспоминанья без быта
 Чего-то требуют, как бред,
 Как если б ты проснал столетье,
 Очнулся — и виденья эти
 Стремлись поселить собой
 Любую щель и прах любой.

7

Вот тут был дом. Он должен быть!
 Такой же в точности — иначе
 Я существую, но не значу,
 Ведь «быть» еще не то, что «жить»,
 Когда хоронишь друга — это
 Ты сам частицею со света
 Уходишь. Что же значит «я»
 Без теплых связей бытия?

8

О современники мои,
 Седое с детства поколение!
 Мы шли в сугробах по колени,
 Вели железные бои,
 Сквозь наши зубы дым и вьюга
 Не в силах вытащить ни звука,
 Но столько наглотаться слез
 Другим до нас не довелось.

9

И вдруг из рупора, что вбит
 В какой-то треснувший брендмауэр,
 Сквозь эту ночь и этот траур,
 Невероятный этот быт —
 Смычки легко затрепетали,
 И, нежно выгибая тальи,
 В просветах голубых полос
 Лебяжье стадо понеслось.

10

Оно летело, словно дым
 От музыкального дыханья,
 В самом полете отдыхая,
 Струясь движенцем одним...
 Но той же линией единой
 Спустился поезд лебединый,
 От оперенья воздух сиз —
 И веет, веет *pas de six*¹.

11—12

Шестнадцатые из-под пог
 На рампу льдинками летели.
 Рой балерин игрой метели
 Снежинками летит в бинокль.
 Блистательны, полувоздушны,
 Смычку волшебному послушны,

¹ Танец шести (*франц.*).

То стан совьют, то разовьют,
И быстрой ножкой ножку бьют,
И разбегаются проворно,
И собираются вдали,
Волной кружила их валторна
И отрывала от земли,
Вздымала над второю третью.
В пургу завихривало медью,
Чтоб снова в дымке голубой
Их успокаивал гобой.

13

И вдруг все замерло. Столбы
Прожекторов над царством птичьим.
Пронзительным и страшным кличем
Проносится труба судьбы —
И вот, не оставляя следа,
Охваченная псней Леда
Над ледяною гладью вод
Наплывом белизны плывет.

14

Здесь крыльев нет. Здесь пух поблек.
Она лишь трепет лебединый.
За нею лебеди, как льдины,
Виолончель под ней, как бог!
Движеньем горестным и лунным
Она спускается по струнам,
И где-то на вершине сна
Сквозь душу движется она.

15

И я гляжу. И грезит сад
В какой-то дымке небывалой.
Кругом руины и обвалы,
Как зачарованы, стоят.
Все ближе задушевный лепет.
Перед тобой Царевна-Лебедь!
И вскинула ночная мгла
Ее метельные крыла.

Чаруй, метелица, чаруй!
Пари над миром, русский гений!
Ты утоляешь зной мучений
Прикосновеньем вьюжных струй...
И, словно дивной ворожбою,
Дома, что ранены пальбою
И сажею обожжены,
В лебяжий пух обряжены.

И все парит, парит она
Из сказки в черный порох были.
На пей, как бабушки любили,
И впрямь короною луна...
Ее глаза, как звезды, сини.
Она с тобой, душа России!
Ты узнаешь. Впиваешь ты
Ее любимые черты.

1943

ЛАЗУРЬ-ЦВЕТОК

Начну с того, что я нашел цветок.
Голубоглазый. Полный аромата.
Фашистских крыльев серая армада,
Подбив меня, уходит на восток.
За ней крупнокалиберная трель
Гремит по траекториям отлогим.
А мой У-2 тем временем сгорел,
Оставив память по себе ожогом.

Я вышел в поле. Запоздалый страх,
Пыланье пламени на лбу и злоба...
И вот подходит некая особа.
Не помню точно — врач или сестра.
Я отмахнулся от нее и сел
В неистовом и разъяренном виде.
(Из-под былинки на меня смотрел
Лазурь-цветок.

И я смотрел.

Не видя.)

А девушка? Но я ведь не со зла,
А просто нервы были до предела!
Но девушка спокойно подошла
И предо мной на корточки присела.
Так мило. Так по-детски. Что в ответ
И вы бы мягким поглядели взглядом.
И только тут я заприметил рядом
С ее глазами голубой жар-цвет.
Я ухватился за его сиянье,
Чтоб избежать другого.

Но глаза

Где сплавливались «можно» и «нельзя»,
Меня касались, точно осязанье.

Не помню уж, была ль тогда весна?
Наверное, была, раз это было —
Из глаз ее мне в душу избыточно
Блаженная текла голубизна.
Она лилась по опаленным жилам,
Как небо, перелитое в струю, —
И мир опять, как прежде, ставший милым,
Ласкает мысль угрюмую мою.

Я знаю, что ничем не заслужил
Вот это право слышать ваше имя,
Что этот праздник упоенных жил,
Глаза, мгновенно ставшие моими,
Что все это посвящено не мне,
А лишь таким, как я, — и все же, все же
В бездумности, с болезненностью схожей,
Я грезил в вашем голубом огне.

«О, господи, как я неприхотлив... —
Подумалось сквозь счастье покаянно. —
Меня объемлет маленький залив
Совсем-совсем чужого океана!»

Совсем чужого?

Но ведь ни она,
Ни я об этом слова не сказали.
Ну да — мы просто встретились глазами,
А рядом проросла голубизна.
И все. И только. Встретилась. Не боле.
Но этот взгляд мы унесем в семью:
Я в жизнь ее вошел своєю болью,
Как радостью она вошла в мою.
И, в сумку спрятав светик голубой,
Я жарко вспомню где-нибудь в походе,
Что как-то в поле я нашел любовь,
Как бирюзовый василек находят.

ПИСЬМО

Вс. Вишневскому

Ты спрашиваешь, друг мой, отчего
Из тех, кто возвращается живыми,
Не тот или другой, а большинство
Не почернели в орудийном дыме?

Нет, душу их не сморщила война.
Напротив: ей лиричное присуще,
Хотя в глазах вся армия видна,
Все пройденные степи, горы, пущи.

Попробую ответить, как умею.
Еще за милю от передовой
Я — только я. Всей частностью моею
Со всею сутолокой бытовой.

Но перейду на линию огня —
И сразу слышу тиканье в кармане...
И время возникает для меня
В каком-то сверхжизнейском пониманье.

Понятье «час» почти безмерно тут:
За час тут погибают батальоны,
Мы в пулях слышим посвисты минут
И дорожим одною биллионной!

И эта биллионная полпа
Таких домашних, комнатных видений...
Они торопятся: а вдруг она —
В небытие мгновенное введенье?

Но ты ни с кем не говоришь о ней.
Ты только злишься на метель, на пену...
(А это страх.) И так с десяток дней.
И вдруг ты замечашь перемену!

К Р Ы М

Как бой барабана, как голос картечи,
Звучит это грозное имя — «Крым».

Взрывом оно отзовется у Керчи,

У Качи трещаьем крыл,

Конским рыском по бездорожью,

Криком

пехотных

атак,

Горным эхом, степною дрожью,

В которых сливаются пушка и танк.

Гром! Искалеченные батареи...

Гром! Батальоны поднятых рук...

Но дальше, дальше! Быстрее, быстрее!

Степной

отстужает

круг —

А там перед нами каменный хаос...

Хазарским карком кличут орлы.

Овчарки навстречу бегут, задыхаясь,

А в них аромат Яйлы.

И сердце бьется чаще и чаще...

Я жду, обмирая, как от любви,

Я жду, как свиданья, как острого счастья,

Блеска морской синевы.

И вот поднимается меж тополями

Медленным

уровнем

с трех

сторон

В голубизне золотистое пламя —

Сол...

Море! Снова покой этих линий,

Таянье красок одних.

Мы его ласково звали «Синий».

Запросто. Как называют родных.

Море, море! Крымское море!

Юности моей зов...

Здесь мать, бывало, в тоскливом изморе
Ждала видения парусов;

Здесь мои сестры под утренним бризом
С купаленных свай обдирали улов
И дома с лавровым листом и рисом
Из мидий варили плов.

Здесь моя девушка пела, бледнея,
На красном заезде у самой воды,
И сладострастные волны за нею
Лизали божественные следы...

Крым! Золотой ты мой, задушевный,
Наш отвоеванный кровью Крым!
Да, твои города и деревни
Тлеют под пеплом седым,
Да, не узнаешь теперь Коктебеля,
Изуродован Корсиз,
Но это же

небо

при нас

голубело.

Этот

пенился

мыс!

Всё мы отстроим. Всё восстановим.
Слышите клики с Амура, с Невы?
Вновь наше знамя под нежным кровом
Нашей родной синевы.

Те же утесы. Прежние чащи.
«Сипий» по-старому необозрим.
И если

очень

захочется

счастья,

Мы с вами поедem в Крым!

СЕВАСТОПОЛЬ

К. Зелинскому

Я в этом городе сидел в тюрьме.
Мой каземат — четыре на три. Все же
Мне сквозь решетку было слышно море,
И я был весел.

Ежедневно в полдень
Над городом салютовала пушка.
Я с самого утра, едва проснувшись,
Уже готовился к ее удару
И так был рад, как будто мне дарили
Басовые часы.

Когда начальник,
Не столько врангелевский, сколько царский,
Пехотный подполковник Иванов
Решил меня побаловать книжонкой,
И мне, влюбленному в туманы Блока,
Прислали... книгу телефонов — я
Нисколько не обиделся. Напротив!
С веселым видом я читал: «Собакин»,
«Собакин-Собаковский»,
«Собачевский»,
«Собашников».

И попросту «Собака»,—
И был я счастлив девятнадцать дней.
Потом я вышел и увидел пляж,
И вдалеке трехъярусную шхуну,
И тузика за ней.

Мое веселье
Ничуть не проходило. Я подумал,
Что, если эта штука бросит якорь,
Я вплавь до капитана доберусь
И поплыву тогда в Константинополь
Или куда-нибудь еще... Но шхуна
Растаяла в морской голубизне.
Но все равно я был блаженно ясен:

Ведь не оплакивать же в самом деле
Мелькнувшей радости! И то уж благо,
Что я был рад. А если оказалось,
Что нет для этого причин — тем лучше:
Выходит, радость мне досталась даром.

Вот так слонялся я походкой брига
По Графской пристани, и мимо бронзы
Нахимову, и мимо панорамы
Одиннадцатимесячного боя,
И мимо домика, где на окне
Сидел большоголовой, коренастый
Домашний ворон с синими глазами.

Да, я был счастлив! Ну конечно, счастлив.
Безумно счастлив! Девятнадцать лет —
И ни конейки. У меня тогда
Была одна улыбка. Все богатство.

Вам нравятся ли девушки с загаром
Темнее их оранжевых волос?
С глазами, где одни морские дали?
С плечами шире бедер, а? И к тому же
Чуть-чуть по-детски вздернутые губки?
Одна такая шла ко мне навстречу...
То есть не то чтобы ко мне. Но шла.

Как бьется сердце... Вот она проходит.
Нет, этого нельзя и допустить,
Чтобы она исчезла...

— Вшиват! —

Она остановилась:

— Да? —

Глядит.

Скорей бы что-нибудь придумать.

Ждет.

Ах, черт возьми! Но что же ей сказать?
— Я... Видите ли... Я... Вы извините...

И вдруг она взглянула на меня
С каким-то очень теплым выраженьем
И, сунув руку в розовый кармашек
На белом поле (это было модно),
Протягивает мне «кренку». Вот как?!

Она меня за нищего... Хорош!

Я побежал за ней:

— Остановитесь!

Ей-богу, я не это... Как вы смели?

Возьмите, умоляю вас — возьмите!

Вы просто мне понравились, и я...

И вдруг я зарыдал. Я сразу вспомнил,

Что все мое тюремное веселье

Пыталось удержать мой ужас. Ах!

Зачем я это делал? Много легче

Отдаться чувству. Пушечный салют...

И эта книга... книга телефонов.

А девушка берет меня за локоть

И, наступая на зевак, уводит

Куда-то в подворотню. Две руки

Легли на мои плечи.

— Что вы, милый!

Я не хотела вас обидеть, милый.

Ну, перестаньте, милый, перестаньте...

Она шептала и дышала часто,

Должно быть, охняясь полумраком,

И самым шепотом, и самым словом,

Таким обворожительным, волшебным,

Чарующим, которое, быть может,

Ей говорить еще не приходилось,

Сладчайшим, соловьиным словом: «милый».

Я в этом городе сидел в тюрьме.

Мне было девятнадцать!

А сегодня

По черным трупам я шагаю снова

Дорогой Балаклава — Севастополь,

Где наша кавдивизия прошла.

На этом пустыре была тюрьма.

Так. От нее направо. Я иду

К пагорной улочке, как будто кто-то

Приказывает мне идти. Зачем?

Развалины... Воронки... Пепелища...

И вдруг среди пожараща седого —

Какие-то железные ворота,

Ведущие в пустоты синевы.

Я сразу их узнал... Да, да! Они!
И тут я почему-то оглянулся,
Как это иногда бывает с нами,
Когда мы ощущаем чей-то взгляд:
Через дорогу, в комнатке, проросшей
Сиренью, лопухами и пыреем,
В оконной раме, выброшенной взрывом,
Все тот же домовитый, головастый
Столетний ворон с синими глазами.

Ах, что такое лирика! Для мира
Непобедимый город Севастополь —
История. Музейное хозяйство.
Энциклопедия пмен и дат.
Но для меня... Для сердца моего...
Для всей моей души... Нет, я не мог бы
Спокойно жить, когда бы этот город
Остался у врага.

Нигде на свете
Я не увижу улочки вот этой,
С ее уклоном от небес к воде,
От голубого к синему — кривой,
Подвыпившей какой-то, колченогой,
Где я рыдал когда-то, упиваясь
Неудержимым шепотом любви...
Вот этой улочки!

И тут я понял,
Что лирика и родина — одно.
Что родина — ведь это тоже книга,
Которую мы пишем для себя
Заветным перышком воспоминаний,
Вычеркивая прозу и длинноты
И оставляя солнце и любовь.

Ты помнишь, ворон, девушку мою?
Как я сейчас хотел бы разрыдаться!
Но это больше невозможно. Стар.

ПЕСНЯ

Волна балтийская легка.
Кружится пена в лепете.
Летят под небом облака
Осанисто, как лебеди.

Они проходят лунный серп,
Слепым дождем звенят они,
И меховые почки верб
Нахохлятся зверятами.

— Куда летите, облака,
И много ль вами пройдено?
— Издалека, издалека
Домой, домой, на родину!

И я лечу за ними вдаль,
Охлестан пеной сивою.
Весна идет... Поет вода...
На родину! Счастливые.

На родину, где дом родной
На бугорке за чащею,
Где имя девушки одной
Как серебро звучащее.

Они над домом будут плыть,
Окутывая здание,
Они почуют, может быть,
Усталость ожидания,

И, может быть, задержат путь
Над девушкой угрюмою,
И занесут в девичью грудь
Любовь мою, тоску мою.

И станет боль ее как мед...
Она за сердце схватится!
Весенний ветер обоймет
Ее простое платье.

И в этом ветре голос мой
Почудится с усталости:
«Побью врага, вернусь домой —
Недолго ждать осталось»;

За мной Москва, за мной Эльбрус,
Но дальше рвется кровь моя!
Врага побью — домой вернусь,
Тоска моя, любовь моя...»

И тут мое серебро
Заплачет, расхохочется,
Целуя ветерок в лицо,
Лепеча все, что хочется.

*Замок Лунпило. 2-й Прибалтийский фронт
1945*

К Р Ы М

Бывают края, что недвижны веками,
Зарывшись во мглу да мох.
Но есть и такие, где каждый камень
Гудит голосами эпох,
Где и версты по горам не проехать,
Не обогнуть мыс,
Чтоб скальная надпись пль древнее эхо
Не пробуждали мысль,
Чтобы, пройдя сквозь туманы столетий,
Яснее дня становясь,
Вдруг величайшая тайна на свете
Не окликала вас.

На карте Союза — над синей маршной,
Раскинув оба крыла,
Парит земля осаки орлиной,
Подобье морского орла.
Какие же думы несутся навстречу?
Что видит он, птица Крым?
Во все эпохи военною речью
Всегда говорили с ним.

Были здесь орды, фаланги, когорты,
Кордоны, колонны и «цепь».
Школою битвы зовет себя гордо
Кровавая крымская степь.
Недаром по ней могильные знаки
Уходят во все концы,
Недаром цветы ее — красные маки
Да алые солонцы.

За племенем племня, народ за народом,
Их лошади да божества
Тянулись к просторам ее плодородным,
Где соль, вода и трава.
И не на чем было врагам примириться:
Враги попирали врагов.

Легендой туманились здесь киммерийцы
Еще на заре веков;
Но вот налетели гривастые скифы,
Засеяла степи кость —
И навсегда киммерийские мифы
Ушли, как уходит гость.

Затем прорываются рыжие готы
К лазури южных лагун;
Пришел и осел на долгие годы
Овсянный ржанием гуно;
Хазары кровью солили реки,
Татары когтили Крым,
Покуда приморье держали греки,
А греков

теснил

Рим,

Чтоб, наступая на польский панцирь
Медью швейцарских лат,
Дрались с генуэзцами венецианцы
Кровью наемных солдат.
Мешались обычаи, боги, жены,
Народ вливался в народ.
Где победивший, где побежденный —
Никто уж не разберет.
Копнешь язык — и услышишь нередко
Отзвуки чуждых фраз,
Семью копнешь — и увидишь предка
Непостижимых рас.

Здесь уж не только летопись Крыма —
Тут его вся душа.
Узнай в полукруглых бровях караима
Половца из Сиваша,
Найди в рыжеватом крымском еврее
Гота, истлевшего тут, —
И вникнешь в то, что всего мудрее
Изменчивостью зовут.

Она говорит языком столетий,
Что жизнь не терпит границ,
Что расам вокруг своего наследья
Изгородь не сохранить,



3. Илья Сельвинский после возвращения из Парижа.
1935 г. Москва.



4. Н. Ассев, И. Сельвинский, Б. Пастерпак. 1942 г.
Чистополь.

Что даже за спесью своей броненосной
Не обособлен народ,
А судьбы народа не в лепке носа,
Не в том, как очерчен рот.

Об этом твердит обомшелая дата
Любых горделивых плит.
Но вот в кургане царя Митридата
С биноклем засел замполит.
Вокруг за тонной взрывается тонна,
Над ней огневой ураган,
Но ухом черного телефона
Слушает царский курган:
Откуда-то голос девически чистый
Россию к трубке зовет:
— Сегодня германские коммунисты
К вам

приведут

взвод. —

В ответ произносит говор московский:
— Отлично. Благодарим.

И вот уже новой чертой философской
Обогатился Крым.
Исчезли и скифы, и гунны, и готы,
Как все, кто жил для себя;
Сгниют по дотам фашистские роты,
Клыками землю свербя,
Но над курганом фашиста и скифа,
Над щепками их древка
Подхвачено ветром и будет живо
Знамя большевика.

Страна Советов! Ясна твоя тайна:
Ты быт превратила в путь!
Ты стала, отчизна моя, не случайно
Навек свободна от пут —
Твой гений, себя грядущему отдав,
Обрел над будущим власть,
Недаром стая отважных народов
В полет с тобой поднялась.

Пусть у одних раскосые веки,
Прямые пусть у других,
Но сходство одно спаяло навеки
Гордые души их:
Оно порождает новую расу
Под дикий расистский рев.
Мы те, кто трудом пролагает трассу
В мир, где не будет рабов.

1945

ШУТКА

Рана — дело честное. Простое.
Ежели не в сердце, не в живот,
Тут и беспокоиться не стоит:
 Поболит и заживет.

Но зато контузия-злодейка,
Как ни выкликай и ни зови,
Красноглазой озорною змейкой
Навсегда заводится в крови.

То свернется этаким манером
И как будто надолго уснет,
Вдруг очнется — и давай по нервам
Бить хвостом, не разбирая пот.

Милая. Родная. Дорогая.
Я не говорю, что ты змея.
Пусть была мне раною другая,
 Ты — контузия моя.

1945

КТО МЫ!

Еще не все подведены итоги,
Не все еще вопросы решены,
Но время гонит — и в его потоке,
Как льдины, тают вековые сны.

Есть предрассудки хуже суеверий.
Давно ушли, язычество пленив,
И чудо-птицы, и чудные звери,
А все еще в России видят... миф.

Его связали с колдуном Бояном,
С ковыль-травой да шкурами орды
Не для того ль, чтоб этим обаяньем
Совсем иные замести черты?

Зайди в любое русское село,
Тасжное, прибрежное, степное, —
Вглядишься в него, отбросив наносное,
Когда тебя не ложью занесло:

Тут лешака не поднимают совы,
Зато иной зеленогривый дед
Перед колхозом — языком Толстого
Толкует про былой про недоед.

Не зря он дружбу с коммунизмом водит:
Печется он не о своем дому,
Он мир честной на линию выводит,
Гудя баском в махорочном дыму...

Но европеец так уютно свыкся
С языческой «тайною» Руси,
Что видит в ней загадочного сфинкса,
Живой души не чуя и вблизи.

Эсерщина Европу пропитала
Певучей дудкой леших да пишиг,
Их поощряли боги Капитала:
Им по сердцу Москва á la moujike ¹.

Им выгодна российская отсталость,
Лесная дичь, хлыстовство, колдовство...
Все это в европейце отстоялось,
Коснулось философии его, —

И он прикован к образам привычным,
Он смотрит в пожелтевшие очки...
Летит Мересьев небом заграничным,
Корчагины ведут броневики,

И с «диамамом» в сумке над коленкой,
Едва под каской косы заколов,
На дончаке Людмила Павличенко
Глядит поверх восторженных голов.

Но... горестно прихлебывая кофе,
Политики из модного кафе,
Не нюхавшие пороха и крови,
Ни звука не понявшие в Москве,
Качают головою попугая,
Друг друга элегически пугая:

— Да... Все как древле... Сбитые короны,
Лоскутья карты и солдатский суд,
И так же по столице покоренной
В дыму пожара полчища идут,
А мы, как римляне перед ордой,
Мы угасаем в дымке золотой...

О ты, неугасающая пошлость!
Просачиваясь гнусно сквозь века,
Как запах, путешествуя без пошлин,
Ты отравляешь мир исподтишка.

Наивничать не время и не место.
Что воскресило ваш закатный пыл?
Неведомый вам дух красноармейца
Отрекомендоваться позабыл?

¹ Мужичка (франц.).

Извольте: ваш сосед! Его держава —
Та золотая Русь, что встарь
Костями у ваших замков задержала
Из Азии пахлынувших татар;

Та истовая, что во время бно,
Заслыша Бонапартовы шаги,
Развеяла орлов Наполеона,
Всем племенам вернувши очаги;

Та самая, что, выходя на тропы,
Где проходила конница отцов,
Омыла кровью площади Европы
От черной желчи гитлеровских псов.

Еще не все подведены итоги,
Но Скифия давно уж ни при чем.
Обдумайте державу на Востоке,
Европу отстоявшую плечом!

Мы душу, как святыню, пронесли
Сквозь иго хана, сквозь муштру царя,
Не потому ли в пасмурной России
Могла взойти Октябрьская заря?

И, вынесшие кандалы да плети,
Куда бы судьбы нас ни занесли,—
Мы принимаем первыми на плечи
Любое горе матери-земли.

Нет, мы не скифы. Не пугаем шкурой.
Мы пострашней, чем копыеносный бой.
Мы — новая бессмертная культура
Мильонов, осознавших гений свой.

Нам не нужны ни ваши цитадели,
Ни пахоты, ни слитки серебра,—
Поймите же: иной, великой цели
Народ-мыслитель посвятил себя.

Как эти танки заняли дороги,
Так и уйдут, когда увидим прок.
Еще не все подведены итоги,
Но к вам пришла Россия как пророк!

Кенигсберг
1945

МИР

* * *

Я в детстве рос без игрушек
(Убог был отцовский очаг),
Всегда я пуждался в ружьях,
Лошадках и мячах.

Но грусть не чадила зловеще
В отчаянии, как свеча, —
Играл я во всякие вещи,
Какие в рекламе встречал:

Яхты вывесок ярких,
Омары плакатных морей,
Бред путешествий на марках —
Все стало детской моей.

Но не был я жалок при этом.
Напротив: в убогой глуши
Я, может быть, стал поэтом
От прршества детской души.

Умчались годы ребячьи...
Утих мой голодный пыл.
Теперь я чуть побогаче —
Игрушек и я накупил.

Но жажда простора все шире,
И пачал я снова копить
Богатство, которое в мире
На золото не купить:

Ловлю я в народных заботах,
Что миру священной креста,
Стоцветную грезу рабочих
Да радугу-думу крестьян;

Любое свидчество массы
Над кругом двора да семьи —
Вот они где, алмазы
Сверкающие мои!

И что мне мои неудачи,
Что ходят за мной по пятам?
Я с каждым годом богаче
И этой судьбы не отдам.

1934

ПРЕЛЮД

Черный лебедь, похожий на ноту,
Голубое перо обронил,
Голубое, как если бы кто-то
Обмакнул его в пену чернил.

Не поднять ли его поэту
И творить, опьяняясь былым?
О, не им ли так много воспето?
Не по праву гордимся ли им?

Не его ли пушистою негой,
Поколенью в укор моему,
Был написан «Евгений Онегин»,
Гордый «Демон» и «Горе уму»?

Так поднять ли его, голубое,
И конец положить суете?
Нет, останусь самим собою:
Век не тот и задачи не те.

Красоту отошедшей эпохи
Ст нес оторвать нельзя;
Ни к чему не придем в эпилоге,
Лебединый писчик грызя.

Пусть его облакает величье,
Эполет и дуэлей пора —
Коммунизму перо это птичье
Не заменит стального пера.

Вот в коробочке из-под старых
Граммфонных иголок «смит»
Среди ключиков, запонок, марок
Его скользкое тельце блестит.

Словно рыбка! Да нет, не рыба:
Несгибаем стальной хребет.
Да и в самой музыке скрипа
Никакого подобия нет.

За сравнениями охотясь,
Плавнички оглядев да хвост,
Угадал я в нем самолетец,
Долететь способный до звезд.

Мы в искусстве не прихожане,
И давненько усвоить пора б,
Что традиция не подражанье,
Ученик далеко не раб,

И уж если дано мне родиться
Там, где будущего оплот,
То из русских великих традиций
Я беру основное: полет!

Не хочу я искусственной рампы,
Мне бы солнце пустить на литье,
А уж ямбы или не ямбы —
Это, граждане, дело мое.

Закопченный в дыму сражений,
Не терплю идеалов пустых:
Нет поэзии совершенной:
Есть живой или мертвый стих.

1934

СОНЕТ

Бессмертья нет. А слава только дым.
И надыми хоть на сто поколений,
Но где-нибудь ты сменишься другим
И все равно исчезнешь, бедный гений.

Истории ты был необходим
Всего, быть может, несколько мгновений...
Но не отчаивайся, бедный гений,
Печальный однодум и пелюдим.

По-прежнему ты к вечному стремись!
Пускай тебя не покидает мысль
О том, что отзвук из грядущих далей
Тебе нужней и лавров и медалей.

Бессмертья нет. Но жизнь полным-полна,
Когда бессмертью отдана она.

1943

* * *

Кого баюкала Россия
Душевной песнею своей,
Того как будто оросила
Голубизна се степеней.

Нам нежность — первая наука...
Заветом племени дыша,
Дремучий дед ласкает впука
Словами — «голуба-душа».

Сама как русская природа
Душа народа моего:
Она пригреет и урода,
Как птицу, вы́ходит его,

Она не выкурит со света,
Держась за придури свои, —
В ней много воздуха и света
И много правды и любви.

О Русь! Тебя не старят годы.
Ты вся — из выси голубой.
Не потому ли все народы
Так очарованы тобой.

Но если где какая сила,
Грозя,
 брячая
 и трубя,
Моя теплынь, моя Россия,
Протянет когти на тебя, —

Ты льдами двинешься по грозам...
И от жилья и до жилья
Пойдет стучаться дед-морозом,
Звуча кольчугою, Илья.

И вновь, исполненные веры,
Восстанут с яростным «ура»
Суворовские гренандеры
За батареяцами Петра,

Чтобы, на славу их надеясь,
Россия встала полной сил,
Чтоб Красной Армии гвардеец
Брага навьлет пригвоздил.

О, край улыбки безмятежной,
Страна атаки головной.
Напиток бешеный и пежный,
Где смесь пурги с голубизной.

Январь 1943 г.

В ЗООПАРКЕ

Здесь чешуя, перо и мех,
Здесь хохот, рев, рычание, выкрик,
Но потрясает больше всех
Философическое в тиграх:

Вот от доски и до доски
Мелькает, прутьями обитый.
Кружение пьяное обиды,
Фантасмагория тоски.

1945

* * *

Вот и мы живем не страдая,
Как мечталось нам, так и вышло.
Только стала чуть-чуть седея,
Только губы не пьяные вишни,
Да и нет уж походки плавной,
И привыкли глаза к укоризне...

В жизни можно добиться правды,
Но на это не хватит жизни.

1946

ТРУД

(Философский эскиз)

О. Резнику

Есть в труде такое же величье,
Как в больших сраженьях на войне:
Та же карта — обозримость птичья,
Где масштабы с фронтом наравне,
Тот же план, и в этом четком плане
Те же штурмы, где за брата брат,
Стяга боевое полыханье,
Воля наступающих бригад.

Есть в труде такое же волненье,
Как и в сотворении стиха:
Здесь иное чудное мгновенье
До слезы проймет из пустяка —
И глядит сталелитейный лирик,
Не узнать знакомого лица...
Это унесла его на крыльях
Муза вдохновенного литья.

Есть в труде такое же познанье,
Как в академических томах:
По былинке, по его качанью
Пахари пророчат о громах,
Рыбаку не водная ль утроба
Лунные повадки выдает?
Любопытство — древняя учеба —
Все науки двигает вперед.

Но ведь воля, чувство и мышленье,
Друг для друга действовать снесьа,
Создают то самое явление,
Что звалось по-старому *душа*.
Значит, если мыслить без рутинны,
Ясно, что душа и труд — едины.

А отсюда очень важный вывод!
Труд — основа нравственности всей.
Труженик душою не фальшивит,
Спекулянт же вечно фарисей.
Фарисею идеал не пужен:
Бог ли, черт ли — он и там и тут.
Значит, нетрудящийся бездушен,
Значит, и бездушные не труд.

И затем еще одно, пожалуй...
Хочется сказать мне иногда!
Красота берет свое начало
В одухотворенности труда.
Все, на что я, мастер, посмотрю,
Приобщается великой тайне:
В мире все, чего коснется труд,
Обретает душу и дыхание.

Видишь мрамор? Это просто кальций.
Химия. Породистый кристалл.
Но коснулись этой глыбы пальцы —
И Венерой вышла красота.
Так во всем и всюду. Пусть природа
Часто безупречно хороша,
Но волнует глубже труд народа,
Потому что труд и есть душа.
Как ни скорбно ивы нынче пели
Под плаксивый дождика мотив,
Но рыдание виолончели
Трогательней всех плакучих ив:
Все слилось вот в этой струнной гамме,
И недаром, выходя из нот,
Дерево с плакучими ветвями
На концерте под дождем поет.

Кстати, ивушку задевши краем,
Я скажу при всей любви моей:
Мы ведь сами иву паделаем
Жественностью наших матерей,
Мы ведь сами заставляем плакать
Равнодушный дождик иногда,
А без нас — ведь это только слякоть,
Просту холодная вода.

Отчего, когда глядим на волны,
Видим вечность и судьбу людей?
Отчего, почуя ветер вольный,
Чувствуем мы свежесть наших дней?
Отчего пургу зовем «седою»,
«Шепот» слышим там, где камыши?
Оттого, что втайне красотою
Мы зовем полет своей души.
Что способно вызвать это чувство,
То красиво. В этом суть искусства.
Но ведь чувство зреет век от века.
Красота с развитием заодно.
Где предел полету человека,
Вырастать которому дано?
Кандалов распиливая звенья,
Покоряя за верстой версту,
Мощные народные движенья
Всюду открывают красоту.
Даже то, что не было красиво,
Вдруг в большой неповторимый час,
Грянув о сердца, как об огнива,
Полымем охватывает нас.

Если есть на свете божество —
Это труд и чудеса его.
Древле сделав зверя человеком,
Все мечтанья обостряя в мысль,
Труд ведет историю по векам
Поступью железной в коммунизм,
И под ритмы поступи железной,
Ощущая труд, как волшебство,
Вырастает пламенный и честный
Век — душа народа моего.

О РОДИНЕ

За что я родину люблю?
За то ли, что шумят дубы?
Иль потому, что в ней ловлю
Черты и собственной судьбы?

Иль попросту, что родился
По эту сторону реки —
И в этой правде тайна вся,
Всем рассуждениям вопреки.

И, значит, только оттого
Забуть навеки не смогу
Летучий снег под рождество
И стаю галок на снегу?

Но если был бы я рожден
Не у реки, а за рекой —
Ужель душою пригвожден
Я был бы к родине другой?

Ну, нет! Родись я даже там,
Где пальмы дальние растут,
Не по судьбе, так по мечтам
Я жил бы здесь! Я был бы тут!

Не потому, что здесь поля
Пшеницей кланяются мне,
Не потому, что конопля
Вкруг дуба ходит в полусне,

А потому, что только здесь
Для всех племен, народов, рас,
Для всех измученных сердец
Большая правда родилась.

И что бы с нею ни стряслось,
Я знаю: вот она, страна,
Которую за дымкой слез
Искала в песнях старина.

Твой путь, республика, тяжел.
Но я гляжу в твои глаза:
Какое счастье, что нашел
Тебя я там, где родился!

1947

* * *

Тате Сельвинской

Не в клетушке, не в темнице,
Не забившись в уголок —
На руке, на рукавице
Жил чубатый соколок.

Изо рта его кормили,
Пухом перышки мели,
Не бранили, не корили,
Ублажали, как могли.

Так и рос он без печали,
Не ведя и счету дням,
Но раскосыми очами
Все стрелял по сторонам.

И дождалась птица срока —
Крылья вскинула легко...
Ты лети, лети, мой сокол,
Высоко и далеко!

Если ж буря приключится,
Подомнешь свои крыла —
Не забудь о рукавице,
Что ежовой не была.

1947

ОТЧИЗНА

Два чувства равно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Пушкин

Любовь к отечеству была
Любовью к дедовским могилам,
Любовью к славе, что плыла
Над краем бесконечно милым,

Любовью к матери своей,
Что вечно сердцем пасторбже,
Которая для сыновей
Чем сгорбленнее, тем дороже.

Ты за нее костями ляг!
Ты за нее — сквозь ураганы!
Но родина не только шлях,
Где дремлют скифские курганы.

Ее культура не музей,
Она не вся в наследье предка —
Она в делах твоих друзей,
С отцами спорящих нередко.

Умей в грядущее взглянуть
И в нем найти отчизну снова,
Чтобы твоя дышала грудь
Не только дымкою былого.

Нам все бывшее по плечу,
Все, что оставили века нам!
Да, дед высок. Но я хочу,
Чтоб сын мой вырос великаном.

Держась за дедово древко,
Не опьяняй же дремой сердце.
Как прошлое ни велико,
Как мы ни чтим его бессмертье,

Но века завтрашнего зов
Могущественнее, чем тризна.
Не только край твоих отцов,
Но край твоих детей — отчизна.

1948

* * *

Все девки в хороводе хороши,
Здесь кажется красавицей любая —
Вон ту расцеловал бы от души!
Но вытащи ее на свет: рябая.

Не так ли и строка стихотворенья?
Вглядишься — не звучна и не стройна,
Вернешь ее стихиям — и она
Вся пламя, вся полет, вся вдохновенье!

1949

В ОПЕРАЦИОННОЙ

Л. Озерову

В белых колпаках и полумасках
Люди копошились надо мной.
Я лежал в каких-то ядах вязких,
Голый, выпотрошенный, срамной.

Я тогда, наверное, был жуток.
Доктор — алкоголик и добряк —
Вытащил на божий свет желудок
И сказал спросонья: «Рак».

Я увидел тишистую воду,
Тени окружающих лозин...
Там, должно быть, в тихую погоду
Раки лезли в глубину корзин.

Хорошо над этою рекою
В гробике бы, скорчившись на треть...
Только бы оставили в покое,
Дали потихоньку умереть.

Надоело обрываться с верха
В заболоть унылого житья.
Бился я всегда за Человека,
А меня боялись не шутя,

И выходит, не был я ползлец,
Как пилот, что ездил на быках.
Может быть, и вся моя болезнь —
Разочарование в богах.

Голос мой на шпиг громоотвода
Вечно нарывался потому.
Тишина... Лоза глядится в воду...
Сладко здесь могильному холму.

Только подымается все выше
У воды тенистая лоза,
И пад марлевой повязкой вижу
В зеленинке женские глаза.

Чьи они? Всю душу им вверяя,
Чувствую: из самых из родных,
Жаркий живчик из земного рая
Перепрыгнул в кровь мою от них.

В барабанных перепонках — трельки,
Сердце трепыхнулось, как турман,
Полутруп с желудком на тарелке
Слабо улыбнулся сквозь дурман.

Вспомнилось про молодость, про солнце,
Потянуло драться и дружить...
Алкоголик поглядел спросонья:
— А пожалуй, будет жить!

1950

* * *

Не верьте моим фотографиям,
Все фото на свете — ложь.
Да, я не выгляжу графом,
На бурлака непохож,

Но я не безликий мужчина.
Очень прошу вас учесть:
У меня, например, морщины,
Слава те господи, есть;

Тени — то мягче, то резче,
Впадина, угол, изгиб —
А тут от немыслимой ретуши
В лице не видно ни зги.

Такой фальшивой открытки
Приятелю не пошлешь.
Но разве не так же в критике
Встречается фотоложь?

Годами не вижу счастья,
Как будто бы проклят роком!
А мне иногда пенарском
И правду сказать случается,

А я человек с теплыню.
Но критик,
на руку шибкий,
Ведет и ведет свою линию:
«Ошибки, ошибки, ошибки...»

В стихах я решаю темы
Не кистью, а мастихином,
В статьях же выгляжу схемой
Наперекор стихиям:

Глаза отливают гравием,
Проматов гул нестихаем...

Не верьте моим фототрафциям:
Верьте моим стихам!

1953

* * *

Предоставьте педагогику педагогам.

Ленин

Не я выбираю читателя. Он.
Он достает меня с полки.
Оттого у соседа тираж — миллион.
У меня ж одинокие, как волки.

Однако не стану я, лебезя,
Обходиться сотней словечек,
Ниже писать, чем умеешь, нельзя —
Это не в силах человечьих.

А впрочем, говоря кстати,
К чему нам стиль «вот такой нижины»?
Какому ничтожеству нужен читатель,
Которому
стихи
не нужны?

И все же немало я сил затратил,
Чтоб стать доступным сердцу, как стои.
Но только и ты поработай, читатель:
Тоннель-то роется с двух сторон.

1954

ИЗ ДНЕВНИКА

Да, молодость прошла. Хоть я весной
Люблю бродить по лужам среди березок,
Чтобы увидеть, как зеленым дымом
Выстреливает молодая почка,
Но тут же слышу в собственном боку,
Как собственная почка, торжествуя,
Стреляет прямо в сердце...
Я креплюсь.
Еще могу подтрунивать над болью;
Еще люблю, беседуя с врачами,
Шутить, что «кто-то камень положил
В мою протянутую печень», — все же
Я знаю: это старость. Что поделать?
Бывало, но-бирючьи голодал,
В тюрьме сидел, был в чумном карантине,
Тонул в реке Камчатке и тонул
У льдины в Ледовитом океане,
Фашистами подрапен и контужен,
А критиками заживо зарыт —
Чего еще? Откуда быть мне юным?

Остался, правда, у меня задор
За письменным столом, когда дымок
Куруется из чернильницы моей,
Как из вулканической сопки. Даже больше:
В дискуссиях о трехэтажной рифме
Еще могу я тряхануть плечом
И разом повалить цыплячьей роты
Высокоцитимых оппонентов — но...
Но в Арктику я больше не ходок.
Я столько видел, пережил, продумал,
О стольком я еще не написал,
Не облегчил души, не отрыдался,
Что новые сокровища событий
Меня страшат, как солнечный удар!

Ну и к тому же сердце...

Но сегодня,

Раскрывши поутру свою газету,
Я прочитал воззвание к молодежи:
«ТОВАРИЩИ, НА ЦЕЛИНУ!

ОСВОИМ
ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ГА СТЕПЕЙ
ЗАВОЛЖЬЯ, КАЗАХСТАНА И АЛТАЯ!»

Тринадцать миллионов... Что за цифра!
Какая даль за нею! Может быть,
Испания? Нет, больше! Вся Канада!
Тринадцать... М?

И вновь заныли раны,
По старой памяти просясь на фронт.
Пахнуло ветром Арктики! Что делать?

Гм... Успокоиться, во-первых. Вспомнить,
Что это ведь воззвание к молодежи,
А я? Моя-то молодость, тово...
Я грубо в горсть ухватываю печень.
Черт... ни малейшей боли. Я за почки:
Дубасю кулаками по закоркам —
Но хоть бы что! Молчат себе. А сердце?

Тут входит оживленная жена:

— Какая новость! Слышал?

— Да. Ужасно.

Прожить полвека, так желать покоя
И вдруг опять укладывать в рюкзак
Свое солдатство. А?

— Не понимаю.

— А что тут, собственно, не понимать?

Ну еду... Ну, туда бишь... в это... как там?

(Я сунул пальцем в карту наугад.)

Пишите, дорогие, в этот город!

Зовется он, как видите, «Кок...», «Кок...»

(Что за петушьё имя?), «Кокчетав».

Вот именно. Туда. Вопросы будут?

ЦЕЛИННИКИ

Буря мглою небо кроет.
Но, плечисты и остры,
По столичному покрою
Размещаются шатры.
Эй, аул! На землях отчих
Новым племепем гордись:
Зоотехник, и учетчик,
Да прицеппщик, да радист,
Повелитель кооплавок
(Воздыхания предмет!),
Плюс директор и вдобавок
Кю всему еще поэт.

И взирают гуртоправы
И друг дружке гуторят,
Как пришел из Кокчетова
Пятитонками отряд,
Как над ним стреляли флаги,
Как на первых на порах
Не простой — оседлый лагерь
Вздулся в белых парусах.

На глубинах Казахстана
Льются песни, что ключи.
Не узнаешь нынче стана:
Горцы, двинцы, москвичи,
Беломоры, ливадийцы,
Запорожье, Кострома —
Все разумные девицы
И мальчишки без ума!

Юность, юность золотая,
Что тебе не по руке?
На глубинку залетая,
Ты, как прежде, налегке.

Отбомбься в анкетных данных,
Торопясь, как на войну,
Привезла ты в чемоданах
Лишь бельишко да весну,
Лишь четверки да пятерки
Ну и, кстати, звуки лир:
У одних «Василий Теркин»,
У других «Война и мир».

Что поделаешь, товарищ?
В комсомоле разнобой...
К сожалению, не спаришь
Разных вкусов меж собой,
К сожалению ли, к счастью
Тропы всякие окрест:
Гармонист пленяет Настю,
А Наташе дай оркестр.

Но за самое за это
Чуть дискуссия, — как пить! —
Ребятня невзвидит света,
В ложке может утопить.
И взирают гуртоправы,
Длинноусы, как жуки:
— Удивительные, право,
Нынче, братцы, мужики!

Кзыл-Ту
1954

ТРАКТОР С - 80

Есть вещи, знаменующие время.
Скажи, допустим, слово «броневик» —
И пред тобой гражданская, да Кремль,
Да в пулеметных лентах большевик.

Скажи «обрез» — и, матюги обруша,
Махновщина среди зелена-вина!
А в милом русском имени «Катюша»
Всплывет Отечественная война.

Тут вещи словно образы, — не так ли?
В них класс и философия его.
Вот я гляжу на этот новый трактор,
На флаг его, задорный, заревой,

На гусеничьи ленты в курослепе,
На фары, где застряли ковыли,
На мощное стекло, в котором степи
Как будто сами карту обрели,

И думаю о том, что в этой вещи,
Со стенда залетевшей в глухомань,
Не только мая радостные вести —
Коммуны отшлифованная грань.

*Село Боровое
1954*

ШУМЫ

Кто не знает музыки степей?
Это ветер позвопит бурьяном,
Это заскрежещет скарабей,
Перепел пройдет с барабаном,
Это змейка вьется и скользит,
Шебаршит полевка-экономка,
Где-то суслик суслику свистит,
Где-то лебедь умирает громко.

Что же вдруг над степью попелось?
Будто бы шуршапье, но резины,
Будто скрежет, но цепных колес,
Свист, но бригадирский, не крысиный —
Страшное, негадающее тут:
На глубинку чудища идут.

Все живое замерло в степи...
Утка, сядь! Лисица, не ступи!
Но махины с яркими глазами
Выстроились и погасли сами.
И тогда-то с воем зимних вьюг
Что-то затрещало, зашипело,
Шум заметно вырастает в звук:
Репродуктор объявил Шопена.

Кто дыханием пежнсейшей бури
Мир степной мгновенно покорил?
Словно плеском лебединых крыл
Руки плещут по клавиатуре!
Нет, не лебедь — этого плесканья
Не добьется и листва платанья,
Даже ветру не произвести
Этой дрожи сладостной до боли,
Этого безмолвия почти,
Тишины из трепета бемолей.

Я стою среди глухих долин,
Маленький и все же исполнил.

Были шумы. Те же год от года.
В этот мир вонзился мир иной:
Не громами сбита природа —
Человеком созданная. Мной.

*Берликский совхоз
Кочетавской обл.
1954*

НОЧНАЯ ПАХОТА

В темном поле ходят маяки
Золотые, яркие такие,
В ходе соблюдая мастерски
Планировок линии тугие.

Те вон исчезают, но опять
Возникают и роятся вроде,
А ближайšie на развороте
Дико скосоглазятся — и вспять!

И плывут, взмывая над бугром
Тропкою, намеченною строго;
И несется тихомирный гром,
Мощное потрескиванье, стрекот,

Словно тут средь беркутов и лис —
Всех созвездий трепетней и чище —
Этой ночью бурно завелись
Непомерной силы светлячища...

На сухмень, на допотопный век,
Высветляя линии тугие,
Налетела добрая стихия,
И стихия эта — Человек.

Кзыл-Ту
1954

СОНЕТ

Правду не надо любить: надо жить ею.

Воспитанный разнообразным чтивом,
Ученье схватывая на лету,
Ты можешь стать корректным и учтивым,
Изысканным, как фигурист на льду.

Но чтобы стать, товарищи, правдивым,
Чтобы душе усвоить прямоту,
Нельзя *учиться* видеть правоту —
Необходимо сердцу быть огнивом.

Мы все правдивы. Но в иные дни
Считаем правду не совсем удобной.
Бестактной, старомодной, допотопной —

И гаснут в сердце искры и огни...
Правдивость гениальности сродни,
А прямота пророчеству подобна!

1955

**СТИШОК ДЛЯ ДЕТЕЙ,
А ТАКЖЕ И ДЛЯ ИХ РОДИТЕЛЕЙ**

Правдивость, дети, нам нужна
Не только в честном слове.
Правдивость надобно беречь,
Как берегут здоровье.

Ведь с ней душа всегда стройна,
А без нее горбата,
Она хранит не только честь,
Но даже ум, ребята,—

Отвыкнув правду говорить,
И мыслить отвыкают.
Ты там соврешь, ты тут соврешь,
И сам в свою поверишь ложь,
 Так всегда бывает.

1955

* * *

Вам говорю, блюдолизам,
Работающим
 пито-крыто,
Готовым социализм
Сменить на свиное корыто,
Не смейте болтать праздно
О дружбе, свободе и счастье!
Народу
 пужна
 Правда:
Чем горше она, тем слаще.

1956

ПРЕЛЮД

Вот она, моя тихая пристань,
Берег письменного стола...

Шел я в жизни, бывало, на приступ,
Прогорал на этом дотла.
Сколько падал я, подымался,
Сколько ребер отбито в боях!
До звериного воя влюблялся,
Ненавидел до боли в зубах.
В обличении лживых «истин»
Сколько глупостей делал подчас —
И без сердца на тихую пристань
Возвращался, тоске подчинясь.

Тихо-тихо идут часы,
За секундой секунду чекая,
Четвертушки бумаги чисты.
Перья
 дремлют
 в стакане.
Как спокойно. Как хорошо.
Взял перо я для тихого слова...

Но как будто
 я поднял
 ружье:
Снова пламя! Видения снова!
И опять штормовые дела —
В тихой компате буря да клики...

Берег письменного стола.
Океан за ним — тихий. Великий.

1957

СОНЕТ

Я испытал и славу и бесславье,
Я пережил и войны и любовь:
Со мной играли в кости югославы,
Мне песни пел чукотский зверолов;

Я слышал тигра дымные октавы.
Предсмертный вой эсэсовских горилл;
С Петром Великим был я под Полтавой,
А с Фаустом о жизни говорил.

Мне кажется, что я живу на свете
Давнее давнего... Тысячелетье...
Я видел все! Чего еще мне ждать?

Но, глядя в даль с ее миражем сизым,
Как высшую хочу я благодать —
Одним глазком взглянуть на коммунизм.

1957

* * *

А то еще бывает так:
Ты мал, ты скуден, ты простак...
Не верь! Все это плутовство.
Вон небеса. Гляди туда —
Смотри: от взгляда твоего
Раздваивается звезда.

1958

КАРУСЕЛЬ

Шахматные кони карусели
Пятнами сверкают предо мной.
Странно это круглое веселье
В суетной окружности земной.

Ухмыляясь, благостно-хмельные,
Носятся (попробуй пресеки!)
Красные, зеленые, стальные,
Фиолетовые рысак.

На «кобылке» цвета капарейки,
Словно бы на сказочном коне,
Девочка на все свои копейки
Кружится в блаженном полусне...

Девочка из дальней деревеньки!
Что тебе пустой этот забег?
Ты бы, милая, на эти деньги
Шоколад купила бы себе.

Впрочем, что мы знаем о богатстве?
Дятел не советчик соловью.
Я ведь сам на солнечном Пегасе
Прокружил всю молодость свою:

Я ведь сам, хмелея от удачи,
Проносясь по жизни, как во сне,
Шахматные разрешал задачи
На своем премудром скакуне.

Эх ты, кляча легендарной масти!
На тебя все силы изведя,
Человечье упустил я счастье:
Не забил ни одного гвоздя.

1958

ТРАГЕДИЯ

Говорят, что композитор слышит
На три сотни звуков больше нас,
Но они безмолвствуют иль свищут,
Кляксами на ноты устремясь.

Может быть, трагедия поэта
В том, что основное не далось:
Он поет, как птица, но при этом
Слышит, как скрипит земная ось.

1958

СКАЗКА

Толпа раскололась на множество группок...
И, заглушая трамвайный вой,
Три битюга в раскормленных крупах —
Колоколами по мостовой!

«Форды», «паккарды», «испано-сюнзы»,
«Оппель-олимпии», «шевроле» —
Фары таращат в бензинщине сизой:
Что, мол, такое бежит по земле?

А мы глядим, точно тронуты лаской,
Точно доверясь мгновенным снам:
Это промчалась русская сказка,
Древнее детство вернувшая нам.

1959

* * *

Граждане! Минутка прозы:

Мы

в березах —

ни аза!

Вы видали у березы

Деревянные глаза?

Да, глаза! Их очень много

С веками, но без ресниц.

Попроси лесного бога

Эту странность объяснить.

Впрочем, все простого проще.

Но в народе говорят:

Очень страшно, если в роще

Под луной они глядят.

Тут хотя б молчали совы

И хотя б не был бирюк —

У тебя завоюет совесть.

Беспричинно.

Просто вдруг.

И среди пеньков да плешин

Ты падешь на колею,

Воция:

«Казните! Грешен:

Писем бабушке не шлю!»

Хорошо бы под луною

Притащить сюда того,

У кого кой-что иное,

Кроме бабушки его...

1959

* * *

Поэт, изучай свое ремесло,
Иначе словам неудобно до хруста,
Иначе само вдохновенье — на слом!
 Без техники
 нет искусства.

Случайности не пускай на порог,
В честности
 каждого слова
 уверься!

Единственный
 возможный в поэзии порок —
 Это порок сердца.

1959

О С Е Н Ь

Гпедые да буланые дубы
Линяют к осени звериной шерстью.

Что я умел? Я только мог любить,
Я только сердцем порывался к сердцу.
Любовь связала питью лучевой
Меня с народом, с миром, со вселенпой,
Она вставала из любого тлена
И вновь творила все из ничего...
Я жил и вечно слышал за собой
Ее дыхание, как запах сада,
Полярной стужею дыша с насадой,
Из красных плавней подымаясь в бой
Или разрухе скармливая печень.
Но оттого, что я всегда светил,
Что молнии души ей посвятил,
Я очень мало посвящал ей песен.
Да и к чему сонеты да баллады?
Ведь ты испепеляла каждый стих,
Во мне самой поэзией была ты.
Я сквозь любовь бессмертие постиг.

Но стонет осень стоном стратотерпца...
Листва сошла.
И встали на дыбы
Чудовищные мамонты-дубы.
Ужасные.
С изображеньем сердца.

1959

* * *

Трижды женщина его бросала,
Трижды возвращалась. На четвертый
Он сказал ей грубо: — Нету сала,
Кошка съела. Убирайся к черту!

Женщина ушла. Совсем. Исчезла.
Поглотила женщину дорога.
Одинокий — он уселся в кресло.
Но остался призрак у порога.

Будто слеплена из пятен крови,
Милым, незабвенным силуэтом
Женщина стоит у изголовья...
Человек помчался за советом!

Вот он предо мной. Слуга покорный —
Что могу сказать ему на это?
Женщина ушла дорогой черной.
Стала тесной женщине планета.

Поддаваясь горькому порыву,
Вижу, с белым шарфиком на шее
Женщина проносится к обрыву...
Надо удержать ее! Скорее!

Надо тут же дать мужчине крылья!
И сказал я с видом безучастным:
— Что важнее: быть счастливым или
Просто-напросто не быть несчастным?

О н

— Не улавливаю вашей нити...
Быть счастливым — это ведь и значит
Не бывать несчастным. Но поймите:
Женщина вернется и заплачет!

Я

— Но она вернется? Будет с вами?
Ну, а слезы не всегда ненастье:
Слезы милой осушать губами —
Это самое большое счастье.

1959

* * *

Что такое «золотое счастье»?
Этот зверь геологу неведом:
В чистом виде счастье не встречается.
Но ведь дело-то совсем не в этом.

Разве счастье в бесконечном отдыхе?
Воп лягушки застонали в лужах,
Ахают, изводятся — и все-таки
Эти дни у них из самых лучших.

Да и мы с тобой, богиня Эпоса,
Даже в канонадах перекатных
Были счастливы, взрывая крепости.
Счастье, как и солнце, тоже в пятнах.

1959

* * *

Пускай не все решены задачи
И далеко не закопчен бой —
Бывает такое чувство удачи,
Зверности сил, упоенья собой,
Такая стихия сродни загулу,
В каждой кровинке такой магнит,
Что прикажи вот этому стулу:
— «Взлететь!» — и он удивленно взлетит.

1959

* * *

Не знаю, как кому, а мне
Для счастья нужно очень мало:
Чтоб ты приснилась мне во сне
И рук своих не отнимала,
Чтоб кучевые две гряды,
Рыча, валились в поединок
Или петлял среди травинок
Стакан серебряной воды.

Не знаю, как кому, а мне
Для счастья нужно очень много:
Чтобы у честности в стране
Была широкая дорога,
Чтоб вечной ценностью людской
Слыла душа, а не анкета,
И чтоб народ любил поэта
Не под критической клюкой.

1959

УЛИЧНЫЕ ОКНА

Уровень московских бельэтажей
Из трамваев чувствуешь плечом:
Абажуры, шкафы и пейзажи,
Выхваченные косым лучом,
Раскрывают таинство гнездовья,
И с какой-то сладкою тоской
Думаешь: должно быть, там покой —
Вещи дышат миром и любовью.

Вон под лампой парусный фрегат,
Вон жираф на тонкой этажерке...
Каждый чем-то собственным богат,
Ускользящим от общей мерки.
В каждом проплывающем окне,
Где себя своя глубинка прячет,
Что-то очень близкое и мне
Выглядит по-своему, иначе...

Но хотя наперекор жирафам
Наше не безоблачно житье
(В каждом доме свой паук за шкафом
Ткет неутомимое свое)

И хотя от ряда и до ряда
Не найдешь по быту близнецов,
Все-же есть великая отрада
Знать, что Ковалев и Кузнецов,
Ничего не зная друг о друге,
Сращены в одном идейном круге.

Марш плывет за голубым окном,
В золотом переходя на «рондо»,
Но мечтают окна об одном,
Спаянные думою народной.

1959

ЛЕСНАЯ БЫЛЬ

В роще убили белку,
Была эта белка — мать.
Остались бельчата мелкие,
Что могут они понимать?
Сели в кружок и заплакали.

Но старшая, векша лесная,
Сказала мудро, как мать:
— Знаете что? Я знаю:
Давайте будем лпнять!
Мама всегда так делала.

1960

ДЕВОЧКА В ОКОШКЕ

Свежая избенка пахла стружкой,
Ростом же — с варяжскую ладью,
Девочка в окошке как старушка:
— Самолеты летят.. К дождю..

1960

СТОЛБ

Люди без лирики как столбы.
Но не обидел ли я столба?
Остолбенели они в степи,
Разве что птицу роняя со лба.

Но ухом к любому из них приложись,
Услышишь

виолончельный стон:

Самую малую чью-то жизнь,
Вибрируя, переживает он.

1960

НАТЮРМОРТ

Разрежь арбуз — петушьи гребни
Ярятся сочной сердцевинной;
Когда он свеж — в нем дух целебный,
А если вял — оттенок винный;
Слизуют пузырьки морозца
Меж семечек, торчащих сором.
Но не считай, что все тут просто:
Зажмурься — и задышишь морем.

1960

* * *

От листвы осенней банный дух.
Из-под листьев выбегает груздь.
Роща белоствольных молодух
Навевает золотую грусть.

Но меня осенние прелюды
Не томят среди горестей внезапных:
Осенью березки точно люди —
В осень от березы бабий запах.

Подойдешь к одной какой-нибудь,
Прислонишься, хныкнешь — да не очень:
Ведь березка шепчет: «Позабудь!
Я-то знаю: не навеки осень».

1960

АКУЛА

У акулы плечи, словно струи,
Светятся в голубоватой глубин;
У акулы маленькие губы,
Сложенные будто в поцелуе;
У акулы женственная прелесть
В плеске хвостового оперенья...

Не страшись! Я сам сжимаю челюсть,
Опасаясь нового сравненья,

1960

* * *

Легко ли душу понять?
В ней дымкой затянуты дали,
В ней пропастью кажется падь,
Обманывают детали.

Но среди многих примет
Одна проступает, как ноты:
Скажи мне, кто твой поэт,
И я скажу тебе — кто ты.

1960

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Лунный свет какой-то был особенный...
Ты была в ушанке, точно в раме.
Лошади взбегали на сугробины,
Тарахтели грузно глухарями.

Нашу тропку белую да узкую
Обступили черные соснята.
Лунный дым преображался в музыку,
Проступая в шумах, как соната.

Хорошо похрюкивали розвальни
В леденистой рощице Медыни!
Как забыть твое дыханье розовое,
Запах шеи, словно запах дыни.

1960

ТИГР

Обдымленный, но избежавший казни,
Дыша боками, вышел из тайги.
Зеленой гривой¹ он повел шаги,
Заиндевевший. Жесткий. Медно-красный.

Угрюмо горбясь, огибает падь,
Всем телом западая меж лопаток,
Взлетает без разбега на распадок
И в чащу возвращается опять.

Он забирает запахи до плеч,
Рычит —

не отзывается тигрица...

И снова в путь. Быть может, под картечь,
Теперь уж незачем ему таиться.

Вокруг поблескивание слюды,
Пунцовой клюквы жуткие капли...
И вдруг — следы! Тигриные следы!
Такие дорогие сердцу лапы...

Они вдоль гривы огибают падь,
И, словно здесь для всех один порядок,
Взлетают без разбега на распадок,
И в чащу возвращаются опять.

А он — по ним! Гигантскими прыжками!
Веселый, молодой не по летам!
Но невдомек летящему, как пламя,
Что он несется по своим следам.

1960

¹ Г р и в а — опушка тайги.

БЕРЕЗА

Березка в розовой коже
Стоит, сережками струясь.
А на березке — темный глаз,
На око девичье похожий.
Однажды, перейдя межу,
Я шел по молодому лугу,
Но увидал, но подхожу —
И мы глядим в глаза друг другу.
Она как будто вся горит,
Как бы испытывает: струшу?
Заглядывает прямо в душу
И... только что не говорит.
И — черт возьми! — не знаю сам,
Но я подпал под обаянье
Простого дерева. Глазам
Березки этой изваянье
Предстало, точно древний рок.
Так женственно сияло тело,
Так горестно она глядела,
И был в зрачке такой упрек,
Что я смугился и пойти
Решил не лугом, а деревней,
Как будто встретился в пути
С замороженной царевной.

1960

ВЕСЕННЕЕ

Весною телеграфные столбы
Припоминают, что они — деревья.
Весною даже общества столпы
Низринутись бы в скифские кочевья;
Скворечница пока еще пуста,
Но воробьишки спорят о продаже,
Дома чего-то ждут, как поезда,
А женщины похожи на пейзажи.
И ветерок, томительно знобя,
Несет тебе надежды ниоткуда.
Весенним днем от самого себя
Ты, сам не зная, ожидаешь чуда.

1961

Л Е Т О

Мелькает в гальке ящерицын хвостик
И, зеленея, кинулся в траву.
Море невесомое, как воздух,
Снится наяву.

Зверсеет солнце среди своих владений
И каплет лавой сквозь навес.
Синие сияющие тени
Пахнут, словно горный эдельвейс.

У берега волна встает степенно
И переходит на траву,
Но Венера не взошла из пены...
Где ты, моя молодость? Ау!

1961

* * *

Счастье — это утоление боли.
Мало? Но уж в этом все и вся:
Не добиться и ничтожной доли,
Никаких потерь не понеся;

Гнев, тоска, размолвки и разлуки —
Все готово радости служить!
До чего же скучно было б жить,
Если б не было на свете муки...

1961

ЛЕСНЫЕ СТРАХИ

На осинах царапины — когти.
Желтые листья звенели.
Она в краснокожей кофте
И в юбке из белой фланели.

В руке у нее — *туес*,
Плетенка с кислой капустой.
Девушка идет, волнуясь:
В лесу никого. Пусто.

Девушка идет к бабушке.
Под ногами орденая медь.
И вдруг чернобровый
в синей рубашке!

— Кто вы?
— Медведь.—
В руке задрожал *туес*...
Листьями
разметались мысли...

Отчего всегда, когда целуешь,
Думаешь о своей жизни?

1961

ДИСКУССИЯ

Да, пзучил он и Фрейда и Крочче,
Он — доктор наук, говоря короче,
И вот по одной причине по этой
Указкой шпыняет музу поэта.

Мудрец Бабакай произнес бы :«Джáным!»
Ведь тут не познания древо:
Это диспут
 евнуха с донжуаном
О том, что такое — дева.

1962

ЗЕМНОВОДНЫЙ ЗОИЛ

Вот оно сидит на слове,
Круглое, но хищное
Существо. Маленько злое
И давненько лишнее.

Отошли глухие годы.
Разогнули спину мы.
Все невзгоды, непогоды
Пролетели, сгинули.

Ну, и пусть их пролетели!
Стажем обеспеченный,
Он с повадкой Протея
Требует от Прометея
Не огня, а печени.

1962

У СОВРЕМЕННОСТИ СВОИ ПРАВА

Ноты Баха, похожие на дредноуты,
Лежат на раскрытом рояле.
Отчего ж вы по клавишам поете
Песенку о рыжей крале?

Песенка цветет на джаз-бандах,
В ней чивато и перебой.
А дредноуты в траурных бантах
Вызывают

ее
к бою.

Но песенка под боевыми башнями
Лепечет, как сама беспечность:
Ведь она не знает вчерашнего,
Даже покоровшего вечность;

К великому
ее не приневолишь:
Просто свежа и опрятна.
А написана она для того лишь,
Чтобы рыженькая сжалилась. Понятно?

1962

О С Е Н Ь

Как звучат осенние прелюды
В струях ветра звонких, но больных...

Осенью березы точно люди:
Запах человеческий у них,
Словно это женская усталость
Тонко пахнет нежной теплотой.
Ах, царевны! Что же с вами случилось?
Сыплетесь короной золотой.

Вы пленяли красотой неброской,
Что милей заморской красоты,
А теперь печалитесь, березки,
Как с венками ржавыми кресты.
Да и эти оголятся в розги,
И в лесу тебе приснится вдруг,
Будто бы зеленые березки
Улетели с птицами на юг...

Но на *этой* вырезано сердце —
Эта не расстанется со мной:
Жизни неумное бессмертье
Дышит и в метельцу весной.

1962

СЛОВНО АЙСБЕРГ

Жизнь моя у всех перед глазами.
Ну, а много ль знаете о ней?
Только то, что выдержал экзамен
В сонмище классических теней?

Неужели только в том и счастье,
Чтобы бронзой числиться в саду?
Не хочу я участи блестящей,
Неподсуден пошлому суду.

Стоило ли раскаляться лавой,
Чтоб затем оледенеть в металл?
Что мне братская могила славы,
О которой с юности мечтал!

Нет, не по торжественным парадам,
Не в музее, датой дорожа,
Я хочу дышать с тобою рядом,
Человечья теплая душа.

Русский ли, норвежец или турок,
Горновой,
рыбачка

или ас,

Я войду, войду в твою культуру,
Это будет, будет —
а сейчас,

Словно айсберг в середине мая,
Проношу свою голубизну;
Над водой блестит одна седьмая,
А глыбун уходит в глубину.

1962

МОЛИТВА

Народ!
Возьми хоть строчку на память,
Ни к чему мне тосты да спичи,
Не прошу я меня обрамить:
Я хочу быть всегда при тебе.
Как спички.

1962

ГУНО — ЛИСТ

Кино — искусство массовое.
Оно ничего не требует.
Обзаведись у кассы
Билетом на синий трепет¹
И, светом этим окрашенный,
Стул
 обретя
 во владенье,
Как под замочной скважиной,
Смотри себе сновиденье.

Вот ты смеешься и плачешь.
Уходишь довольный. Но —
Ты здесь ничего не значишь:
 Кино есть кино.
Герой от тебя независим.
Грэт это Грэт — и всё.
Житейский твой реализм
Поправки не внесет.

Иное дело — поэзия.
Стихи — это, в сущности, ноты.
Тоска на них песню повесила,
Где паузы и длинноты,
Но ты их читаешь по-своему,
Варьируя в ритме и темпе,
С певучестями или воями
В своем прогоняя тембре.
Ты здесь почти композитор.
Но этого мало: ты
Средь авторских палитр
Несешь и свои мечты:

¹ Синий трепет — голубой луч проекционного киноаппарата.

Вот перед нами герой.
Возьми хотя бы Грэт.
Автор тонкой игрой
Подсветил
 этот женский портрет;

В огоньках блистает рука,
Горностаи стаи охватили,
Она белокура, как...
Соседка твоя по квартире.
И хоть эта соседка, Настя,
Опустилась в жите-бытье,
Но большего

 пет
 счастья

Представлять
 вместо Грэт —
 се,
Курносую (Грэт — антична),
Коренастую (Грэт — легка),
Упитанную на «отлично»
Белой свежестью

 молока.
Волнительную так, что
Ликбой замшелый старик,
Лешак, повторяю, каждый,
Глядишь, бородищу острит.

И, образом Насти согрет,
Ты полон *своею* правдой,
Это — *твоя* Грэт,
Которой не знал

 автор.
Шепча поэмы в бессоннице,
Ты сам хрустально лучист;
Это как Бах — Бузони
Или Гуно — Лист!

Но если чихать на Гуно,
А стих тебя жмет,
 как ботинок,—
Вот тебе, милый, полтинник,
Ступай, дорогой, в кино.

БЫСТРЕЕ БЕРЕЗ

Читатель растет быстрее берез.
Да как же ему не расти,
Если весь быт устремлен вперед,
И свинтус уже не в чести,

Уже неудобно чваниться тем,
Что я, мол, тово... от сохи.
Ушла, ушла кондовая темь.
Перебежала в стихи.

Но скоро и там жилплощадь ее
Растает от новых работ.
Читатель, отвергнув житье-бытье,
Быстрее берез растет,

1962

ПИСЬМО УРАЛЬСКИХ ДЕВУШЕК

Девушки-штукатуры
(В руках у них мастерки),
Девушки-штукатуры
Читают меня мастерски.

В краю лисицы каурой,
В краю заповедных лосих
Девушки-штукатуры
Стих мой берут на язык.

Звенят они голосом сочным,
Актрисам иным не чета.
Как я завидую строчкам,
Попавшим к ним на уста!

Девушки, их читая,
Словно целуют их...
Это в краю горностая,
В краю заповедных лосих.

И все мои книжные «звери»,
Тоски моей горький плод,
Полные к ним доверья,
Прыгают сквозь переплет

Навстречу судьбе непочатой
В глубины таежных трасс,
Где штукатуры-девчата
Сдают за десятый класс.

1962

СОНЕТ

В. Усову

Обычным утром в январе,
Когда сине от снежной пыли,
Мне ящерицу в янтаре
На стол рабочий положили.

Завязнувши в медовом иле,
Она плыла как бы в жаре,
И о таинственной заре
Ее чешуйки говорили.

Ей сорок миллионов лет,
За ней пожары и сполохи!
О, если б из моей эпохи
Прорвался этот мой сонет

И в солнечном явился свете,
Как ящерица сквозь столетья.

1963

СОНЕТ

Обыватель верит моде:
Кто в рекламе, тот и витязь.
Сорок фото на комоде:
«Прорицатель!», «Ясновидец!».

Дорогой, остановитесь...
Нет, его вы не поймете:
Не мечтает он о меде,
Жидкой патокой насытись.

Но проходит мода скоро.
Где вы, диспуты и споры?
Пустота на ринге.

И — увы — предстанут взору
Три-четыре золотишки
И вот сто-олько сору.

1963

* * *

Был я однажды счастливым:
Газеты меня возносили.
Звон с золотым отливом
Плыл обо мне по России.

Так это длилось и длилось,
Я шел в сиянье регалий...
Но счастье мое взмолилось:
— О, хоть бы меня обругали!

И вот уже смерчи вьются
Вслед за девятым валом,
И все ж не хотел я вернуться
К славе, обложенной салом.

1963

PERPETUUM MOBILE

Новаторство всегда безвкусно,
А безупречны эпигоны:
Для этих гавриков искусство —
Всегда каноны да иконы.

Новаторы же разрушают
Все окольцованные дали:
Они проблему дня решают,
Им некогда ласкать детали.

Отсюда стружки да осадки,
Но пролетит пора дискуссий,
И станут даже недостатки
Эстетикою в новом вкусе.

И после лозунгов бесстрашных
Уже внучата-эпигоны
Возводят в новые иконы
Лихих новаторов вчерашних.

1963

КУКЛА

Под забором валяется кукла.
Вся она
 от росы разбухла,
Голова у нее разбита,
Зияет пустая орбита.

Но в другой орбите глазёнок,
Сияющий в синем блеске,
Глядит совсем по-детски,
Словно выглянул из пеленок.

Я иду по своим делам.
Какое мне дело до куклы?
У нее голова пополам,
И скрепляют ее только букли.

Я слышу движенье планет.
До куклы мне дела нет.
Дела нет,
 говоря,
 до куклы,
Больной и от грязи смуглой.
День прошел. Все заботы прочь.
Ложусь, засыпаю. Ночь.

Проснулся... Ударило пять.
Сердце
 бьется
 часто.
Долго не мог понять,
Отчего я такой несчастный?

1964

ДАВАЙТЕ ПОМЕЧТАЕМ О БЕССМЕРТЬЕ

Но не хочу, о други, умирать...

Пушкин

1

Наука беспощадна и узка,
Искусство простодушно и широко.
«Любая к смерти приведет дорога» —
Какая в этом дикая тоска!..

А я поэт. Я верую в бессмертье.
Оно не в монументах, не в статьях.
Что мне до них, когда не бьется сердце
И фосфор загорается в костях?

Увы, так называемая «слава» —
Эрзац бессмертья, только и всего.
Ее величье утешает слабо.
Мое ж бессмертье — это естество.

Мы с вами — очертанья электронов,
Которые взлетают каждый миг,
А новые, все струны наши тропув,
Воссоздадут мгновенно нас самих.

Мы как река... Мы бросимся друг к другу,
Но нас уж нет, хоть мы глядим в глаза:
Все как бы обновилось — и пельзя
Вторично жать одну и ту же руку.

Так, значит, я, и ты, и все другие —
Лишь электронный принцип, дорогие ¹.

¹ Теория Норберта Винера.

ХУДОЖНИЦА

Тате С.

Твой вкус, вероятно, излишне тонок:
Попроще хотят. Поярче хотят.
И ты работаешь, гадкий утенок,
Среди вполне уютных утят.

Ты вся в изысках туманных теорий,
Лишь тот для тебя учитель, кто нов.
Как ищут в породе уран или торий,
В душе твоей поиск редчайших топов.

Поиск редчайшего... Что ж, хорошо.
Простят раритетам и фальшь и кривинку.
А я через это, дочка, прошел,
Ищу я в искусстве живую кровинку...

Но есть в тебе все-таки «искра божья»,
Она не позволит искать наобум:
Величие

 эпохальных дум
Вплывает в черты твоего бездорожья.

И вот, горяя или грозя,
Видавшие подвиг и ужас смерти,
Совсем человеческие глаза
Глядят на твоём мольберте.

Теории остаются с тобой
(Тебя, дорогая, не переспоришь),
Но мир в ателье вступает толпой:
Натурщики — флзик, шахтерка, сторож,

Те, что с виду обычны вполне,
Те, что на фото живут без эффекта,
Вспыхивают на твоём полотне
Призраком века.

И, глядя на пальцы твои любимые,
В силу твою поверя.
Угадываю
уже лебединые
Перья.

1964

О ТРУДЕ

Во многом разочаровался
И сердцем очерствел при этом.
Быт не плывет в кадансах вальса,
Не устиласт путь паркетом.

За все приходится бороться,
О каждый камень спотыкаться.
О, жизнь прожить совсем не просто —
Она колюча и клыкаста.

Но никогда не разуверюсь
В таком событии, как Труд.
Он требователен и крут
И в моде видит только ересь,

Но он и друг в любой напасти,
Спасенье в горестной судьбе.
В конце концов он просто — счастье
Сам по себе.

1964

О С Л А В Е

Кто из нас помнит имя
Некоего Мирона?
Некоего Леохара?
А между тем
Один изваял Венеру,
Другой — Аполлона.

Что может быть выше такого забвенья?

1964

ЗАВЕЩАНИЕ

Годы, годы... Я не протестую...
Мне о боге думать бы пора....
Но придется в суету пустую
Двинуть пламень моего пера.
Завещаю вам, мои потомки;
Критики пускай меня честят,
Но литературные подошки,
Лезущие в мой интимный сад,
Эти пусть не смеют осквернять
Хищным нюхом липши моей жизни:
Он, мол, в детстве путал «е» и «ять»,
Он читал не Джинса, а о Джинсе,
Воспевая фронтовой пейзаж,
Побывал, однако же... в Ташкенте ¹,
А стихи за него писал
Монастырский служка Иннокентий.

Впрочем, пусть. Монахи пессимизма
Пусть докажут, что пустой я миф.
Но когда, скуфейки заломив,
Перелистывают наши письма,
Щупают родные имена,
Третьим лишним примостятся в спальне —
О потомок, близкий или дальний,
Встань тогда горою за меня.

Каждый человек имеет право
На туманный уголок души.
Но поэт... Лихие легаши
Рыщут в нем налево и направо,
Вычисляя, сколько пил вина,
Сколько съел в трапезнях сосисок,

¹ В 1943 г. путь из Москвы на Северо-Кавказский фронт шел через Ташкент — Бухару — Красноводск — Баку — Армавир.

Составляют допжуанский список —
Для чего? Зачем? Его ль виша,
Что во имя подвига поэта
Нужно человеку испытать
Все на свете, даже дно при этом,
Чтобы обрести святую стать.

Мы хотим сознание народа
Солнечным сиянием оплесть,
Так не смей, жандармская порода,
В наши гнезда с обысками лезть!
Непавижу тебя за всех,
Будь то Байрон,
Пушкин,
Маяковский,
Всех, кого облапывают моськи
За любой всечеловечий грех.
Да и грех ли это? Кто из нас
В жизни пил один лишь квас?

Я предвижу своего громилу.
Вот стоит он. Вот он ждет, когда
Накопец и я, сойдя в могилу,
В мире успокоюсь навсегда.
Как он станет смаковать бумажки,
Сплетни да слушки о том, что я
Той же, как и он, бубенной бражки,
Что не та мне дадена статья...

О потомок! Среди дней превратных
Что бы ты, родной, ни услышал,
Не забудь, что был я вечный ратник
Рыцарского Ордена Стиха.

1964

* * *

Кони мои лихие...
Грызутся, но мчатся рядом.
Зовут одного — «Стихия»,
Другого — «Разум».

Они всегда при мне.
Бывал я продан и предан,
Колеса терял, да и жил вчерне,
Но им всегда был предан.

Нет, я залетным не изменял.
Зато, верны и упрямы,
Они вывозили меня
Из самой чертовой ямы.

В искусстве не ездят на перекладных
От станции до станции.
Не ставь золотых
взамен вороных:
Иные кони — иные стати.

1965

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

(После смерти Светлова)

Мне стыдно, когда умирают
Люди моложе меня.
Все чаще к переднему краю
Моя выступает родня,
Бой осколками брызжет,
Дым плывет по жнивью,
Спаряды ложатся все ближе,
А я почему-то живу...

1965

ГЛУХОМАНЬ

После контузии стая я глухпуть...
Вокруг тишина. Понимаю сам.
И вдруг
 ослепительный
 грохот
Пойдет по рычащим басам.

И так секунд этак на пять,
С гулом, визгом и бряском.
(Я понимаю, что это память
О битве
 под Батайском.)

Но дальше в ушах шелестящий шум.
Он не зловец. Он не угрюм.
Не бьет человека поком.
Мне даже правится легкий обман:
В ушах, как в раковине, океан
Шумит
 отдаленным
 шорохом.

Так стоит ли жаловаться на шум?
Эх, глухота не горе...
Куда ни пойду — глубоко дышу:
Всюду со мной
Море.

1965

РАННЯЯ ОСЕНЬ

Нежно-белокурая береза
Чуткой дремой заворожена.
Листьев ее солнечная бронза
Ранним снегом запорошена.

Но порой от ледяного пуха
Затрепещет
 и едва-едва
Более для сердца, чем для слуха,
Бубенцами зазвонит листва.

Я подумал, прошлое листая,
Что и ты в сентябрьскую тишь
Под морозцем ранним,
 чуть седая,
Все же теплым золотом звучишь.

1965

О С Е Н Ь

Золотая звонница березы
В черных елях, словно бы в скиту.
Я вливаю, погруженный в грезы,
Бледно-голубую высоту.

Хочется отшельником побыть.
С думами собраться на досуге,
Вспоминать приятное о друге,
О врагах на время позабыть.

Не за то ли осень нам мила
(Хоть и дни становятся короче),
Что, витая вне добра и зла,
Чувствуешь себя таким хорошим...

Но и быт своей огромной глыбой
Входит в мир святошей и предтеч:
Осень пахнет спиртом, пахнет рыбой,
Золотым загаром женских плеч.

1965

ЧЕЛОВЕК И СМЕРТЬ

Я подавил в себе звериный ужас
Перед небытием. Я смерти не боюсь.
Пускай моей идее неуклюжесть
Смутит ученых сухарей. Я бьюсь
Над тем, чтоб весь народ сообразил,
Что все мы были, есть и будем.
Поэтому-то в меру своих сил
Смертеупорное впускаю людям.
При этом не становлюсь я на котурны,
Не вижу вечности в бессмертии семьи.
Я говорю: друзья мои,
Бояться смерти некультурно.
О, я едва лишь прикоснулся к тайне,
Но ты бессмертьем глубь ее измерь!
Неповторимость электронных сочетаний —
Вот что такое Человек и Смерть.

1965

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

Два образа женщин в России,
Две стрежи в русле одном:
Одни — озорные, лихие,
Все ветхое — кверху дном!
Зубами потащит провод,
Ползя на вражеский дот,
«Копя на скаку остановит,
В горящую избу войдет»¹.

Другие дохнут повиликой,
Одурью трав колдовских,
Раздумье шири великой,
Тихость лебяжья в них.
Подымет ресницы — диво!
Улыбка судьбу озарит,
Придет на свиданье под ивой, —
Под ивою клад зарыт.

1965

¹ Некрасов.

ЭТО НАДО ЛЮБИТЬ

Где часовенка в травах колючих —
Из земли выбивается ключик.
Ему хочется речкою быть!
Он бежит от креста и клуши,
А на нем пузырятся слюни...

Это тоже надо любить.

1965

ОПТИМИСТ И МАЛОВЕР

— Мой друг! Не унывай на склоне лет,
Что кофе твой горчит силошною гущей:
У старца будущего нет,
Но есть зато грядущее.

— Грядущее? Гм-гм...

— Не прекословь:

Умрешь и возродишься вновь
В итоге атомных конфигураций,
И снова ты услышишь шум акаций,

И снова девы белокурые
Предстанут пред тобой в добре и зле.

— На небесах?

— Да нет же, на земле!

— Спасибо. А нельзя ли на Меркурии?

1965

* * *

Бояться смерти что бояться сна:
Она, бедняжка, вовсе не страшна.
Боятся смерти только наше тело,
Но это уж совсем другое дело.

Предсмертные страдания из лихих...
Но сколько раз мы испытали их
В течение жизни! Сколько умирали,
Не умерев. Так, значит, не пора ли
Возвыситься над смертью? Ведь она

На сотни возрождений нам дана,
Воскреснем мы не у господня трона,
А под ваяньем бога Электрона.
Упрямый скульптор, он наверняка
Одних и тех же лепит все века.

1965

БЕТХОВЕН

Когда уже глухой Бетховен
Спустился в свой осенний сад,
Он знал, что облака спят,
А воздух звоном был подкован.

Но этот шум вообразимый
Его не интересовал.
Он жаждал звуков!
В лета, в зимы
Он эти шумы рассовал.

Но осень... О! Вот этот ранний
Свинцово-оловянный тон,
И медный тон, и деревянный,
Как меж фаготами тромбон.

Приметил тополя длинноту,
Забор, где в паузах колье.
Он в каждой краске видел поту,
Он чуял, чувствовал ее.

Пылали клены-контрабасы...
Поверх пюпитров и голов
Он видел жаркие контрасты
Березовых колоколов.

Дубы занели, как древляне.
А сухостой? А мухомор?
И он унес в груди, в дыханье
Балладу до диез минор.

1967

ПАГАНИНИ

Троглодиты стреляли из лука,
Хоронясь в дремучей траве.
А один среди вешнего луга
Вздумал
 бренчать
 на тетиве.

И на разных высотах струна
Отзывалась пока наугад,
И гуляла по ней стрела
Вверх и вниз, вперед и назад.

Так в культуре звучит и поныне
Древний лук, свиставший пегромко,
И стреляет, ну хоть Паганини,
В людские сердца без промаха.

1965

ОКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Пепел сигары похож на кожу слона:
Серо-седой, слонстый, морщинистый, мощный.
За ним открывается знойная чья-то страпа,
Достичь которую просто так — невозможно.

Но аромат словно запах женских волос,—
Так пахнут на солнце морские сушеные стебли
Под жарким жужжаньем хищных, как тигры, ос...
И все это, все это — в толстом сигарном пепле.

1965

ДИНОЗАВР

Вот тут, где молоденький явор
Красуется у реки,
Когда-то гигант динозавр
Прошел в четыре руки.
Бездушье, сколько ни пьался,
Не видит ни зги пред собой.
А здесь не только пальцы
Отгиснулись в магме седой:
Я вижу хребет зубастый,
Блеск доспехов крутых,
Глубокий и все-таки частый
Щек полужаберный дых.
Что нас волнует при виде
Такого, как этот след?
Культурой ли нам привиты
Виденья дремучих лет?
И мы, оголтело глаза,
Гадая на все лады,
Смотрим с лицом ротозея
На чуждые эти следы...
Но вдруг на миг заметалась
Ящерица. Она,
Найдя следы, замечталась,
Будто с дремотного сна...
Ползет сквозь всякую заваль,
В себе затаивши века:
Ведь это сам динозавр,
Уменьшенный до вершка!
Но я возродил химеру,
Ее увеличив опять,
Плыву в мезозойскую эру
Лет миллионов за пять.

Стоит серебристый явор,
На ветках — сушка белья.
Здесь как-то прошел динозавр...
Быть может, это был я.

1965

КАКИМ БЫВАЕТ СЧАСТЬЕ

Хорошо, когда для счастья есть причина:
Будь то выигрыш ли, повышение чина,
Отомщение, хранящееся в тайне,
Гениальные стихи или свиданье,
В историческом ли подвиге участие,
Под метелями возвращенные оливы...
Но

нет

ничего

счастливей

Беспричинного счастья.

1965

**У МОЛОДОСТИ
СОБСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ**

Не говорите мне о том, что старость
Мудра. Не верю в бороды богов.
К чему мне ум церковных старост,
Рачительных и грузных брюжков?
Их беспощадно-бдительная хмурость
В кулак зажмет сердца до покрова.
У молодости собственная мудрость —
Любовь, которая всегда права.

1965

ВАЛЕНТИНЕ ТЕРЕШКОВОЙ

Не сон во сне, не миф крылатый —
Летя по заданной черте,
Дыханье девичье несла ты
Под белым солнцем в черноте.

Там нет громов в весеннем гневe,
Там стадо тучек не паслось;
Земля, в своем купаясь небе,
Казалась дальнейю до слез.

Но эта даль жила одним:
Мир от тебя не отказался —
Твой милый голос оказался
Для всех любимым и родным.

Осыпанная звездным роем,
Забыв о пенье соловья,
Шалунья, ставшая героем,
Ты в каждом доме, как своя.

Душа рвалась к тебе из тела!
Материки... Со всех пяти
Все человечество летело
С тобой по твоему пути.

Там галактическая сталь,
Там черная зияет Тайна,
И все же космос ныне стал
Теплей от твоего дыханья.

1965

* * *

Был у меня гвоздевый быт:
Бывал по шляпку я забит,
А то еще и так бывало:
Меня клещами отрывало.
Но, сокрушаясь о гвозде,
Я не был винтиком нигде.

1965

БУРЫЙ ДЫМ

Не любил я волос моих бурый дым,
Омрачавший мой смех весенний,
Мне так хотелось быть золотым,
Как Яхонтов или Есенин.

Но золотым я так и не стал.
А время неукротимо...
Зато теперь я блещу, как сталь,
И нет уже бурого дыма.

Но, глядя в зеркало хмурое,
Согласен я и на бурое.

1965

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВЕСНА!

Хоть громко распевает зяблик,
Хоть лесни ввысь вознесены,
Весну знобит меж веток зяблых,
Ей лед уже прописан в каплях,
И все же нет ее, весны.

Недаром азбукою Морзе
Пророчит дятел недород.
Напрасно бедный зяблик-мерзлик
Бодрит свой маленький народ —
Кружит пурга невпворот.

В снегах промчалась электричка...
Но что это за перекличка?
Трепещет свистик на весу.
Ах, это пеночка-весничка
В пазванье принесла весну.

1965

ОДА ВОДЕ

Люблю я воду. Ведь она живая!
Послушай, как гласит ручей,
Когда, весною скорость развивая,
Он осуждает карканье грачей.

А как порой гремит вода из крана,
Тарелки разбивая в прах и пух!
Я слышу в ней военный стих Кюрана
В ответ на бормотание стряпух.

Вода, вода... Во-первых и в последних,
Она твой друг, какую ни возьми!
Вода — великолепный собеседник,
Когда нельзя поговорить с людьми.

1966

К ПОРТРЕТУ МОЕГО ВНУКА

На фоне буро-черных пятен,
Объятый мраками и мглами,
Сидит, причесав и опрятев,
Ребенок с грустными глазами.

В них глубина предчувствий вещей,
Тревожных и чего-то ждущих...
Сидит печальный человечек,
И зреют громы в бурных тучах.

Глядит он. Нет на нем вины.
Но здесь трагедия вне действия.
Я вижу — это смотрит детство
На сказку атомной войны.

1966

* * *

Счастливый не слышит природы,
Бедняге не до того:
Бедняга из той породы,
Что слышит себя одного.

А мы, не любимые роком,
Олепя на всем ходу
Поздравим с четвертым рогом,
Что вырос в этом году.

Ах, если бы кто из косных
Заметил, как, снег шевеля,
Купаются соболи в соснах,
Одетые в соболя.

Но нет! Он в величии глупом
И в обществе как среди пней.
Чем больше природу мы любим,
Тем к человеку нежней.

1966

А Я ДУМАЮ ТАК...

Материя в сумме своей копечна.
Материя времени не чета:
Она ограничена и, конечно,
Ее бы можно всю сосчитать.

Вода подымается к небу в тумане,
Но где-нибудь опадет всегда —
Над Волгой, в Киеве ли, за Тамашью...
А это одна и та же вода.

Откуда же взяться другой? Ведь в сумме
Не сдвинешь материю ни на пядь.
Тихой росой или в блеске и шуме
Вода, испарившись, прольется опять.

Люди и рыбы, звери и птицы,
Подобно схеме вращения вод,
Умирают, чтоб возродиться,
Вечный свершая круговорот.

Жил Хафиз, появился Байрон,
Или, быть может, Вийон? Поэт?
Один — бродяга, другой — барин,
Но это один и тот же поэт.

1966

ЮМОРЕСКА

Как часто среди горьких бед
Вдобавок нахлебнешься позора.
У человека диабет,
А все кричат ему: обжора.

1966

СКАЗКУ СЪЕЛИ...

В Оленьем пруду нельзя утопиться.
Зато сквозь пенистый лепет
Здесь гордо плавал черный лебедь —
Австралийская птица.

Он так был хорош по краскам:
Сам дымчатый, а клюв — ал.
В таком сочетании черного с красным
Стиль Рембрандт создавал.

Лебедя звали Борькой.
Он был совсем ручной.
Дети к нему приходили с коркой,
Пенсионеры — с травкой речной.

Но вдруг врываются три лихача,
Хватают птицу на ощупь,
И бедный лебедь, крылами треща,
Попадает, как кур в ощиц.

И пир начинается — жжуть!
Послав благодетство к черту,
Три палача лебедятину жрутъ,
Словно Иван Четвертый.

Зачем вы сделали это?
Сказку развеяли в прах?
Ведь этот лебедь на мелких прудах
Из каждого делал поэта.

Девушка, одетая в бантики,
Ответила, с тона сойдя:
— Нам так захотелось ромаштики,
Товарищ народный судья.

1966

ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ

Деревья зимой в обновах,
Чтоб мир лесной не продрог:
Березы в шубках песцовых
Гуляют у всех дорог.

Осинки в пушных горностаях
Тут же, за ними, скорей
Под щебет зимующих стаяк
Синиц, щеглов, снегирей.

О милые наши пичуги!
Покуда мы ждем соловья,
Вы с нами встречаете вьюги,
Хоть вам не хватает червя.

Есть лирика в ваших вдохах;
Щебчете вы,
 дабы
В беломедвежьих дохах
Мечтали о лете дубы.

1966

СНЕГ, СНЕГ!

Снег облагораживает мир.
Пышносеребристые сараи —
Это ведь хоромы братьев Гримм.
Частокол во льду, как самураи.

Ни весной, ни летом, даже в осень
Частокол не тронет наших душ —
Просто-напросто их сорок восемь,
Стареньких штакетинок у груш.

И сараи тоже... Так же ветхи,
Съедены червями их венцы,
Нет на крышах сахару, а с ветки
Больше не свисают леденцы.

А натуралисты свицут сплошь
Всем поэтам, чей волшебный гений
Возвышает простоту явлений,
Словно в этом возвышеньи — ложь,

Словно только серое пятно
Может быть художественной правдой.
Ах, снежок, не слушай! Падай, падай,
Разрисуй природы полотно.

1966

ЖИЗНЬ

О, как обожал он жизнь!
В стихе завихрец, как в смерче,
Владел им особый джинн:
Демон бессмертья.

Отлично демон служил!
(Не душу ль поэт ему продал?)

Поэт

огромно

жил:

Работал, работал, работал.
Как бык, работал... Как раб...

Как

четыре

негра...

Он строил воздушный корабль,
Где каждая спась из пера.

Он каждое слово — на зуб,
Как проверяют червонец:
Они его правду несут,
Колоколами трезвонят.

Поэзии божество
Всходило из мощных прелюдий.
И мир услышал его,
Прислушались к песням люди.
Враги

давно

на дне.

А он все думал о смерти:
Возвыситься бы над ней
В граните, бронзе, меди!

Всю жизнь работал, как бык,
Всю жизнь ковал бессмертье.
Умер —
И стал велик.
А жизнь прошла — не заметил.

1966

* * *

Ни прошлого, ни будущего нет?
Есть только настоящее? И все же,
Пройдя немало буйных лет,
Прошедшее ты ощущаешь кожей.

Оно с тобой. Оно всегда с тобой.
Здесь даже детство не погасло.
Ты окружен невидимой толпой,
Оно и в нищете — твое богатство.

Все умершие живы: даже дед,
Которому давно за полтора ста...
На этажерке тигр-людоед,
Буфет, натертый вяжущей пастой.

К тебе вернется первая любовь
Все в том же самом платье из фланели.
(Вы оба от дискуссий пламенели,
Но уж теперь ты ей не прекословь.)

Под старость сужено житье-бытье:
Планета — от Казани до Рязани,
Но яркий блеск твоих воспоминаний
Спасает одиночество твое.

И есть, представьте, у седовика
Грядущее. Оно в его идеях:
Когда весь быт не звяканье копеек,
Он будущее видит сквозь века.

1966

RESURGAMI!¹

Если не грешить против разума, вообще
ни к чему не придешь.

Эйнштейн

Я был в Париже, Лондоне и Вене,
В Берлине, и Стамбуле, и Брно,
И всюду мне являлось откровенье
Где человечество погребено.

Нет, никогда не примирюсь я с этим,
Не верю. Не хочу я, наконец!
Мы все навек одарены бессмертьем,
Могилы — не копец.

Я вижу на губах у вас сарказм...
Пожалуй, вы безумца на засов?
Разумны вы. А что такое разум?
Всего лишь опыт дедов и отцов.

Но в грядущем осознают впуки,
Не разгадать подзорною трубой.
Не суйте ж мне, о евнухи науки,
Задачи арифметики тупой.

Вам не загнать пророчество поэта
В клетушку ваших душевных аксиом.
Все, что сегодня разумом воспето,
Придется завтра обрывать на слом.

Я ездил к немцам, англичанам, туркам —
Повсюду смерть. Ее не сокрушить.
Но выше смерти властный крик: «Resurgam!»
Мертвец, ты прав: мы снова будем жить!

1966

¹ «Воскресну!» (лат.)

ТАЙНА БЕТХОВЕНА

Нам говорят профессора: «В чем тайна
Бетховена? Откуда этот свет?
Что внес он после Моцарта и Гайдна
В искусство симфонизма? —
И в ответ

Показывают пикколо, тромбон
И контрфагот. — Он эти инструменты
Отважно ввел в оркестр.

Этим он
И деревянный звук, и голос медный
В три форте поднял. Что за глубина!
Из океана эти волны льются!»

Вы ошибаетесь: Бетховена волна —
Из глубины французской революции.

1966

ОДНАЖДЫ У ТЕЛЕВИЗОРА

В самый разгар симфонии — вдруг
Из телевизора выпал звук.
Все так же сиял голубой экран,
В нем зрелище стало пемым шумом.
Но, перейдя на беззвучную грань,
Оркестр вмиг заболел безумьем.

Дирижер прыгал, как шимпанзе,
Руками махал с идиотским видом;
Вот пианист истерику выдал,
Мчась по клавишному шоссе;
Дева из полотна Боттичелли
Арфу щипала во всю свою страсть;
Ростропович

ярился,
стремясь

Перерезать
горло
виолончели;

Тарелки, тарелки
одни на других

Зря хлопотали.
Флейтисты без шутки

Держали у рта пемые гудки
И дули в них,

как дураки!

Вихри волос. Напряженные мускулы.
Что за ужасная кутерьма...

Эй, скорее: стихов или музыки —
Мир без лирики сходит с ума.

1966

ПРЕДВЕСЕННЕЕ

На крышах снег, на деревьях снег,
Вообще

на дворе февраль.

Но «Вечерка» чирикает о весне,

И пахнет крымская даль.

И мы за семейным чаем

Благоговейно читаем:

«В Подмосковье трещат морозы,

На лету замерзают галки,

А в Ялте растут мимозы,

А в Мисхоре цветут фиалки».

Конечно, расстояние далекое:

Не для нас грабины и тополи...

Но родина — попятнее широкое,

Очень широкое. И теплое.

1966

ПРОЩАНИЕ

Снится наяву лесная нежить —
Гномы, недотыкомки, русалка...
Мне их почему-то очень жалко,
И у них ко мне такая нежность!

Прилетают ветры-забияки,
С ними щебет, кряканье и гогот,
А деревья? Эти как собаки:
Понимают, но сказать не могут.

Вы — ручьишки, травушка, болота!
Ах, как грустно с вами разлучаться...
Да и вам, бедняги, неохота
Со своим язычником расстаться.

Смерть... Но ведь бессмертие со мной:
Верю в электронный дух капризный.
Но всего большее в этой жизни
Распрощаться с милою женой.

Институт терапии
1967

* * *

Все говорят, что я добрый. Добрый?
Когда на арене боя быков,
Окутанный дымом мокрых боков,
Бык поддел матадора под ребра: —
Как я был счастлив! О, гнусный бой
Против ни в чем не повинной твари.
Не осуждай же меня, товарищ:
Обороняться вправе любой;
А ты, пребывая в «гуманной сфере»,
Любя человека, люби же и зверя.

1967

* * *

Я люблю свою родину тихо,
Как она мне бывает мила!
(Для китенка даже китиха
Уютна, тепла и мала.)
Я люблю без лихого гусарства,
Лобызавшего дедов пистоль.
Просто боль моего государства —
Это моя
Боль.

1967

* * *

Какое сложное явление — дерево.
Вглядитесь: в каждом — облик утомленный,
Ему на долю пало дело древнее:
Оно глотает солнце, как лимоны,

Потом зеленой хвоей и листвою
Раздаривает это солнце.
Заснет. Но исполинский подвиг свой
Опять свершает тут же, как проснется.

В нем жизни вековое волшебство,
В нем бьются воды, что волны покрепче,
Оно шумит, шуршит, и что-то шепчет,
И хочет, чтобы поняли его.

Оно страдает молча. Я прочел
В его морщинах горести неожиданные...

Стул деревянец. Деревянец стол,
Но дерево — оно не деревянное.

1967

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДУБ

Вы думаете: «Коли дуб, так туп».
А ты пойми нутро его глубинное —
И вдруг услышишь сердце голубинное...
Вот, например, вот этот белый дуб:

Обученный за это лето грамоте,
Стоит он, как философ, меж столбов,
В нем имена всех девушек для памяти
И «Люба плюс Сергей равно любовь».

Он сохранит все эти имена,
Ни буковки одной не искорежа.
Он знает, что в иные времена
Придут к нему и Люба и Сережа,

Придут, седые, и с дрожаньем губ
Прошепчут имена, как откровенье,
И он вернет им юность на мгновенье,
Сентиментальный толстокожий дуб.

1967

ПАМЯТИ ХЕМИНГУЭЯ

Хоть мой предел уж недалек,
Не вижу в страхе толка:
Ведь смерть легка, как мотылек,
Она покой. И только.
Терзает нас совсем не смерть,
Нет, это жизнь терзает.
Вздохнуть сердчишку не сумеь,
Сердчишко,
Словно заяц,
Удрать из клетки норовит,
И быт его ужасен.
А смерть? У смерти страшный вид,
Но это все от басен.

Я обожаю жизнь. Но как?
Страданиями унижен,
Таншь в себе, допустим, рак...
Какая это жизнь?
Как будто бы стакан воды
На голове проносишь.
А смерть — спасенье от беды,
Ты сам о смерти просишь.
Но здесь не бездна. Пусть покой,
Да и на многи лета,
Но есть за смертью путь прямой —
И это не легенда:
Ты в мир от смертного одра
Шагнешь, брат, как из пушки.
Вселенная в одном щедра,
В другом скупа, как Плюшкин,
А потому ты повторим.

(Быть может, был ты дедушкой своим.)

1967

ОБИДА

Обида — сладкое чувство.
Вы не швыряйтесь обидой:
Узка у нее орбита —
Чуткости в пей не густо.
Бестактна она, небрежна
(О, как ее чувствуют дети!),
Но боль от нее, заметьте,
Бывает особенно нежной.

И ходишь, грустью свитый,
И улыбаешься слабо,
Смакуя свою обиду,
Как мишка, сосущий лану,
Как рысь, что печенку гложет,
От горечи обжигаясь.
Враг обидеть не может,
Только друг обижает.
Тайна этой боли
Точно несчастный случай:
Ведь знают все, что ты лучше
Своей несуразной доли,
И сам ты знаешь об этом,
И в этом-то вся и сладость...
А ходишь пред целым светом,
Чувствуя томную сладость.

Но главное в этой печали
Не подавать вида,
Будто тебя развенчали
И оттого обида,
Обида — хмелишка такая,
Что опьяняет думы —
Что-нибудь вроде токая,
Хереса или мумма;

Она помогает иному
Постичь глубину событий,
Она помогает гному
Вверх расти на обиде,
Она, озарения вроде,
Как счастье, достойна тоста!
Но счастье вечно уходит,
Обида всегда остается.

1967

О СИНИЦАХ

Вот вы говорите — сипица.
Синицу любой назовет.
Но вам, друзья, и не снится,
Какой это пестрый парод:

Синица с хохлатой головкой
(Ее «гренадеркой» зовут),
Черная с ней «московка»
У гнездышка тут как тут.

«Пухляк» — у него привычка
В дудочку во весь дух!
«Лазоревка», дивная птичка,
Нежно-небесный пух.

Вглядитесь в их милые лица:
Различны они? Вот-вот.
А вы говорите: сипица.
Сипицу любой назовет.

1967

ПЕСНЯ

Вот яблоня в цвету —
И пахнет вся долина.
Пчела как мандолина...
А мне неважноту...

Ты как снежком объята,
Хотъ ливень льет ливня.
Ты серебром богата,
Красавица моя.

Но знаю: будет время —
И ты опустишь бремя
Рачительных плодов.
Я к этому готов.

Но жалко в дебрях сада
Вот этого снежка...
Повремени! Не надо!
Не торопись пока!

Не стоит, пригорюнясь,
Облетывать, шурша:
Ты хороша, как юность,
Как юность, хороша!

1967.

ЭТО БЫЛ НЕБЫВАЛЫЙ СЛУЧАЙ

Ты вошла из моих стихов,
Как наяда из океана,
Ты потянулась ко мне без аркана,
Без сетей, без гигантских сачков.

Это был небывалый случай:
Еще пену волны стряхнуть не успев,
Ты читала меня нараспев,
Чуть глотая концы созвучий;

Целовала руки мои,
Обнимала мои колени,
И жарко срывались дыханья твои,
Словно паузы стихотворений.

А я смущенно глядел...
Мне стало попросту жутко:
Среди
 таких взрослых,
 казалось бы,
 дел

Что такое стихи? Шутка.

Несерьезно это, стихи...
Но оказывается,
 этой речью
Сквозь лирические пустыни
Я душу соткал человечью.

1967

НАША ПАМЯТЬ — КИНЕМАТОГРАФ

Наша память — кинематограф,
Где стопудовая лента.
Тут,
 что ни пядь,
 иероглиф,
В котором таится легенда.

В этом кино не только
Видения в звуке и краске:
Здесь репье действительно колко,
Здесь пахнет болото ряской,
Здесь вкус тютюна, который
Смешан с медом в немалой доле,
А главное — все мы актеры,
Играющие главные роли:

Плачем собственными слезами,
Доходя в страданиях до края;
Мы целуем любимую сами,
Чарли Чаплину не доверяя;

А любимая, будь ей полвека,
Молода на нашем экране:
Седина совсем не помеха,
Годы прелесть ее не украли.
Снова девушке восемнадцать.
Чарованье в ее походке,
Мы опять начинаем слоняться
По Арбату, Тверской, Охотке...

Оттого-то не скучно, если
Вы одни в предвечернем тумане.
Где бишь трубка? Садитесь в кресло.
Включите экран. Вниманье!

Вот вы маленький-маленький. Вот
Школяр, голова ежова;
Вот вытягиваетесь в большого,
И усы оттеняют рот.

Вы меняли морские карты,
Вы любили «козла забивать»...
Но надо уметь кое-что забывать,
Вырезать из памяти кадры:

Этот оттиск зубов на губах
От житья среди вихрей буйных,
Когда были мы храбры в боях
И трусливы в тылу на трибунах.

И такая брала тоска,
Такое к себе отвращенье...
Как же в памяти это таскать,
Чему нет и не будет прощенья?
Оно, как сверчок, в мозгу
Все сверлит, и сверлит, и гложет.
Ах, забудьте об этом, кто может!
А я...
Я не могу.

1968

* * *

Старцу надо привыкать ко многому,
К слепоте, и глухоте, и слабости.
Но хотя отпущен малый срок ему,
Он от жизни ожидает сладости.

В чем она? Ответить он не может.
Да и радоваться разучился.
Вся отрада — день сегодня прожит.
Как монеты, он считает числа.

19 марта 1968 г.

* * *

Что ни столетье — мир суровей,
Людишки мельче и хищней.
Земля пузырится от крови
Среди обуглившихся пней.

В пространства океанских вод
Кометы падают со звоном.
Куда история ведет,
Когда наука служит войнам?

Философ, химик ли, матрос,
Шахтеры, школьники, поэты —
Все задают себе вопрос:
Что будет с нашею планетой?

И с каждым годом все ясней,
Что без идеи Коммунизма
Земля вращается без смысла
Навстречу гибели своей.

19 марта 1968 г.

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВНУЧКА МОЯ КСАНОЧКА

Мы кудые. Мы круглые,
Курносенькие мы.

С тобой играю в куклы я,
Шью зайцев из кошмы,

С тобой над картой пегою
Карандашом я бегаю,

А что с тобой и так:
Ни этак
и никак.

Но сладко у коляски
Почувствовать семью
И знать, что эти глазки
Оплачут жизнь мою.

1958

КСАША И ПРИСТАВКА «Же»

Говорила Ксаша деду:
— Же, конечно, я уеду
На десятом этаже!
Ну, а девять, что пониже,
Будут, бедные, без крыши
Дождаться на дожде.
Же!

1958

В О П Р О С

Растеряв на дорожке калошки,
Вбегает она, как мальчишка:
— Дидя!
 Как ты думаешь?
 При кошке
Не стоит говорить,
 что я мышка?

1959

* * *

Внучку спрашивает дед:
— Любишь деда или нет? —
И услышал он в ответ:
— Или нет!!

1963

КАК КОГО ЗОВУТ!

Как зовут цыпленка?

Цып-цып-цып!

Как зовут утенка?

Тась-тась-тась!

Как зовут котенка?

Кис-кис-кис!

Ну, а как ребенка?

Валюша,

Ванюша,

Алена,

Алеша,

Тит!

Имполит!

Как дочку зовут?

Как сыночка зовут?

1966

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Баю-баю-баю-баю,
Ты уже напился чаю,
Кашку съел и наигрался,
Нашалился, наболтался,
Так теперь уж засыпай,
Баю-баю-баю-бай.

Вон присела на ворота
Говорливая сорока,
Кра-кра-кра-кра —
Маленькому спать пора.

В окна голуби взглянули,
Гули-гули-гули-гули.
Надо маленькому спать,
Чтобы утра не проспять.

Баю-баюшки-баю,
Как я кутика люблю!

1966

ЗВОНАРЬ

Жил да был звонарь Пахом —
Бом! Бом! Бом! Бом!
Как пройдет по голосам,
Бам! Бам! Бам! Бам!
Птицы мечутся над ним —
Бим! Бим! Бим! Бим!
Но бывал он и угрюм:
Бумм! Бумм! Бумм!

1966

КСАША И ПАПА

— Ах ты, Ксаша, моя Ксаша,
Оксана Васильевна.
У тебя остыла каша,
Оксана Васильевна.

Под мячом забыта книжка,
Оксана Васильевна,
И куда девался мишка,
Оксана Васильевна?

Отвечает Ксана папе:
— Василий Васильевич!
Мишка... Он теперь без лапы,
Василий Васильевич.
Очень я его любила,
Я его похоропила.

— Понимаю горе ваше,
Оксана Васильевна.
Ну, а как же книжка с кашей,
Оксана Васильевна?

— Не останусь я голодной,
Василий Васильевич:
Кашку можно есть холодной,
Василий Васильевич.
Да и книжка не растает,
Василий Васильевич.
Пусть и мячик почитает,
Василий Васильевич.
Надо только на зрачки
Дать ему твои очки.

1966

ЧТО ПРАВИЛЬНО!

Гречка
В печке?
Валенки
На завалинке?

Валепки
В печке?
На завалинке
Гречка?

Гречка
В валенке?
Печка
На завалинке?

Валенки
В гречке?
Завалинка
В печке?

1966

ПУБЛИЦИСТИКА

БАЛЛАДА XX ВЕКА

Это всего только сказка...
(Но сказки живут на земле!)

Посмертная белая маска
Висит в Московском Кремле:

Крутые надбровные крылья,
Огромного лба массив.
Но душу глаза не сокрыли,
Плотные веки смежив:

Это сквозь пламя и дымы,
Это сквозь все щиты
Натиск неукротимый
Воинствующей мечты.

В полночь, когда куранты
Прольются над шумом аллея,
Увидишь фигуру гиганта
С лицом, что маски белей.

Насыщены думой орбиты,
Гремящая пауза рта,
Не без задора подбриты
Усы и борода...

Почудится: шагом гулким
Виденье проходит в тиши.
Идет оно переулком,
Заглядывая в этажи.

Шестые, седьмые, восьмые...
Не все обитатели спят:
Иные читают, иные
Над рукописью корпят.

И вдруг в неожиданном месте
Сиянье надбровных крыл!
Иному почудится: месяц
Окошко его озарил.

И он оторвется от чтенья,
Глядит — в окне никого.
Но странное возбужденье
Душу охватит его.

И сразу в сонные шумы
Сверчков ли или часов
Могучие ринутся думы
На чей-то влекущий зов...

Но, глядя взором орлиным,
Идет и идет гигант
Прагой, Парижем, Берлином,
По льдам Кордильер и Анд —

И всюду томление крови
Волною всплещет к луце,
Когда эти лунные брови
Сверкнут в голубином окне,

Когда в тиши над карнизом
Весна проглянет в зиме,
Как будто бы сам Коммунизм
Виденьем бредет по земле.

1924

С Л О Н И М Ы Ш И

(Басня)

Однажды Слон пришел в собрание Мышей
И говорит: «Мы цвета одного ведь,
Мы против хищников, у нас одна мишень —
 Давайте же дружнее и мощней
 Облаву на врагов готовить.
Я вам сгожусь: я — тысяча пудов,
Слоновья кость — мои крутые бивни...»

Но Мыши взвизгнули на тысячу ладов,
 Не по масштабику самолюбивы:
— Да это что это?

— Соседка, слышь:

Он думает небось, что он сверхмышь,
Свой зуб равняет со слоновой клычью!

— Гляди, гляди: он смотрит сверху вниз!
— Ах, ницшеанец! Ах, оппортунист!
Ах, мещанин, объятый манией величья!
Такой-сякой!

— Нет, это невтерпеж! —

И Слон такую резолюцию услышал:
«Считать нахала мельче всякой Мыши».

Вердикт опубликован. Все читают.

И что ж?

Да ничего. Считают.

1931

ОТВЕТ Г. УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ

Как будто бы закончена война
И можно тишиной блаженной упиться,
Но возглашает радиоволна
Опять заветы мертвого убийцы.

Гляжу в окно. Рассвет угрюмо сер,
Рассвет кровавой линией очерчен:
Я слышал Вашу речь, высокочтимый сэр
Уинстон Черчилль.

Так по ночам в лесу кричит сова.
Но ставлю доллар против цента,
Что в крике том английские слова
Звучали с примесью... немецкого акцента.

О чем Вы, собственно? О том, что наш народ,
Далекий от картежных комбинаций,
Расистских козырей не признает,
А требует пути для самых малых наций?

О том, что, несмотря на кляксы клеветы,
Стекающей с иных
Народы всей земли
статей, поэм, гуашей,
так жаждут правды нашей,
Как путники — воды?

Но Вам ли, сэр, низы уговорить
Опять метнуться трупами на бруствер,
Самим себе опять могилы рыть
Из уваженья к Вашему искусству?

О, не ищите, сэр, тут происков Москвы.
Нет, сотканная из простейших истин,
История здесь говорит, увы,
Достопочтенный сэр Уинстон.

Она сейчас яснее букваря.
Кого влекут военные увечья?
Сегодня разгорелась, как заря,
Тоска о дружбе человечей.

Она во мне, и в соном, и в любом...
Неугасима в самом хищном быте,
Она мощнее всех атомных бомб,
И ей решать грядущие события.

От Андоз до Карпат, от Альп и до Сиерр
Все жить хотят
(простите за банальность).

Напрасны, сэр, все Ваши маски, сэр,
Что примеряете Вы, забавляясь:
Библейский ли «пророк»,
или британский «лев»,
Иль «ангел мира» — знайте, Черчилль:
Вас выдает сквозь каждый блеф
Неистребимый запах смерти.

ФРАНЦИСКО ФРАНКО

Есть на свете паук-фаланга,
Есть тарантул, есть скорпион.
А то еще есть Франциско Франко,
Монах, палач и шпион.
Кто говорит, что Франко изменщик?
Тут ошибается стар и мал:
Благочестивому звону... денег,
Франко и в мыслях не изменял.
Мало ли что прочитаешь в газете.
Преданность! Этим он только и жив.
Он и женился на звонкой пезете,
Супругу в приданое получив.
С другими юношами морока:
Нужна им идея, чужда им грязь.
А он не таков. Он едет в Марокко,
С немецкою маркой вступивши в связь.
Но грустно шпионить над чуждым заливом.
Тоскует о родне генерал.
И вот он вернулся к родным оливам,
Как только блеснул золотой реал.
Но эта «реальная» подошлека
Угрози опрокнуться кверху дном:
Виденье рабоче-крестьянского блока
Пугает гадину почью и днем.
И снова с Берлином смигнулся Франко,
Всосался в Испанию мой генерал:
По пфеннигу брал он за каждую ранку,
За каждую рану по марке брал.
Но нет покоя на белом свете:
Новая буря взвивается вдруг...
Сдул паушину фашистскую ветер —
Остался на ниточке мой паук.
Кто говорит, что продажен Франко?
Не к чему больше марки копить...
Не купишь Франко теперь и за франки!
Только... за доллары можно купить.

1946

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ О БЕЗЫДЕЙНОСТИ ИНЫХ ИДЕЙ

Идеи — великая вещь. Но к идеям
Нужен, товарищи, глаз.
Во-первых, с кем мы дело имеем?
Какой за идеей класс?
А во-вторых, цель какова?
Чего она хочет, идея?
К чему стремится голова,
Идеями владея?

Без этого жизни понять нельзя.
Вот случай с одной страной:
Америка в прошлом веке, друзья,
Жила себе стороною.

Не так, конечно, как черный иннок,
Не о Христе скорбя:
Америке американский рынок
Нужен был для себя.

Еще не созрели хапуги страны,
Земля не давала ренты,
И, как пираты, были страшны
Заморские конкуренты.

Итак, положение крайне остро.
Как от чужих отбрыкаться?
И тут возникает идея Монро:
«Америка —
для американцев!»

В Европе пускай хоть всемирный потоп,
Простите, я не играю,
Я — Америка. Точка. Стоп.
Американская хата с краю.

Но вот над ней восходит звезда.
Растут небоскребы из дола,
Наплся жиром и заблистал
Американский доллар.

Пошел он по Штатам кружить колесом,
Изъездил грады и веси.
Был сначала почти невесом.
Теперь ничего. Весит.

Центами пузо свое напичкал!
Однако... съедены центы.
А между тем живой капитал
Должен давать проценты.

Где их взять? Безработный народ
В кармане считает соринки...
Черта с два теперь доллар найдет
В Америке новые рынки.

Но может ли золото спать, как свинец?
Деньги ведь стоят денег!
Доллар уже начинает звенеть
В поисках новых идеек.

Он начинает уже обонять
Запах Европы сладкий...
Ах, как хочется братски обнять
Пенни, копейки, сантимы!

Звон его на скрипичной струне
Просто лирически тает...
Тесно ему в родной стороне —
Воздуху не хватает!

Эти страдания спать не дают
Всяким философам лысым,
Те
спросонья
создают
Космополитизм.

И доллар, настроясь на этот тон,
В Лондон, в Париж, Вену!
— Что мне родина? Что Вашингтон?
Я — гражданин вселенной!

Но если взглядеться в рекламный лак,
То сквозь дешевку глянца
Идейка сия читается так:
«Вселенная —
для американцев!»

Идея — великая вещь. Но к идеям
Нужен, товарищи, глаз.
Зря ли мы, что ль, диаматом владеем?
Наша копейка при нас.

1947

**ПРИВЕТ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ГЕРМАНИИ**

(На альбома зарисовок)

Не путать народа с кликой —
Вот мудрость большевиков!
Давно ли фашизм дикий,
Топча культуру веков,

Плясал в людоежьем гимне,
И, позабыв обо всем,
Вопил от тевтонского имени
О мессианстве своем,

И, все предавши заветы,
Рванулся в просторы полей,
Чтоб уничтожить Советы
Во имя... сверхприбылей.

Все, что душе было дорого,
Не шло уже ни за грош,
Казалось, дыханьем пороха
Дышала зеленая рожь,

И, техникой смерти хвастая,
Шагал мещанин среди нив,
Всю философию Фауста
На фаустпатрон сменив.

Однако германский гений
Восстал в эти страшные годы:
Уходит в подполье Гейне,
Грозит из грядущего Гете,

Над сердцем их благородным
Опять занимается утро...
Не путать клику с народом —
Вот большевистская мудрость!

Мы шли, в боях вырастая,
Гася военный угар.
Мы били фашистские стаи
За Керчь и за Бабий Яр,

За то, что солнце июня
Стало пожара черней;
За то, что убили юность
У миллионов парней;

За розы болгарских долин,
За голос французских баллад,
За то, чтобы словом «Берлин»
Нигде не пугали ребят.

Не путать народа с кликой!
Сегодня даль обозрима:
Знамя Вильгельма Пика —
Венок мертвецам Освенцима.

Но помни о том, что рядом.
Готовься вновь к обороне:
Пристрастна к военным парадом
Лжереспублика в Бонне.

Небезызвестный Некто,
Объятый стяжательской манией,
Опять готовит ландскнехта
Из молодежи Германии.

И вновь пробуждается юнкерство
Надеждой на русские трупы —
Трубят агенты Юнкерса,
Бьют в барабаны Крупна.

И снова диктует сверхприбыль...
Но нет. Былому не быть.
Фашизму немецкому гибель!
Народу германскому жить!

РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

Луна дробится по волнам,
Луна течет по валунам.
У самых вод на берегу
Лежит республика Вьетнам.
Костер горит у самых вод,
Рыбачьи лодки он зовет.
Зачем же вместо рыбаков
Пред ним возник военный флот?
Зачем ползет за танком танк
Через Бак-Ан на Каобанк?
Луну не спрашивай, солдат,
Спроси о том французский банк.
Быть может, там ответят нам,
Что цинк, и уголь, и вольфрам —
Вполне солидная вина,
Чтоб жечь республику Вьетнам.
Но изречет скорей всего
Какой-нибудь аббат Сеп Во,
Что в желтых странах белый штык
Есть высшей правды торжество.
Кто говорит про барыши?
Во имя бога и души
Зуавы скромные идут,
Едва колебля камыши;
И даже вынутых из тьмы
Эсэсовцев видали мы,
Хоть им положено отбыть
Пятнадцать тысяч лет тюрьмы.

Не говорите: это сброд!
Наоборот: святой народ —
Ведь он, *пassez moi le mot*¹,
Культуру Азии несет.

¹ Простите за выражение (*франц.*).

Но край наперекор словам
Свою судьбу решает сам.
И вот с бамбуковым копьём
Встает республика Вьетнам.

Пускай сюда французский банк
За танком гонит новый танк —
Уже миллионы поднялись
За партией Конг Шан Данг ¹.

Пускай над пальмами парят
Все асы Франции подряд —
«Долой войну!» — провозгласил
Парижский пролетариат.

Восстал, восстал народный ум!
Единство душ, единство дум —
Необоримо, как потоп,
Как извержение, как самум...

И хоть опять к твоим огням
Десант шагает по волнам,
Ты выступишь. Ты победишь.
Салют, республика Вьетнам!

1949

¹ Конг Шан Данг — Коммунистическая партия Вьетнама, ныне партия трудящихся Вьетнама.

ПЕСНЯ О ВОСЬМОМ СЛОНЕ

(Из Бертольта Брехта)

Семерых слонов имел мистер Джинн.
И был там восьмой, очепь зоркий.
Семь были дикими, ручной же восьмой,
И восьмой сторожил семерку.
Гей, рысью! Гей, рысью!
У Джинна имеется лес.
Он должен быть до тьмы почной
Выкорчеван весь.

Семь эфянтов корчуют лес.
Мистер Джинн на восьмом восседает.
Нумер восемь глядит. Он на вахте стоит,
Работу семи наблюдает.
Рыть глубже! Рыть глубже!
У Джинна имеется лес.
Он должен быть до тьмы почной
Выкорчеван весь.

Семь слонов заупрямились вдруг:
— Целый век корчем и возим! —
Мистер Джинн стал зол: семерых обошел
И дал рису номеру восемь.
Что! Взяли? Что! Взяли?
У Джинна имеется лес.
Он должен быть до тьмы почной
Выкорчеван весь.

Семеро слонов не имели клыков:
Их клыки во рту у восьмого.
И восьмой нанес им немало ран
И заставил работать снова.
Рыть дальше! Рыть дальше!
У Джинна имеется лес.
Он должен быть до тьмы почной
Выкорчеван весь.

1951

Не поняли ни черта?
Ведь мир
на краю гибели!

— Простите. Но ваш апломб...

— Ах, бросьте вы жесты эти!
Одиннадцать водородных бомб —
И кончится жизнь на планете!
Счернеет земной шар
В пепле огненных ливней!
Одиннадцать — вот кошмар,
Поднявший черные бивни!
А вы вот сидите за кофе,
Вы можете пить! Есть!
Одиннадцать бомб — катастрофа!!
Сделано десять.
Осталась одна... одна!! —
Студент вскочил и умчался.

Как прежде, дымилась чашка,
Но было уже не до сна.

Что за бредовые речи?
Спокойно!

Газета где?
Но с быстротой сумасшедшей
Кружилась ложка в бурде.

Врубель, Роден, Тосканини —
Все отныне на слом.
«Одиннадцать» будет отныне
Древним «звериным числом».

Он прав, молодой проповедник,
Я пью этот кофе... курю...
А мы ведь из самых последних
На самом-самом краю.

О, горе тебе,
Мир!
Повержен будешь навеки.
Ощерятся гнезда квартир,
Вспыхнут у статуй веки,
Нот перепутанных сплав

Взнесет немоту симфоний,
Горящей строчкой опав
На рычажок телефонный,—
И вот сигналы прольют
Дробь вызывающей меди —
Это скрипичный прелюд
Пытался связаться с бессмертием.

Бездушна, как свод небесный,
Земля непробудно тиха:
Ни голоса жениха,
Ни отголоска невесты.

А хохот лесовика,
Русалку поймавшего в сети?
Безмолвие на века,
Недвижность пустых столетий.

И только один Водород,
Свои озирая владенья,
Как призрачное виденье,
На Эверест взойдет,
Оттуда спустится в Татры,
На Рим пожелает ступить,
Зевая, осядет в театре,
Где слышалось: «Быть иль не быть?»
И страшным Небытием,
Словно безмолвное эхо,
Ответит, торжественно нем,
На жгучий вопрос человека.

— Да вам-то что до того? —
Спросили из рядом сидящих. —
Вы-то сами, тово...
Годик-другой — и в ящик.
Так что ж вам глядеть в кулак,
Гадать на кофейной гуще?
— Странный вопрос!

— То есть как?

— У меня ж отнимают Грядущее!

И вдруг мой студент опять
Несется к нашему столику:
— Спасенье... Спешу вам сказать...
Сам я узнал вот только...

(Хоть губы сизы, как мел,
Прекрасен он, словно ангел:
Он будто возвысился в ранге!
Голос его звенел!)
— Ребята! Слух приготовь
Для вести особого рода:
Жизнь возродится вновь
Именно из водорода!
Пробьется она сквозь века!
Это ж достойно гимна!
Вот диалектика! А?
Из водорода! Именно!

Но тут на меня пашло
Бешенство молнии синей:
— Значит, не страшно отныне
Звериное ваше число?
Пусть человеческий след
Исчезнет? Важна основа?
Через миллионы лет
Жизнь возродится снова?

Ну хорошо. На земле
Появятся в дальней эре
Культура новых бактерий,
Новых Хафиз, Рабле...
А золотая черта?
А профиль моей любимой?
Миллионных лет череда
Не занимается ими.
А мне этот лик золотой
В этом закатном свете
Дороже всего на свете,
Цепней диалектики той.

Люди... Милые люди...
Как просто утешить вас.
Немного сердечных фраз
В казенщине словоблудья,
Один зеленеющий мирт
В пустыне чертополоха —
И вы уж кричите: «Эпоха!»
Очнись от виденья,
Мир!

Ни рифмы,
ни звуки,
ни числа

Не стоят сейчас ничего:
Нет величавес смысла
Дыхания твоего.
Ужели ж ему оборваться
Лишь оттого, что босс
Меж акций да облигаций
Звериной шкурой оброс?
Несется призыв Кремля,
Но боссы безумьем объяты,
Но боссы, фальшивя, юля,
Прячутся за дебаты;
Скупив небесный эфир,
Вселенной рискнуть готовы.
Что же ты смотришь,
Мир?
Надень на безумье оковы!
Развей его прахом! Золой!
Войну объяви мертвизне!
Во имя сегодняшней жизни,
Во имя черты золотой...

1957

БАЛЛАДА О СЛОНАХ

Эй, утолите жажду слонов!
Снег не выпал на Килиманджаро...
Бродят слоны меж сухих стволов,
Каждый — подобье земного шара.

Шли к водопою, но водопой
Лишь грязная жижа. И стонет мясо.
Бродят слоны, и с каждой тропой
Все больше сливаются в толпы и массы.

Бродят слоны. Ни рек, ни озер.
Бредут они,
ветви да сучья корная...
Бредут — и звереет их кроткий взор,
И вой раздается, как рев карная ¹.

И вдруг побежали. Зачем? Куда?
Бегут, бегут, по дороге безвестной.
Где-то вода... Вода! Вода!!
Слоны дымятся, как джиппы из бездны.

Эй, утолите жажду слонов!
Вот понеслись пегритянской деревней,
И люди уже не видят снов,
И рушатся хижины да деревья...

Дробь телефона. Брошен заслон.
Против слонов выступают ташки.
— Огонь! —
и падает первый слон,
И топчут массы его останки.

— За короля! — разносится зов.
— Ура! — И знамя над местом казни.

Эй, утолите жажду слонов!
Это дешевле и безопасней.

1958

¹ Карнай — на Востоке духовой музыкальный инструмент.

Взъерошившим свои крыла
В железной клетке.
(Гордый лик
В плену особенно велик.)

Я это чувство понимал,
Хоть был тогда обидно мал,
Я очень гордо крылья нес,
Хоть был еще чуть-чуть курнос;
Но где же девушка моя,
Ее хотя бы силуэт?
Где та заветная скамья,
К которой вел бы нежный след?
Ведь каждому из нас дана
На веки вечные одна.

Я так мечтал
ее бровям
Преподнести
свое крыло.
Но мне, должно быть, как и вам,
Сначала долго не везло;
Я, как и многие из вас,
Гадал: она иль не она?
И вдруг — она...
Она одна!
Орлом бровей осенена,
И Революцией звалась.

2

Мальчишкой в восемнадцать лет
Я защищал ее,
Горошек иволгиных флейт
Переменив на воронье.
И, с боем окунаясь в Крым,
Гранатой солнце ослепя,
Я кровью, выдыхавшей дым,
Ей посвятил себя.

И был я счастлив до того,
Что комиссара своего

Вопросами

вгонял

в пот:

— Когда же страшное придет?
— Когда же страшное придет? —
Но страшного я не видал,
Хоть был изранен, хоть ослаб,
Хоть ворон надо мной витал,
Хоть наклонялся шваб.

Я не был баловнем судьбы,
Нелегкой жизнью жил,
И то, что взял я, что добыл,
Я брал ценою жил.
Но не пленит меня и тот,
Кого ласкают землячки,
Кто, в лужу обронив очки,
Златую рыбку достает.

Я жил, товарищи, как и вы,
Надеясь на собственное плечо.
Меня не пугали ни мудрость совы,
Ни каркающее грачье.
И я,

как в молодости,

опять,

Пройдя за дотом дот,
Мог комиссара донимать:
— Когда же страшное придет?

Нет, я не легкой жизнью жил,
Быть может, оттого что смел,
Но быть несчастным не умел
И потому счастливым был;
Лишь замороженный судак
Способен жить ни так ни сяк.

Я знаю: шутовски крестясь,
Кой-кто отвергнет мой экстаз.
Мол, в наши времена
О счастье и мечтать нельзя —
Война, труды, опять война,
Опять труды...

Но вы, друзья,

Живя в суровой стороне,
Забыли о струне.

В душе у каждого из нас
Своя глубинная струна,
Она живет не напоказ,
Лишь с нами говорит она.
Слова скупы. Наперечет.
Но ты прислушивайся к ней;
На свете нет ее родней:
Она ведь *душу* бережет.

Ты должен ввериться струне,
Когда настроенность ее
Не подголосок старине,
А чует новое литье.
Отважно поступай всегда,
Едва она подскажет: «Да».

Но горе горькое тебе,
Когда порой на крутизне,
Чтобы подладиться к толпе,
Забудешь о струне!
Ее меняя на медяк,
Ты пропорхаешь кое-как.
Но, словно висельник, во сне
Вертеться будешь на струне.

3—4

У человека испокон
Есть право звать вперед.
Но право кинуться в огонь
Лишь совесть на себя берет.
Не совестишка-правдолюб,
Что тихо поет, словно зуб,
Кого журят: «Не спи!»
Но та, что, став твоей судьбой,
Повсюду, грозная, с тобой,
Как тигр на цепи.
Не мне, друзья, судить о том,
Чего я стою, кто таков,
Но грозной совести путем
Пришел я в мир большевиков.

Не оттого ль вокруг меня
Собачий лай,
Вороний грай,
Что от стихов средь бела дня,
Хотя и вовсе не назло,
Тигриным запахом несло?

Я мог бы дать моей стране
Поболее, чем дал,
Но взял я в милой стороне
Такую ширь, такую даль,
Такое пение души,
Такой
 размах

 дум,
Что мне считать любой ушиб,
Ранений каждый дюйм
Я счел бы нищенской сумой,
Нет, больше — низостью самой.

И где бы ни был мой причал —
Средь ангелов или горилл,
О чем бы я ни говорил,
Чему стихи ни посвящал,
Там революции тавро,
Пыланье алого числа.
От них бессмертия стрела
Пройдет в мое перо.
(Моей заслуги в этом нет.
Я хоть и сильных посильней —
Одна из маленьких примет
Эпохи пламенной моей.)

Бессмертие... Но в нем ли суть?
Нигде я не был в стороне.
Но мало жить не как-нибудь,
Не между прочим, не вчерне,
Но мало, мало мне того,
Что я такой, как большинство.

О, если б знать, что из груди,
Из опаленных губ и глаз
Хотя бы искра, но зажглась,
Чтобы дорогу впереди

На миг, но озарить —
Я мог бы и в предсмертном сне
С последней думой о стране,
Как миф крылатый, воспарить
В Коммуне...

Но идут бои.

Сражайся. А мечту на дне
Души своей таи.

Простите гордость эту мне,
Товарищи мои...

1959

Поплелся раввин гололобый;
Одеты в суконные латы
И треуголки Галлии,
Подняв на плечи лопаты,
Факельщики зашагали;
Сошел с амвона хор,
Спустились женщины с хор —
И двинулись толпы в застенок
К бывшему «Лагерю смерти»,
Дабы предать убиенных
Тверди.

Но где же трупы, которые
Грудой, горой, мирами
Лежали у крематория,
Отмеченные номерами?
Где пепел хотя бы? Могила?
И вдруг — во взорах отчаянных
Опльвы сурового мыла
Блеснули в огромных чанах.
Глядите и леденейте!
Здесь не фашистский музей:
В отцов тут вплавлены дети,
Жены влиты в мужей;
Судьба, а не бранные кости,
Уйдя в квадратные соты,
Покоится тут на погосте
В раю ароматной соды.

Ужели вот эта зона
Должна почитаться милой?
Но факельщики резонно
В гроба наложили мыла,

И тронулись бойкие клячи,
За ними вороны нищие.
Никто не рыдает, не плачет...
Так дошли до кладбища.

О, что же ты скажешь, рабби,
Пастве своей потрясенной?
Ужели в душонке рабьей
Ни-че-го, кроме стона?

Но рек он, тряся от дрожи
Бородкой из лисьего меха:
— В'огавто
 л'рейехо
 комейхо! —
Все земное во власти божьей...

А в вечереющем небе
Бесстрастье весенней тучи.
И кто-то: — Вы лжете, ребе! —
Закричал и забился в падучей.

— Ложь! — толпа загремела.
— Ложь! — застонало эхо.
И стала белее мела
Бородка из рыжего меха.

А тучу в небе размыло —
И пал
 оттуда
 на слом
Средь блеска душистого мыла
Архангел с разбитым крылом...
За ним херувимов рой,
Теряющих в воздухе перья,
И прахом,
 пухом,
 пургой
Взрывались псалмы и поверья!

А выше, на газ нажимая,
Рыча, самолеты летели,
Не ждавшие в месяце мае
Такой сумасшедшей метели.

1960

ПИСЬМО К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ МИРА

(Копии на французском, немецком, английском, итальянском
и испанском языках)

Друзья!
Наши с вами анкеты
начинаются одинаково:
1917-й год.

Вы не согласны, коллега?
Кой-кто появился раньше,
а многие позже?
Неверно!
Сей магнетический год
притянул былое и грядущее.

В этот год
(до него ли,
позднее ль)
очень немногие люди,
носящие гордый титул
«интеллигент»,
знали,
что стоят у огромной зари,
наблюдая рождение эры;
что дыхание орудий —
это не просто действие формулы,
составляющей порох,
а тяжкая одышка Земли.
всползающей на новую орбиту.

Этот год
луженым бацищем
грянул
в ухо
каждому,

что он, этот самый каждый,
непременно обязан быть счастливым.

Но не все, не все поверили в это —
вот почему
(и только поэтому!)
оказалась возможной
война.

Когда человеку двадцать лет,
о чем он мечтает?
Вы улыбаетесь...
Ясно, конечно:
о любви!
О большой, великой,
ослепительной,
такой,
какой никогда ни у кого не бывало.

В степи,
напоенной дрожащим зноем,
где лазурное небо
стекает в красные маки,
алеющие до горизонта,—
девушка,
тонкая, прозрачная.
в голубом, струящемся платье,
под красным зонтом
в лазоревых небесах...
(Где он видел эту картину?)

И когда такого человека
вдруг
выскакивающий из траншеи
совершенно безбровый немец
почему-то хочет проткнуть
штыком ли,
пулей,
то есть лишить его в будущем
голубого счастья под красным зонтиком;
и когда такой человек,
не на шутку обидевшись,
сам протыкает безбрового
штыком

или пулей,—
философия этакого юноши
почти неизбежно
должна обрести черты субъективизма,
особенно
если он выходец
из мелкой-мелкой буржуазии.

Есть у мыслей такие повадки,
что к лицу
юнцу,
но у зрелости
омерзительны
до морской болезни,
как подмигиванье мертвеца.
Кстати, о мертвых.

Однажды
я видел красногвардейца:
глаза уже закатились,
горло сводила икота,
ногти быстро чернели,
но пальцы его, зампрая, бежали
вверх и вниз почти перебором:
парень явно играл на гармонии,
и песня
глухонемая,
здесь не проросшая звуком,
в юной душе моей зазвучала
и породила теорию,
решившую,
как я думал,
загадку человеческой жизни.
Мне казалось, что, если каждый

из нас —

профессор, забойщик, пахарь,
бухгалтер, солдат, кухарка —
сумеет
так заострить свои чувства,
чтобы в любом положении
найти ощущение счастья,—
значит, несчастья нет.

Но вскоре я убедился,
что это решенье —

сладкий, но отравляющий,
парализующий волю
яд:

ища свободы в пилюлях,
свободу-то я и утратил.
И только тогда я понял,
что самая важная в мире тайна,
тайна свободы воли,
принадлежит не мне,
по массе,
но человечеству.

Личность, увы, не в силах
счастье дать миллионам,
но миллионы волю,
слившись в единую Волю
и покоривши стихии
общества и природы,
освобождая

себя,
освободят
и личность.

Истину эту усвоив,
я и стал коммунистом.
И вот случилось чудо:
помпозив себя на мильоны,
вливаясь волей своею
в русло массовой Воли,
я почувствовал сразу,
что вырос, как «я», как личность!
Борясь за счастье мира,
я сам становлюсь счастливей.

Я не знаю, как мыслите вы, коллега.
Может быть, утром,
шипя сигарой,
сидите в кресле-качалке
на барсовой шкуре
и думаете:
«Я и вселенная».
Выключен телефон.
Спущены жалюзи.
В кувшине гладиолусы.
Тихо.
Блаженно тихо.

Никто из огромного мира
не постучит в окошко,
не прохрипит:
— Философ!
Поговорим о жизни!

Впрочем, кто-то стучится.
Действительно:
кто-то входит —
ветхие брючки,
галстук,
сшитый из жениной юбки.
— Простите, мсье,
нельзя ли
поговорить о жизни?
Что делать?
Такая профессия...
— Вы тоже философ?
— Отчасти...
— Гм... не совсем понимаю.
— Я, извините, агент
по страхованию жизни...

Выключен телефон.
Спущены жалюзи.
В комнате плавает дым.
И каждая ваша мысль
имеет ценность окурка;
можно найти в нем пряность,
можно и за окошко.

Но почему же никто
из миллионов?
Да просто:
хватит миру теорий блаженства!
Много их было, разных,
от Платона до Джеймса,
и каждая ошибка
стоила крови.

Не знаю, как мыслите вы.
А мы у себя в России
мыслим действием,
мыслим

борьбой за жизнь миллионов,
и эта борьба постепенно станет
творчеством счастья.

Коллега!

Я подхожу к основному.

Однажды на фронте
я наблюдал из окопа
атаку немецких танков.

Они ползли на Россию
в округлых шлемах,
как планетарии.

И вдруг я подумал:

«Черт!

Какие же залежи золота
затрачены на каждое
из этих железных зданий!

Танк № 1-й — школа,

Следующий — больница.

Третий — быть может, кафе.

Семьдесят танков...

Ведь это

целый районный центр —

Железоград!

Здесь можно было бы жить,
учиться,

расти,

окрыляться;

отсюда могли бы выйти

новый Эйнштейн

или Рейнгардт.

Но танки ползут на Россию

в железных

своих бородавках,

о нет,

совсем не кафе,

не школы и не больницы,

а сейфы, сейфы, сейфы

с пакетами радужных акций,

стремящихся контролировать

нефть,

хлеб,

мысль.

Коллега!

На нас надвигается,
как ледниковый период,
всепланетный убой.

Кто жаждет его, коллега?

Вы?

Я?

Мы?

Еще на земле дымятся
обугленные руины,
при взгляде одном на которые
вы слышите плач
и стон;
еще метаном и толлом
смердят огромные воронки,
в которых, бог весть по какой причине,
трава не хочет расти,—
а вас одевают в рясу
походного капеллана,
чтобы служить мессу
богу одиночества.

Коллега!

Хватит ли духу
понять, что полчеловечества
ныне ушло в подполье,
а в командорском кресле расселась
с дымом в зубах
Бомба?

Бомба ездит в «линкольне»,
Бомба диктует декреты,
Бомба на Бомбе женится,
бомбы рожают бомбы,
бомбы играют в гольф,
бомбы пишут стихи
и даже, осклабясь цифрами кода,
сочиняют сентенции:

«Мужик туп,
Рабочий глух,
Интеллигент беззуб».

Ах!

Как жить, не подавая голоса,
когда царит фальшивый глас,

и только нюхать гладиолусы,
утонченно прищурив глаз?
А я, брат, не попячусь в логово,
брезгливо бормоча: «Крысье...»
Мне для себя не нужно многого.
Мне для народа нужно *все!*

Поднять на всей планете
гнев пролетариата,
зажечь возмущением сердце
мирового крестьянства,
овеять пламенем душу
колониальных рабов —
вот святая задача
всякого человека,
носящего гордый титул —
«интеллигент».
Согласны?

А если нет, коллега,
сожгите свои дипломы
и можете с полным правом
писать в интимных письмах
«корова» через «ять».

На кой вам понадобились
ваши пятерки?

1960

Л Ь Д И Н И Щ А Л У Н Ы

Ты всегда тоскуешь за границей
По дыханью русского раздолья,
Где на веки вечные хранится
Кладом заповедным наша доля.

Но теперь тоски былые тернии
Утеряли остроту свою:
Всюду с нами Лунная губерния,
Накрепко вошедшая в Союз.

Лунный лик уж не обличье Каипа —
Красный вымпел врезался, как лом!
Хоть Луна — далекая окраина,
Мрачно отливающая льдом,

Хоть она бывает иглокожа,
В тучах нелюдимо хоронясь, —
Ныне эта льдиница для нас
Всею обличьем с Арктикою схожа.

1960

КОСМИЧЕСКАЯ СОНАТА

1

МЕЧТАНИЕ

Allegro

Лежит океан. Ни мятется, ни мается.
Сквозит синевой до самого дна.
Лишь в стороне кое-где подымается
То ли акула, то ли волна.

Эту стихию пссиня-спнюю
Режет пронумерованный киль.
Плывем чудовищной котловиною
В 50 000 000 квадратных миль.

Сердце! Потеше кровь мою взбалтывай:
Отсюда космическою волной
Вырвался мир гранито-базальтовый,
Хлынул в небо и стал Луной.

Как странно в мозгу сочетаются звенья!
Стою над бушпритом, и чудится мне
До спазмы в горле,
до сновиденья,
Что мы на Луне.

Великий океан
1934

2

СОМНЕНИЕ

Andante

Умом, конечно, постигаю:
Не зря затрачены рубли
И скоро вытянутся в стаю
Космические корабли,

И я готов забить в ладони,
Когда наградой за труды
Извергнет в облако плутоний
Струю горячей быстроты.

Но, словно тайное несчастье,
Томит мне душу этот газ:
Нет, я, наверное, в мещанстве
До безнадежности погряз.

Пусть обвинят меня во зле,
Я все-таки не скрою правды:
На кой нам лунные ландшафты?
Уладиться бы на Земле!

Ведь мир подлунный так прелестен...
Когда б не Каинов бы грех,
Здесь гор, морей, берез и песен
Вполне хватило бы на всех.

Но человечество бессильно
Остановить свой бег вперед,
Хоть дышит пастью замогильной
Его хозяин — Водород.

1957

3

ЛИКОВАНИЕ

Scherzo

Мир сегодня голубой от радости!
Колдуны, гнездящиеся где-то,
Объявили обществу по радио,
Что пустили на Луну ракету.

На Луну! Как мудро и наивно!
Это пахнет возрастами ранними:
Так, бывало, над травой крапивной
Мы пускали змея с барабанами.

Был он, змей, главней всего на свете
В переливах неба бирюзового!
Мимо шли солидные соседи
Заседать, судиться, приторговывать.

Люди волц, натиска и действия,
Очень взрослые, седые люди,
Мы сегодня возвратились к детству
С детской уверенностью в чуде.

И хоть чудо с цифрами да числами
Расчленяется на мегагерцы,
Этот подвиг оторвать немислимо
От ребяческих мечтаний сердца.

И заулыбался «змею» в космосе
Мир, обросший деловой корою...
Как бездарна вся серьезность косности
Рядом с этой колдовской игрою!

14 февраля 1959 г.

4

ПРОЗРЕНИЕ

Finale

Пушка выстрелила человеком,
запаянным в капсуле,
и он превратился
в небесное тело.

Вечность и бесконечность
совершают великий осмос,
образуя вселенную,
а в ней
отливающая сталью искра
летит по кривой «икс-игрек»
меж болпдов и метеоритов
на равных с ними правах,

и единственное,
что ее отличает,
это деталь:
сознание.

Искра видит звезды
и окликает каждую:
Дубхе,
Мерак,
Федж,
Мегрец,
Алькор,
Мицар,
Бенетнаш!
Но звезды тупо моргают,
но звезды не откликаются
и даже знать не знают о том,
что кем-то соединены
в рисунок полярного медведя.

Сверкают «Волосы Вероники»,
и «Пояс Андромеды»,
и тысячи других вещей
в хаосе первозданном,
который расчислен и упорядочен
этой вот малюсенькой искрой.
А рядом горят
мирнады солнц,
величественных и безмозглых,
бессмысленно летящих
с безумной скоростью.

Пройдут века.
Земля
с ее голубой атмосферой
оденется в стеклянный эллипсоид,
из вулканического раструба
хлынет атомный взрыв,
подобный протуберанцу —
и наша планета
по воле всего человечества
вывихнется из орбиты
и покатится по вселенной
в неведомые миры.

Где-нибудь в районе Сириуса
выберет она орбиту
и станет кружиться вокруг,
а Сириус,
обмирая от счастья,
будет
обогревать ее, Землю,
пленительную, как девушка,
в лилиях своих и снегах.

А надоест — обсудим вопрос
на конгрессе земного шара,
и снова отъедем
куда-нибудь в новую Галактику
и вновь обручимся на тысячелетье
с кем-нибудь вроде Канопуса.

Все это будет.
Будет!
И все это случится оттого,
что человеческая кровинка,
вылетев из завода,
стала небесным телом.

Земля — это дух вселенной,
оправдание бешенства матери,
истинный смысл истории которой
в том,
чтоб возникла
искра,
заряженная сознанием.

Москва
12 апреля 1961 г.

ДОРОГУ, КОСМОС: ЛЕТИТ ЗЕМЛЯ!

Юрию Гагарину

Чтоб осознать все богатство события,
Надо в пилоте представить себя:
Это ты,
 читатель,
 из ритма обычая
Вырвался, пламенем всех ослепя;

Это ты, экономя в скафандре дыхание,
Звезды вокруг ощущаешь, как вещи,
Это ты, это ты отринул заранее
Грани психики человеческой;

Ты — утратив чувство весомости,
Ангелом пад телефоном паришь,
Ты — в состоянии нервной веселости
Рядом приметил Гжатск и Париж...

И хоть бинокль высокого качества
Видит землю во все люветы,
Это тебе Земля уже кажется
Эллипсоидом дальней планеты,

А ты во вселенной — один-единственный.
Ты уж не Юрий — комета сама,
И пред тобой раскрываются истины
Такие,
 что можно сойти с ума!

Но ты не искринкой махнул во вселенную,
Тебя не осколком несло сквозь небо:
Луну ты можешь назвать «Селеною»,
И это совсем не будет нелепо:
От древнего Стикса до нашей Москвы-реки,

Вся устремившись в этот полет,
Культура

всей

человеческой

лирики

В дикости космоса

гордо плывет.

И сколько бы звезды тебя ни мытарили,
Земляк ты наш перед целым светом,
«Земля» — твоя марка на инструментарии,
Но не ищи ты абстракции в этом:

С собою взял ты аппаратурую
Не только приборы своей страны,
Но и в мешочке землю бурую —
Русскую пашню, вешние сны...

Высоко над радугой полушария
Ты в черноте изучаешь Солнце,
Ты отмечаешь линии бария,
Цифру вносишь в рубрику — «стронций»,

Но милый светец избы-деревенщины,
Но этажерка любимых книг,
Но брови той удивительной женщины,
Что пальцы ломает в этот миг,

Но дочки твоей шоколадная родинка,
Но мать, породившая горе-сынище,—
Это родная земля, это родина,
Этого ты и на солнце не сыщешь!

Что может значить мирок этот малепький,
В стихиях стихий лилипутный уют?
Сквозь хладный Хаос

жилки-проталинки

В ладонях душу свою берегут,

А в этой душе — песня весенняя,
Миф об Икаре,

звезды Кремля,

Чего и во снах не видит вселенная.

Дорогу, Космос: летит Земля!

1961

**СКАЗКА О ЗАЙЦЕ,
КОТОРЫЙ ПОБЕДИЛ ВОЛКА**

(В назидание хищникам)

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Погулять решил зайчонок,
А на дереве галчонок,
Непричесанный, босой,
Закричал ему:

— Косой!

Удирай ты, ради богу:
Волк выходит на дорогу...

А уж на поле, в лесу ли
Мчатся чалые косули,
Лезет в логово барсук,
В норку юркнула лисица,
В пихте прячется куница,
Соболь пятится за сук.

Удивился заяка-
Немогузнайка.
Зайнька под кустиком полеживает,
Серенький по сторонам поглядывает.
«Эка! — думает. — Потеха!
И что оно зверям за помеха?»
Серый волк
Зубом — щелк!
Выбежал, лютый, на тропинку,
Перешел Голодай на дорожку —
Любит он свежую дичинку,
Но таится дичина сторожко.
Только мой зайчишка не прячется,
Не прыгает, но и не пятится,
Да прикрыл его низкий сук —
Мимо прошел бирюк.

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайка наш опять.
Был он прежде очень тихий,
А теперь гляди: силеп!
Старой бабушке-зайчиче
Говорит отважно он:

— Видел, бабка, бирюка:
Он седее барсука,
Но ведь есть богаче шубы —
Ну хотя бы лисий мех.
Зубы? Да, большие зубы,
Но ведь зубы есть у всех.

Улыбнулась бабушка
Детской простоте:
— Волчьи зубы, заюшка,
Те же, да не те.

— Те же, те же, — молвил зайка
Средь испуганной семьи. —
Эти зубы, почитай-ка,
Не длиннее, чем мои.

— Брысь! — прикрикнул старый Зай. —
В разговоры не влезай.
У зайчат, как у ребят,
По два зуба торчат, —
Где уж нам с бирюком тягаться...

— Ох, трусишки, будь вам пусто!
Да поймите хоть сейчас:
Вы привыкли
 грызть капусту,
Волк приучен
 грызть
 вас.

На привычку есть отвычка.
Ты мне, бабка, не перечь:
Даже маленькая спичка
Может полымя зажечь.

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.

Вот кукушка на суку
Вскуковала всем: — Ку-ку!
Эй, зверята, дай бог ногн,
Волка вижу на дороге!

Ну, опять и там и тут
Звери прятаться бегут —
И лисица, и купица,
Бурундук, бурундучица,
Куропатка, даже птица,
Лишь один зайчонок мой
Не бежит к себе домой.
Зайнька под кустиком полеживает.
Серенький по сторонам поглядывает,
Ухо струной,
Глаз озорной.
«Ну, — думает, — была не была,
Либо мне не дожить до бела,
Либо будет волку
На холку».

Серый волк
Зубом — щелк!
Выбежал, лютый, на тропинку,
Любит он свежую дичинку,

А дичина из-за сука
Как бросится на бирюка,
Как вцепится ему в нос
Да хрясь его — что морковку!
От страху бирюк потерял сноровку —
Еле ноги унес.

С той поры — где волк ни ходит,
Норку заячью обходит,
Ухо где торчит струной —
Обегает стороной,
А за ним все волчье племя.
— Ах! — твердят. — Ну что за время:
Нынче и зайцы
Кусаются.

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Да, брат, физики в почете,
Им теперь и черт не брат:
Будто демоны в полете
О Венере говорят,

Но Венера, дура-баба,
Их не жалует. Ничуть.
Поглядишь — поэтик слабый
С нею скрещивает путь.

Вот несется астрофизик
На свиданье под часы.
Треплет ветер, дождик высек,
«Петухов» дают басы,

Но глядит, глядит, глядит он
На заветное окно...
А Венера с троглодитом
Уж давно сидит в кино.

В ы в о д:

Электронном опаленный,
Открывает физик Новь.
Рвется к лире Аполлона
Старомодная любовь.

1962

САМАЯ КОЛДОВСКАЯ

Как скучно жить без сказок!
Их с каждым веком все меньше.
В бабкиных даже рассказах
Нет уже тьмы крошечной,

Сгинули все чертовки,
Черт их знает куда...
Плакаты, брошюры, листовки,
Бытовая страда.

Историю протаранив,
Все 24 — без сна,
Как муравейник титанов,
Клокочет наша страна.

Все зорче, точнее, строже
Мы строим и строим годами.
Но разве не хочется все же,
Чтоб по руке гадали,

Чтобы, в мазуте, белых и синьке
Шагая в великое Завтра,
Встретить в ошпнике
Бронтозавра?

Знаешь сам: не встретишь,
Не протянешь гадалке ладонь;
Выветривается ветошь,
В Эйнштейне умер Платон.

Но сквозь виденье ящера,
Сквозь пузыристых
топей

всхлип

Зазвучало из ящика:
«Бип-бип-бип...»

Комната в белых обоях.
Стол. На столе цветы.
Из портрета, весел и боек,
Словно в зеркало, смотришься — ты.

Все по домашним законам.
Но вдруг, совершая осмос,
Радиоглазом зеленым
Глядит на тебя
Космос,

И ты своим карим глазом
Глядишь в зеленое око,
Где опьяняет разум
Вселенная без бога.

Одной сказкой меньше.
«Бип-бип-бип...» —
Звонит неземной бубенчик,
Хрипит шумовая зыбь.

Как это страшно... В комнате,
Где стол... На столе цветы...
Глядит в иступленном гомоне
Око зеленой воды.

По сумасшедшей орбите
Во тьме беспощадно лютой
Летят из быта в событие
Удивительнейшие люди,

Вбирающие в реторту
Звезды с детскими снами.
А ящер? Гаданье?
К черту!
Да здравствует Знанье,

То самое, что, толкая
Ум по вселенской шири,—
Самая колдовская
Сказка в мире.

в Анголе, в Мозамбике, в Конго,
швыряя с маху в братские могилы
десятки, сотни, тысячи людей.
А впрочем — люди... Что такое люди?
Статистика — не больше. Но
статистика, которая живет,
и дышит, и волнуется, и спорит,
и грозно восклицает:
— Мы!

Мы не хотим,
чтобы из милых юношей,
наивно влюбленных в космос,
воспитывали палачей;
мы не хотим военной травмы,
новых увечий, новых калек,
мы не хотим, не хотим наблюдать,
как образованные джентльмены,
приютившие мир Эйнштейна,
решили
перерезать
паутинку.

Слушайте, вы,
если еще способны расслышать
что-нибудь человеческое:
не прорицатель я,
не пророк —
я только поэт
и только поэтому
вам говорю
от имени земного шара:
ТРЕБУЕМ! МИРНОЙ! ЖИЗНИ!
Мы,
миллиарды людей,
больше того: человек.

1965

ПО ДУШАМ

Тебе фашизм горше яда,
Ты сын России вроде бы,
И ничего тебе не надо,
Кромя родимой родины.

Но даже родину, пожалуй,
Ты любишь опрометчиво:
Твоя душа не задрожала
От зла всечеловечьего.

Тебе-то что? Вон чисто поле,
Курган под ворон-птицею,
А если Африка в неволе,
Так это ж за границую.

Чиста твоя святая совесть
В своей закрытой гавани.
Ты счастлив средь родных сокровищ,
Но упускаешь главное:

Лишь там фашизм грязногривый
Вздымает вои лютые,
Где чувство родины в отрыве
От чувства революции.

1967

О МУЗЫКЕ, НО НЕ ТОЛЬКО

1

Когда объятый туманами Шуман
писал потрясающий свой «Карнавал»,
ему
по ходу темы
пришлось описывать маски.

Маска Шопена!
Шуман,
растягивая пальцы на клавиатуре,
подобно змеиной пасти,
играет звездный ноктюрн,
в котором легко угадать
руку великого поляка.

Вот Паганини под маской!
Шуман за фортепьяно
дает ощущение скрипки
в изысканной
виртуозности
гениального
итальянца.

Но и в Шопене
и в Паганини
Шуман остался Шуманом.
Могучий массив основного звучанья
в глубинном подтексте
преодолевал
чудесное подражанье
поляку и итальянцу.
Но если иной тамбурмажор,
по клавишам барабана,
берется
подражать
ноктюрнам и кампанеллам,

эти цитаты вмиг
нахлынивают океаном
и забивают бубен
несчастливого джаз-бандиста.

Беркут, слетая с неба,
ввысь уносит барана,
но жадная ворона
запутывается
в его шерсти.

2

Когда великий Шуман
подсказывал свои ритмы
Чайковскому и Гуно,
Гуно
остался французом,
русским остался Чайковский.
Но горе лилипуту,
попавшему в паутину
звенящих золотом струн:
усваивая чужое,
становится он безродным,
безродным становится,
безликим.

1968

ПРИМЕЧАНИЯ

В первом томе Собрания сочинений И. Сельвинского с наибольшей полнотой по сравнению со всеми ранее выходившими изданиями представлены лирические стихотворения поэта, созданные им более чем за половину века служения поэзии.

Основную работу по составлению и отбору произведений для Собрания сочинений в целом и для его первого тома успел завершить в последний год жизни сам поэт. Согласно его желанию стихи здесь сгруппированы в тематические разделы: «Гимназическая муза», «Экспериментальное», «Стихи из тюрьмы», «Юность», «Стихи о любви», «Тихоокеанские стихи», «Зарубежное», «Война», «Мир», «Стихи для детей», «Публицистика». В пределах каждого раздела стихи расположены в хронологическом порядке, в соответствии со временем их создания.

Наименование некоторых циклов и помещение отдельных стихотворений именно в данный раздел в какой-то мере условно. «Тихоокеанские стихи», например, повторяют заглавие книжки, где впервые были собраны некоторые из лирических стихов 1932—1933 годов. Раздел «Гимназическая муза» был так озаглавлен поэтом по аналогии с названием одной из глав первой монографии о нем. Однако именно эти наименования циклов передают основной характер объединяемых ими стихотворений и могут в этом смысле служить начальным путеводителем по лирике поэта.

Для каждого нового издания своих произведений во всех видах и родах поэзии Илья Сельвинский тщательно и придирчиво пересматривал их тексты, почти всегда внося в них исправления — коронные или мелкие. В лирических миниатюрах, балладах, новеллах, сонетах требовательность мастера приобретала своеобразный характер. Неожиданно деталь, краска, оттенок, интонация начинали казаться ему неточными или недостаточно выразительными, и рука вновь тянулась к перу... Поэт часто менял эпитеты, заменял строки, передко выбрасывал или дописывал целые строфы. Поэтому даже широко известные стихотворения Сельвинского имеют по несколько редакций.

В томе представлены тексты, которые сам поэт отобрал или подготовил для настоящего Собрания сочинений.

В отдельных случаях здесь приводятся разночтения, иногда лишь упоминается о существовании разных редакций, а там, где поправки незначительные, вовсе не упоминается о них.

Хронологический список основных прижизненных изданий книг И. Сельвинского, содержащих в своем составе произведения, включенные в данный том, приводится ниже.

В тексте примечаний даются лишь названия этих книг без указания имени автора, подзаголовков и выходных данных.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- | | |
|----------------------------|--|
| «Мена всех» | — Зелинский К., Чичерин А. Н., Сельвинский Э. К., Мена всех, М. 1924. |
| «Рекорды», 1926 | — Илья Сельвинский, Рекорды, «Узел», М. 1926. |
| «Ранний Сельвинский» | — Илья Сельвинский, Ранний Сельвинский, Государственное издательство, М.—Л. 1929. |
| «Рекорды», 1931 | — Илья Сельвинский, Рекорды, Государственное издательство художественной литературы, М.—Л. 1931. |
| «Декларация прав» | — Илья Сельвинский, Декларация прав, «Советская литература», М. 1933. |
| «Лирика», 1934 | — Илья Сельвинский, Лирика, Государственное издательство «Художественная литература», 1934. |
| «Тихоокеанские стихи» | — Илья Сельвинский, Тихоокеанские стихи, «Московское товарищество писателей», 1934. |
| «Лирика», 1937 | — Илья Сельвинский, Лирика, Государственное издательство «Художественная литература», 1937. |
| «Баллады, плакаты и песни» | — Илья Сельвинский, Баллады, плакаты и песни, Краевое книгоиздательство, Краснодар, 1942. |
| «Баллады и песни» | — Илья Сельвинский, Баллады и песни, Гослитиздат, 1943. |
| «Лирика и драма» | — Илья Сельвинский, Лирика и драма, ОГИЗ, М. 1947. |
| «Избранное» | — Илья Сельвинский, Избранное. «Советский писатель», М. 1950. |

- «Избранные произведения», 1953 — Илья Сельвинский, Избранные произведения, Государственное издательство художественной литературы, М. 1953.
- «День поэзии», 1956 — «День поэзии», «Московский рабочий», М. 1956.
- Т. I, т. II «Избранных произведений в двух томах», 1956 — Илья Сельвинский, Избранные произведения в двух томах, том первый, том второй, Государственное издательство художественной литературы, М. 1956.
- «Стихотворения» — Илья Сельвинский, Стихотворения, «Б-ка советской поэзии», Государственное издательство художественной литературы, М. 1958.
- «Лирика», 1959 — Илья Сельвинский, Лирика, Б-ка «Огонек», изд-во «Правда», М. 1959.
- Т. I, т. II «Избранных произведений в двух томах», 1960 — Илья Сельвинский, Избранные произведения в двух томах, том первый, том второй, Государственное издательство художественной литературы, М. 1960.
- «День поэзии», 1961 — «День поэзии», «Советский писатель», М. 1961.
- «О времени, о судьбах, о любви» — Илья Сельвинский, О времени, о судьбах, о любви, «Советский писатель», М. 1962.
- «Лирика», 1964 — Илья Сельвинский, Лирика, «Художественная литература», М. 1964.
- «Влюбленные не умирают» — Илья Сельвинский, Влюбленные не умирают, Б-ка «Огонек», изд-во «Правда», М. 1965.
- «День поэзии», 1966 — «День поэзии», «Советский писатель», М. 1966.
- «Библиотечка избранной лирики» — Илья Сельвинский, Библиотечка избранной лирики, «Молодая гвардия», М. 1967.
- «День поэзии», 1968 — «День поэзии», «Советский писатель», М. 1968.
- «Давайте помечтаем о бессмертье» — Илья Сельвинский, Давайте помечтаем о бессмертье, «Московский рабочий», 1969.

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ МУЗА

Под этой рубрикой помещена часть стихотворений из сборника «Ранний Сельвинский». Написанные гимназистом 4—8 классов екатеринбургской гимназии, они впервые предстали перед читателем, когда поэт был уже известен любителям стиха, особенно студенческой молодежи, как автор изданного в Москве его первого сборника — «Рекорды», а также как создатель эпоса «Улялаевщина», повести «Записки поэта» и романа в стихах «Пушторг».

Возможно, поэтому литературная критика встретила сборник «Ранний Сельвинский» настороженно. Некоторые склонны были считать гимназические стихи «литературной мистификацией», всцями, созданными уже сложившимся поэтом под более ранними временными датами.

В книге «Ранний Сельвинский» раздел «Гимназические стихи» расположен циклами, хронологически по учебным годам: четвертый класс — 1915/16 г., пятый класс — 1916/17 г., седьмой класс — 1917/18 г., восьмой класс — 1918/19 г. Кто-то еще при выходе сборника недоуменно отмечал, что классов почему-то четыре, а не пять. Но «разгадка» оказалась простой. В одном из экземпляров ранней автобиографии поэта есть запись: «В 1915 году поступил в гимназию и здесь учился на всех «пятках» и даже «перешагнул» из 5-го класса в 7-й».

Работая над составом первого тома, поэт взыскательно и строго отбирал стихотворения для раздела «Гимназическая муза».

Помещенные в нем стихи позволяют увидеть следы ранних поэтических поисков Сельвинского, неровность почерка, сбивчивость замысла и эмоционального его выражения, щегольство земной, выспренней «мудростью» еще неоперившейся души. В то же время в них различимы истоки самобытных поэтических дерзаний, своеобразие образных восприятий, искренность чувств и порывов к доброму, справедливому. По мере повзросления автора активнее врываются в его стих зовы времени, след пережитого Сельвинским на гражданской войне. Все это еще зыбко в ранних стихах, но вместе с тем, как внутренняя тенденция, невыблемо.

Долгое время поэт не включал в свои поздние книги стихи из сборника «Ранний Сельвинский», делая исключение лишь для самого любимого им стихотворения — «Юность».

«Гимназические стихи» примечательны еще и тем, что они отражают неуверенные, робкие, но упорные поиски собственного стиля. Все они за исключением «Юности» и «Триолета» опубликованы впервые в сборнике «Ранний Сельвинский». «Юность» — журн. «Новый мир», 1928, № 11. «Триолет» — кн. «Всероссийский

союз поэтов», второй сб. стихов, СОПО, М. 1922. Печатаются, кроме «Юности», по сб. «Ранний Сельвинский».

Кондор (стр. 39).— Написанное гимназистом 4 класса в 1915 г., стихотворение является наивным, полудетским выражением значительной мысли о смысле жизни как жажде подвига в противовес мещанской прищипленности.

Утро (стр. 40). Закат (*«Розовые чайки над багровым морем...»*) (стр. 41). Сказка (*«Из перламутра раковин — зеницы...»*) (стр. 42). Лесовик (стр. 43). Цветные стекла (стр. 45). Бриз (стр. 46). Триолет (стр. 47). Автопортрет (стр. 48). Песня (*«Выходил воевода на улицу...»*) (стр. 49).— Написанные Сельвинским в 5 классе гимназии, стихотворения эти наряду с чертами самобытными носят на себе налет явной подражательности.

Наибольшее влияние в эту пору на юношу оказывала поэзия И. Бунина с ее богатством и контрастностью красок, с неисчерпаемостью их оттенков. В стихах этого цикла причудливо соединились пытливый интерес к сказкам, легендам и стародавним песням с мотивами, навеянными декадентской поэзией, а также с обрывками зрительных впечатлений от живописных полотен и репродукций. Лесовик «с добродушной красной харей» похож повадками на персонажа детской сказки, а обликом на врубелевского Пана. В стиле стиха лексика старинных побасенок (*«До полдн гудит побайка...»*) соседствует с северянинскими лексическими приемами: Лесовик «кашляет от сердечных *покологик*», «там опушку *обродяжит*» и т. п. Приемы и интонации Северянина и даже Вертинского прозвучат позднее в цикле стихов «Красное манто».

Стихотворение «Песня» звучит как перепев известной прибаутки про воеводу и дьячка, как еще одна проба собственных творческих возможностей, во имя которой поэт несколько позднее делает перевод отрывка из «Слова о полку Игореве» и напишет стихотворение «Конь» модернизированным гекзаметром.

Попугай (стр. 50). Красное манто (*«Красное манто с каким-то бурым мехом...»*) (стр. 51). «Я знаю женщину блестяща и остра...» (стр. 52). Вилибрюд (стр. 53). Гром (стр. 54). О любви (*«Сердце мое налито любовью...»*) (стр. 55). Война (стр. 56). Ссора (стр. 57). Солдатики (стр. 58). Элегия (*«Было много божественных грез...»*) (стр. 59).— Написанные в 1917—1918 гг. гимназистом-семиклассником, стихотворения эти знаменуют собою весьма пестрое и сбивчивое переиждение различных мотивов, тем, поэтических пристрастий и поисков. Наряду с вымышленными живописными эскизами («Попугай»), в ткань стиха начинающего поэта вторгаются отклики действительности, первых лирических чувствований и жизненных испытаний. Незамутненная наивность детских ощущений и пережива-

ний подкупающе искренне и прозрачно звучит в стихах «Солдатики», «О любви». В то же время юный поэт еще частый пленник поэзы, надуманных томлений любви, которая его не посетила («Красное манто», «Я знаю женщину: блестяща и остра...»).

В и л и б р ю д — образчик наивной, полудетской анекдотической иронии («возьму и зажмуриюсь: пускай им будет темно...»). Лиризм и поразительная неожиданность детской непосредственности всю жизнь привлекали поэта, и это запечатлелось во многих его стихах даже самых последних лет.

Особняком стоит здесь стихотворение «В о й н а» — самое первое, познавательное вторжение в сферу лирических ощущений юноши подлинной реальности, мыслей о войне и ее быте.

Г р о м. Стихотворение связано со знаменательным событием — высадкой в Евпатории прибывшего на крейсере десанта революционных матросов, которые в начале 1918 г. помогли местным большевикам установить в городе Советскую власть.

Гимназист Сельвинский имел к этому непосредственное отношение.

«На пристань в это утро патрулировало звено гражданской охраны — группа юношей во главе с Сельвинским. Когда крейсер «Румыния» открыл стрельбу, требуя сдачи города, Сельвинский бросился в сторожку, сорвал со старого буя небольшой красный флаг и, взобравшись на мачту, принялся размахивать им, сигналя: «Мы свои...»¹

Элегия («Было много божественных грез...») — стихотворение, исполненное внутренней сосредоточенности и серьезности, примечательно как явно обозначающаяся граница между отрочеством и юностью начинающего поэта.

Юность (стр. 60). О, эти дни (стр. 61). Осень («Битые яблоки пахнут вином, сад — как церковь...») (стр. 62). Осень («Битые яблоки пахнут вином, и облака точно снятся...») (стр. 63). К о н ь (стр. 64). Цыганская (стр. 66). Красное манто («Снова оно, багровое в клетку...») (стр. 67). — Стихи эти, написанные гимназистом 8 класса, являются попыткой молодого стихотворца обрести самобытную лирическую поступь. Они присутствуют и в некоторых лирических сборниках, изданных позднее, чем «Ранний Сельвинский».

Юность — долгие годы оставалось любимым стихотворением поэта и неоднократно виртуозно исполнялось им. После первой публикации входило в ряд последующих книг поэта («Лирика», 1934; «Лирика», 1937, и др.).

¹ Михаил Грин, Пламенные сердца, Госполитиздат, М. 1962, стр. 25.

В издании 1934 г. автор переделал предпоследнюю строчку. Вместо: «Тсс...— Брось: неприлично», начиная с издания 1934 г. она читается: «Тсс... Брось! Ну, разве прилично...» Кроме того, в издании 1937 г. впервые появилась авторская интонационная разбивка слов.

Текст дан по сб. «Лирика», 1937.

О, эти дни. В стихотворении впервые возник отблеск того, что довелось пережить Сельвинскому во время каникул между 7 и 8 классами гимназии — весной и летом 1918 г. Месяцы эти стали для него временем приобщения к революции, добровольного вступления в красногвардейский отряд, участия в бою за Перекоп, где Сельвинский был ранен и тяжело контужен.

Замысел стихотворения еще подчинен словесной игре, капризам зыбких формальных поисков юноши, стихийно вовлеченного в круговорот революционных событий, который еще «путается в сложных системах партий». Противоборством непроясненных чувств, видимо, и рождены туманные по мысли строки: «И в поле пахнет рыжий мед коммунистических идей».

Конь — характерная для экспериментаторских проб юного поэта попытка «омолодить» архаическую форму гекзаметра юношеским лиризмом чеканного скульптурного восприятия, полного натуралистической осязаемости и страсти. Именно этим старомодно-дерзким стихотворением в 1921 г. в Москве дебютировал начинающий автор перед «ареопагом» Союза поэтов в присутствии Маяковского.

Цыганская — изначальная вариация целого цикла на цыганские темы с их вихревыми переливами, взрывчатыми ритмами, разноголосицей мотивов и страстей.

Красное мантио («Снова оно, багровое в клетку...»). Стихотворение может служить образцом заимствования северянинско-вертинских настроений, интонаций и образов с изрядной долей наивного позерства.

СТИХИ ИЗ ТЮРЬМЫ

Стихи явились непосредственным откликом гимназиста Сельвинского на его арест белогвардейской контрразведкой. Написанные в Севастополе в 1919—1920 гг., свет они увидели лишь спустя сорок лет.

В одном из набросков своей автобиографии, где Сельвинский пишет о переезде в Москву, он объяснил, почему многие стихотворения начала 20-х годов были опубликованы им значительно позже.

«Соприкосновение с разномастной публикой СОПО (Союзов поэтов) отразилось на мне мгновенно. Дело в том, что объединяющим принципом всех этих «истов» гремел лозунг французских левых: «Переменить все это!» — так эти мальчишки поняли революцию. Классические формы русского стиха звучали для них как нечто в высшей степени неприличное. О ямбах и хорях просто слышать не могли. Права гражданства имел либо паузник Блока, либо ударник Маяковского. Язык поэзии уступил место языку улицы или лексике собственного изобретения (это тоже считалось знаменем революции). И так далее и так далее... С вершин всех этих категорических установлений стихи мои показались такими старомодными, что я тут же, не приходя в сознание, стал их портить»¹.

Разумеется, в свете таких «воззрений» искренне-простые, бесхитростные по форме и сути «Стихи из тюрьмы» не подлежали тогда оглашению.

«Понимаю, что жалит гадюка...» (стр. 71) (под заглавием «Не могу понять...»). «Проем тюремного окна...» (стр. 72). «Учат меня стариканы...» (стр. 73). Ужас тюрьмы (стр. 74). «Ох, и выбрал же квартпрку...» (стр. 75). Узник (стр. 76). Дрема (стр. 77). «Благослови легкомыслие...» (стр. 78). Утешение (стр. 79).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви», по тексту которого и печатаются.

Тюремный дворик (стр. 80). «Итак, в тюрьме я спова...» (стр. 81). Дыня (стр. 82). Мадам Эн-Эн (стр. 83).— Печатаются впервые.

ЮНОСТЬ

Вепок сонетов — «Юность» — автор называл также поэмой. Написанная в 1920 г. в Симферополе, она долгие годы считалась утраченной. Свой единственный экземпляр поэт при переездах потерял с целой пачкой других рукописей, среди которых был сборник ранних лирических стихов «Мадонна» и три короны сонетов: «Лихолетье», «Разгром» и «Вельзевул». Однако спустя тридцать с лишним лет выяснилось, что один из школьных товарищей Сельвинского увез с собой в Москву копию поэмы «Юность», и после его смерти поэма была передана автору.

Поэма эта весьма характерна для развития мироощущения поэта, становления его идейно-этических воззрений и юношеских поисков творческого пути.

¹ Архив поэта.

Впервые опубликована в т. I «Избранных произведений в двух томах», 1960. Печатается по тексту этого издания с небольшими поправками автора.

Начало второй строфы второго сонета было:

Татьяна по путям неодолимым.
Проходит царь-девицей меж горилл.

В седьмом сонете первая строка последней строфы выглядела так:

Как дружбы. Надо знать провинциала.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

В ряде сборников Сельвинского, куда входили те или иные из его экспериментальных стихов, они группировались в разделах «Трибуна», «Эстрада», «Лаборатория», а некоторые, например, «Анекдоты о караимском философе Бабакай-Суддуке» были даже включены в раздел «Очерки» (сб. «Рекорды», 1934; «Декларация прав»; «Лирика», 1937).

Наша биография (стр. 97).— «Рекорды», 1926. Стихотворение датируется 1924—1925 гг. Однако и тональность стиха, и его идейная основа характерны для построения поэта начала 20-х годов. Сельвинский самокритично признается в том, какими извилистыми тропами шли к революции его лирический герой и его сверстники — «лишенные классового костяка» и обуреваемые лишь «стихийной верой» в революцию. Они «путались в тонких системах партий», а в начале нэпа, уязвленные опасливым недоверием к ним, как бы застыли на социальном распутье.

В стихотворении примечательны разночтения в тексте между первым и вторым изданиями сб. «Рекорды». Во второй редакции автор опустил первые восемь строк, чтобы стихотворение сразу начиналось с главного звена темы. Ради внутренней динамики развития мысли поэт убрал еще четыре строки (после строчки «Хромая от рубцов заштопанных чулок») и, наконец, внес поправки в конец стихотворения, чтобы заострить и прояснить пафос обращения «переходников» к пролетариату. В первой редакции третья и четвертая строки одиннадцатой строфы читались так:

Мы мыкались в поисках неведомого друга,
Геометрически видя врага.

Во второй редакции:

Мы мучились в поисках неведомого друга,
В одном направлении видя врага...

Подобными поисками большей смысловой и звуковой определенности и точности отмечены и более поздние редакции некоторых других лирических стихов поэта.

Печатается по тексту сб. «Лирика», 1934.

Анекдоты о караймском философе Бабакай-Суддуке (стр. 99).— «Рекорды», 1931. Печатаются по тексту этого издания.

Вор (стр. 102). Цыганская 2-я (стр. 103). Цыганский вальс на гитаре (стр. 104).— «Мена всех». Печатается по тексту «Лирики», 1934.

Мотькэ-Малхамовес (*Новелла*) (стр. 105).— Сб. «Рекорды», 1926. Стихотворение характерно для лексических поисков юного Сельвинского, пробующего вводить в стих различные говоры, жаргоны, как некую пеструю коллекцию живых интонаций. Печатается по тексту сб. «Рекорды», 1931.

Баллада о барабанщике (стр. 108).— Журн. «Новый мир», 1931, № 11. Стихотворение, как рассказывал поэт автору этих примечаний, было написано не просто как шутка, курьезная и несколько фривольная, что вызвало в свое время и отповедь критики, и ряд пародий. Для поэта стихи о барабанщике были неким трепировочным, формально-ритмическим упражнением, где начальные строфы варьируют и имитируют известную фольклорную побасенку в стихах, а затем ритмические ходы усложняются, сохраняя маршевый ритм.

Стихотворение явилось своеобразным экспериментальным прелюдом к небольшой поэме «Сивашская битва», которой автор дал подзаголовок «Соната».

Печатается по тексту «Лирики», 1934.

Сивашская битва (стр. 111).— С подзаголовком «Соната» — газ. «Правда», 24 февраля 1933 г. Лабораторно-экспериментальный опыт содержательной и наиболее локальной формы здесь многослоен. Вначале поэт стремится ритмом стиха передать маршевое движение красногвардейских отрядов, идущих на штурм Перекопа. В то же время интонация стиха призвана оттенить единение социально-возрастной и житейской разнородности людей, шагающих в одной колонне. Контрастные, прерывистые, синкопические сбои и перепады стиха поэт использует для передачи самой картины и «музыки боя». Кульминацию битвы поэт как бы фиксирует двумя проекциями, раздельно совмещенными в двухъярусном строении стиха, где последующая строка не продолжает предыдущую, а вклинивается в нее, давая начало новой картине, новому ракурсу наблюдений.

ТАНК
 офицеры
 ПОЛЗ
 отбивают
 ВВЕРХ
 штурмом
 ГРОХ
 неудача
 ЛЯЗГ
 «...где лезгины?»
 КРАХ
 отступа-ать!
 ДЕНЬ
 «...прочь погоны...»
 ГАС
 «дай завесу...»
 МЕРК
 все поггло!

И красная песня взошла
 В бородатых от боя горах.

Этот прием у Сельвинского остался только в «Сивашской битве», но и он не исчез бесследно. Спустя десятилетия, в решении иной темы, его по-своему возродил С. Кирсанов в стихотворении «Строки в скобках» (журн. «Знамя», 1968, № 12, стр. 11). Печатается по тексту «Лирика», 1937.

Песня про синего коня (стр. 117).— Газ. «Комсомольская правда», 24 марта 1933 г. Через год перепечатано в «Тихоокеанских стихах» и с небольшими поправками в сб. «Лирика», 1934, затем в «Лирике», 1937. Впоследствии автор значительно переделал это стихотворение: опустил вторую, третью, пятую, девятую строфы и семь строф после одиннадцатой; сделал исправления в строфах, ставших пятой и шестой, а также в последней строфе.

Печатается по сб. «Лирика», 1964.

СТИХИ О ЛЮБВИ

На протяжении долгой поэтической жизни Сельвинского им создано много лирических стихотворений на эту тему, различных по своему тембру, регистру, обертонам.

Любовная лирика поэта полна радужных мечтаний, ярстноробких надежд, томлений и ожиданий. Многие строки ее и об-

разы на грани той откровенности, за которой светятся протуберанцы душевной незащищенности.

В стихах последнего времени перед читателем проблеснет трагедия мудрой старости, которой далеко не всегда дано справиться с буптующей памятью сердца, с порывами стреноженных, но не загложших страстей.

Нередко в нежности своей лирический герой стихов Сельвинского несдержан до безрассудства. Но разве рассудок властелин Любви (с большой буквы), заворожившей, закружившей, восторженно обезумевшей? И не все ли равно, многим ли женщинам или одной-единственной посвящены стихи? Разве пушкинские лирические жемчужины, стихи Блока о Прекрасной Даме или взрывчатый лиризм любовных терзаний Маяковского обусловлены только реальными импульсами обращений к дапному лицу?

Пожалуй, наиболее сильно и точно Сельвинский определил меру и значение любви в его личной и поэтической биографии в стихотворении «Баллада о тигре», лишенном признаков видимого или подразумеваемого посвящения кому-либо.

«Каждая девушка — это чудо!» (стр. 124).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по сб. «Стихотворения».

«Никогда не перестану удивляться...» (стр. 122). Первый поцелуй (стр. 123). К вопросу о русской речи (стр. 124).— Там же. Печатаются по «Лирике», 1964.

Случай (стр. 125). На скамье бульвара (стр. 126).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатаются по сб. «Лирика», 1964.

Как быть? (стр. 127).— «Лирика», 1964. Печатается по этому тексту.

«Уронила девушка перчатку...» (стр. 128).— Журн. «Огонек», 1960, № 50. В цикле «Лирические записи». Печатается по «Лирике», 1964.

В картинной галерее (стр. 129).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по «Лирике», 1964.

«Есть поцелуи-пустяки...» (стр. 130).— «Лирика», 1964, по тексту которой и печатается.

У д и в и т е л ь н о ! (стр. 131).— Печатается впервые.

Рыбка (стр. 132).— Под названием «Рукопожатие» в т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

«Сами своей рукой...» (стр. 133). Евпаторийский пляж (стр. 134). «Итак, весенний вечер...» (стр. 138).— «Лирика», 1964, по тексту которой печатается.

Сирень (стр. 140).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

«В любой душонке улеглась...» (стр. 143).— «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по тексту этого издания.

«Мужчина женщине не любит...» (стр. 144).— «О времени, о судьбах, о любви». В сб. «Библиотечка избранной лирики» было опубликовано под названием «Исповедь донжуана». Печатается по «Лирике», 1964.

Телефон (стр. 145).— В цикле «Лирические записи» — журн. «Огонек», 1960, № 50. Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

«Как музыкален женский шепот...» (стр. 146). Ее платье (стр. 147).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Первое печатается по этому сборнику, второе — по «Лирике», 1964.

Заметка о Фаусте (стр. 148).— «О времени, о судьбах, о любви», по тексту которого печатается. Автору, когда он писал это стихотворение, был 21 год. Шутливая, насмешливая лирическая «полемика» молодости сочетается здесь с неизвестными ей терзаниями старости.

Какое в женщине богатство! (стр. 149).— «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Портрет Лизы Лютце (стр. 151).— «Декларация прав». Печаталось во многих сборниках поэта. Можно предположить, что стихотворение это — фрагмент вчерне написанной поэтом пьесы «Теория адвоката Лютце» (второй после «Командарма-2»). Экземпляр пьесы в архиве поэта пока не разыскан, однако упоминание о ней можно найти в статьях 20-х годов. После войны автор кардинально переделал «Портрет Лизы Лютце», и в новой редакции стихотворение было опубликовано в сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по тексту «Лирики», 1964.

Русская девушка (стр. 156).— Газ. «Красная звезда», 26 марта 1943 г. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Три песни: 1. Берест (стр. 158); 2. Береза (стр. 158); 3. Клен (стр. 159).— «Избранное», 1950. Печатаются по этому тексту.

Т. А — овой (стр. 161).— «Баллады, плакаты и песни». Стихотворение здесь ошибочно датировано 1938 г. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Жена (стр. 163).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1960. Печатается по «Библиотечке избранной лирики».

Моя знакомая русалка (стр. 165).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

«Как охотник ловит серебристую...» (стр. 170).— Журн. «Октябрь», 1939, № 5—6. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

«Если умру я, если исчезну...» (стр. 171).— В цикле «Лирика» — журн. «Октябрь», 1939, № 5—6. Под названием «О любви» — в сб. «Баллады, плакаты и песни». С большими изменениями напечатано в «Лирике», 1964. Печатается по сб. «Влюбленные не умирают» с авторской замесой слова «теплоты» в третьей строке от конца.

«Нет, я не тот, кого ты ждала...» (стр. 173).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по этому тексту.

Я на яворе, на клене (*Песня*) (стр. 174).— Под заглавием «Песня» («Я на яворе, на клене...») — в сб. «Избранные произведения», 1953. Печатается по тексту сб. «О времени, о судьбах, о любви».

«Я живу в столице, ты в тайге...» (стр. 175).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Серебряная свадьба (стр. 176).— Газ. «Литературная Россия», 6 сентября 1968 г. Печатается по этому тексту.

«Муравьи беседуют по радио...» (стр. 178).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по сб. «Стихотворения».

Сонет («Я никогда в любви не знал трагедий...») (стр. 179). Алиса (*Из рукописей моего друга, пожелавшего остаться неизвестным*) (стр. 180).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатаются по сб. «Влюбленные не умирают».

Сонет («Душевные страдания, как гамма...») (стр. 188).— Сб. «Лирика», 1964. Печатается по сб. «Влюбленные не умирают».

«Ты не от женщины родилась...» (стр. 189). «В косы вплетены лучи...» (стр. 190). «Я слоняюсь в радости недужной...» (стр. 191). Две кукушки (стр. 192) без заглавия («Деревянная кукушка отсчитала пять часов...»). «Если взять на ладонь рыбешку...» (стр. 193). «Все нервы о тебе поют...» (стр. 194). Заклинание (стр. 195).— Под рубрикой «Стихи о любви» — в «Литературной газете», 22 января 1959 г. Печатаются: третье стихотворение по сб. «Влюбленные не умирают», шестое по «Лирике», 1964, остальные по «Библиотечке избранной лирики».

Зависть (стр. 196).— Журн. «Огонек», 1960, № 28. Текст по «Библиотечке избранной лирики».

«Ты — гордая, как все, что расцвело!..» (стр. 197).— «Лирика», 1959. Печатается по «Библиотечке избранной лирики».

«Где-то на пределе красоты...» (стр. 198).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1960. Печатается по тексту сб. «Влюбленные не умирают».

«Разве может любовь обижать?..» (стр. 199).— Журн. «Юность», 1959, № 10. Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Цыганский распев (стр. 200).— Впервые входило в пьесу «Большой Кирилл» («Искусство», М. 1957). Как отдельное стихотворение напечатано в сб. «Лирика», 1964. Дается по этому тексту.

«Годами голодаю по тебе...» (стр. 201).— Под рубрикой «Стихи разных лет» — в журн. «Огонек», 1959, № 47. Печатается по «Библиотечке избранной лирики».

Романс («Если губы сказали: «Нет»...») (стр. 202).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по тексту «Лирики», 1964.

Стихотворцу-неудачнику (стр. 203).— Журн. «Огонек», 1960, № 28. Печатается по «Библиотечке избранной лирики».

Шиповник (стр. 204).— Газ. «Литература и жизнь», 25 октября 1959 г. В переработанном виде — в сб. «Лирика», 1964. Печатается по сб. «Влюбленные не умирают».

«Для всех других ты просто человек...» (стр. 206).— Газ. «Литература и жизнь», 28 августа 1960 г. Печатается по тексту сб. «Влюбленные не умирают».

«Мечта моей ты юности...» (стр. 207). Гете и Маргарита (стр. 208). Молдавская песня (стр. 209). Еврейская мелодия (стр. 210).— Журн. «Огонек», 1960, № 28. Печатаются: первое по тексту журнала, второе по сб. «Влюбленные не умирают», два последних по «Лирике», 1964.

Реплика («Не спрашивай, зачем под старость лет...») (стр. 211).— Печатается впервые.

«Вы забежали к нам на коротке...» (стр. 212). «Когда пред высокой стоишь красотой...» (стр. 213) (под заглавием «Гимн женщине» (*Вариант*) под рубрикой «Стихи о женщинах».— Журн. «Знамя», 1962, № 6. Печатаются по «Библиотечке избранной лирики».

«Каждому мужчине столько лет...» (стр. 214).— «Лирика», 1964. Печатается по этому тексту с небольшим исправлением второй строки, сделанным автором.

Влюбленные не умирают (стр. 215). Гимн женщине («Каждый день, как с бою, добыт...») (стр. 216). «Я мог бы вот так: усесться против...» (стр. 217).— Под рубрикой «Новые стихи» — в «Литературной газете», 1 февраля 1962 г.

Печатаются: первое и третье стихотворения по сб. «Влюбленные не умирают», второе по «Библиотечке избранной лирики».

В ряде изданий первая строка второго стихотворения была:

Беспощадны удары судьбы.

Розы (стр. 218).— Под рубрикой «Стихи о женщинах» — журн. «Знамя», 1962, № 6. С некоторыми изменениями в «Огоньке», 1966, № 46. Печатается по тексту «Знамени».

Femme de quarante ans (стр. 219).— Журн. «Знамя», 1962, № 6, под рубрикой «Стихи о женщинах». Печатается по тексту, подготовленному автором для Собрания сочинений.

«Он, много раз меняя жен...» (стр. 220).— Сб. «Лирика», 1964, по тексту которой печатается.

Человек умирал.. (стр. 221). Двойники (стр. 225).— Журн. «Москва», 1963, № 6. Первое стихотворение печатается по сб. «Влюбленные не умирают», второе по сб. «Лирика», 1964. В первом стихотворении автором после слов «Это мир упущенных возможностей» снята строфа:

Но если бы эти коллеги
Дружбу свою претворили в страсть,
Он, правда, не стал бы членом коллегии,
Но мог бы великим стать.

Прелюд («Если по клавишам бить кулаком...») (стр. 227).— Сб. «Лирика», 1964, по тексту которой печатается.

Моление о чуде (*Сюита*) (стр. 228).— Газ. «Литературная Россия», 5 июня 1964 г. Печатается по сб. «Влюбленные не умирают».

О любви («Есть в судьбе моей женщина...») (стр. 235). «Мпльй! Если тебе неможется...» (стр. 236).— Газ. «Литературная Россия», 18 июня 1965 г. Печатаются по тексту газеты, во втором стихотворении автором изменена последняя строка.

Что такое любовь? (стр. 237).— Журн. «Звезда», 1967, № 6.

«Когда я впервые увидел Эльбрус...» (стр. 238).— Сб. «Давайте помечтаем о бессмертье», посмертно.

Из поэта икс (стр. 239).— Журн. «Смена», 1966, № 14. Печатается по тексту журнала.

«Когда я был молод...» (стр. 240).— Журн. «Огонек», 1966, № 46.

Из поэта игрек (стр. 241).— Печатается впервые.

Новелла о затяжном сне (стр. 242). Люди, влюбляйтесь! (стр. 245). «Нет, любовь не эротика!..» (стр. 246).— Журн. «Звезда», 1967, № 6.

ТИХООКЕАНСКИЕ СТИХИ

В раздел входят стихотворения, созданные на основе впечатлений, полученных поэтом от его путешествий по Дальнему Востоку и по Камчатке в 1932 г., а также написанные им в арктической экспедиции на ледоколе «Челюскин» в 1933 г. Сюда же включено стихотворение «Баллада о тигре», написанное в 1940 г., но связанное с пережитым во время путешествия по Камчатке.

Великий океан (стр. 249).— Журн. «Огонек», 1933, № 2. Печатается по тексту «Лирики», 1964.

Охота на нерпу (стр. 251).— Сб. «Тихоокеанские стихи». Печатается по тексту «Лирики», 1964.

Охота на тигра (стр. 254).— Газ. «Вечерняя Москва», 1 марта 1933 г. Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Читатель стиха (*«Когда вам говорят, что тот или этот...»*) (стр. 259).— Сб. «Тихоокеанские стихи». Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Белый песец (стр. 262). «В каком бы часу я ни лет, но в пять...» (стр. 263).— Сб. «Тихоокеанские стихи».

Текст первого стихотворения подготовлен автором для Собрания сочинений. Вторая строфа в сб. «Лирика», 1964, выглядела так:

Ты еще ходишь-плывешь по земле
В облаке женственного тепла,
Но уж в улыбке, что света милей,
Лишняя черточка залегла.

Третья и четвертая строки шестой строфы в «Лирике», 1934, были:

Сколько знамен (эс) сквозь бой
Мы, брат, с тобой разовьем!

А в «Лирике», 1937:

Сколько знамен сквозь бой
Мы, брат, с тобой пропесем!

Второе стихотворение печатается по сб. «Лирика», 1934.

Друг ламутского народа (стр. 264).— Газ. «Вечерняя Москва», 27 декабря 1932 г. Печатается по тексту «Лирика», 1937.

«Занимаюсь от злости немецким...» (стр. 266).— Сб. «Лирика», 1934. Печатается по этому тексту.

Стихотворение было написано под впечатлением неумной критической травли поэта, обвиняемого в формалистическом шукаристве. Последнюю строку пятой строфы: «Тепловатым, как пушкин-

ски» стих» — естественно, нельзя понимать как некое нигилистическое неуважение к Пушкину, который всегда был для Сельвинского солнцем поэзии. Это всего-навсего иронический выпад против консервативных ревнителей привычных традиционных форм, восстающих против ломки стиха. Им же была адресована и строка в стихотворении «Великий океан», написанном в то же время: «Как скучно творить все смиренней и смиренней...»

О дружбе (стр. 268).— Журн. «На рубеже», 1935, № 4. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Портрет моей матери (стр. 271).— Журн. «Красная новь», 1934, № 7, затем сб. «Лирика», 1934.

Стихотворение это занимает особое место в лирике Сельвинского. С некоторыми изменениями оно было опубликовано всего еще один раз в сб. «Лирика», 1937, в разделе «Личное», а потом в течение тридцати лет не входило ни в одну из книг поэта. Автор объяснял это тем, что писалось оно с огромной душевной болью и рану эту не хотелось ему бередить. Об этом свидетельствуют хотя бы последние четыре строки второй строфы.

В сб. «Лирика», 1934, они читались так:

И все это комнатное арго
Полно игнорирующего уюта.
Она себя чувствует здесь каргой,
Севшей на шкаф и взвизгивающей люто.

В «Лирике», 1937, была уже новая редакция:

Но их прибаутки, их местный язык
Полны отчуждающего уюта,
Вроде лучей осенне-косых,
Не замечающих вас как будто.

В сб. «Лирика», 1934, после строки: «Гигантская тень восстала за мной...» — шла строфа:

Но что же мне делать? И в чем тут дело?
Да мне ль одному такое пришлось?
Заботливость Лира и ревность Отелло
Мощнее и громче Эдиповых слез.

В сб. «Лирика», 1937, она звучала так:

Но что же мне делать? И в чем тут дело?
Да мне ль одному такое пришлось?
«Так ты приходи!..» И грудь загудела
Дыханьем, полным расплавленных слез.

В редакции 1937 г. существуют и другие разночтения.

Печатается по тексту, подготовленному автором для настоящего Собрания сочинений.

24/Х-1933 (стр. 274).— Под заглавием «24-Х-33» — журн. «Красная новь», 1934, № 7. Печатается по сб. «Лирика», 1934.

Т а й ф у н 20-34 (стр. 276).— «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Баллада о тигре (стр. 277).— Сб. «Баллады, плакаты и песни». Печатается по тексту сб. «Библиотечка избранной лирики».

ЗАРУБЕЖНОЕ

В раздел включены стихотворения, написанные поэтом в 1932—1935 гг. Первыми стихами И. Сельвинского на зарубежную тему были стихи о Японии. В этой необыкновенно своеобразной по колориту, экзотической стране поэт побывал проездом во время путешествия по Камчатке.

Сельвинский периода «Рекордов», «Улялаевщины», «Записок поэта» и «Пушторга», вероятно, живописал бы Японию всем разнообразием красок, оттенков музыкальной «певнятицы» и импрессионистической контрастности. Но большая зрелость поэта, внутренне уяснившего для себя сложные и резкие противоречия зарубежного мира, подсказала ему иное направление творческого поиска. В стихах о Японии зримые и слышимые приметы подчинены духовному ощущению советского человека, угадывающего в запечатленном глазом красочном своеобразии деталей обстановки их значение и место в народной жизни.

Сверчок (стр. 283). Лавка уличного башмачника (стр. 284). Шестые гномов (стр. 286). «Вот предлагает девочка цветы...» (стр. 287). Дуэт с японкой (стр. 288). Черепаха (стр. 290). Пейзаж («Я был в Японии...») (стр. 291). Японские стихи (*Юмореска*) (стр. 292).— Написаны в 1932 г. в Хакодате. Однако опубликованы они были значительно позже. Шесть первых — в 1956 г., в т. I «Избранных произведений в двух томах». Поэт объясняет это тем, что, по его ощущению, они не отвечали главному направлению его поэтических исканий 30—40-х годов, когда на первом плане была работа над эпосей «Челюскиниана» и над пьесами об историческом прошлом России.

Стихотворения эти публикуются по «Лирике», 1964, за исключением «Пейзажа» («Я был в Японии...») и «Японских стихов», которые печатаются впервые.

Как битва змеи с поросенком (стр. 293).— Под заглавием «В маленьком кинематографе» — журн. «Октябрь», 1939, № 5—6. Написано в 1933 г. в Копенгагене, где во время арктического похода ледокол «Челюскин» имел длительную стоянку для ремонта. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Панна Польша (стр. 295).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по «Лирике», 1964.

Реплика Ю. Тувима (стр. 297).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по этому тексту.

Это и предыдущее стихотворения, написанные в 1935 г., открывают собою цикл стихов о Западной Европе, где поэт побывал дважды, в 1935 и 1936 гг. Вскоре, после I съезда советских писателей, по инициативе избранного тогда руководства Союза писателей во главе с М. Горьким, была организована поездка в страны Западной Европы группы поэтов, в которую входили: А. Безыменский, С. Кирсанов, В. Луговской и И. Сельвинский, с широкой программой их выступлений во Франции, Англии, Германии. Поэты проездом побывали в Варшаве, Вене, а значительную часть времени провели в Париже и Лондоне, где выступали перед массовой аудиторией, имели ряд встреч с писателями и деятелями искусства. В частности, с шумным успехом в Париже проходили выступления Ильи Сельвинского, читавшего некоторые лирические и экспериментальные стихи, в том числе и «Сивашскую битву».

На концерте (стр. 298). Девушка играет на контрабасе (стр. 299). Случай на улице Ринг (стр. 300).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатаются по сб. «Лирика», 1964.

Лувр: 1. Голова Венеры (стр. 302); 2. Тинторетто. «Сюзицца в бане» (стр. 303); 3. К. Моне. «Женщина с зонтиком» (стр. 303).— Журн. «Советская Украина», 1966, № 10; 4. Анри де Руссо (стр. 304).— Под заглавием «Анри Руссо» с подзаголовком «Из старой тетради» — «День поэзии», 1956. Печатаются по «Лирике», 1964.

Танец в кафе «Белый бал» (стр. 306). Панно в кафе «Белый бал» (стр. 307).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Тексты даны по сб. «Лирика», 1964.

L'heure bleue (стр. 308). Красные рыбы (стр. 309). Крик уличного торговца (стр. 310). В автобусе (стр. 311). В бистро (стр. 312). Хрючкин в Париже (стр. 313). Hôtel «Istria» (стр. 314).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Четвертое и шестое стихотворения печатаются по этому тексту, остальные по «Лирике», 1964.

Чудо св. девы (стр. 318).— Сб. «Лирика», 1964, по тексту которой печатается.

В одном парижском кино (стр. 320). Разговор с дьяволом Парижа (стр. 322).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатаются первое по этому тексту, второе по «Лирике», 1964.

Все парижские стихи написаны И. Сельвинским в 1935 г. в Париже или сразу же по возвращении поэта оттуда. Лишь под стихотворением «Hôtel «Istria» двойная дата: 1935—1954. Оно представляет собою некий лирический итог долголетнего внутреннего разговора поэта с самим собой, раздумий его о Маяковском.

Парламент (стр. 325). С подзаголовком «Из цикла стихов об Англии». Министерство иностранных дел (стр. 326).— Впервые напечатаны в журн. «Дружба народов», 1958, № 12. Текст по сб. «Лирика», 1964.

Что такое Англия? (стр. 327). Европа (стр. 328).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатаются по текстам сб. «Лирика», 1964.

Литературный диспут (стр. 330). Диспут политический (стр. 331). Антисемиты (стр. 332). Еврейский вопрос (стр. 333).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Тексты даны по «Лирике», 1964.

Сентиментальный пейзаж (стр. 334). Крысы идут на водопой (стр. 335). О славе (*«Здесь больше не верят славе...»*) (стр. 336). Декретированный заяц (*Басня*) (стр. 337). Могила Неизвестного солдата (стр. 338).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви», кроме второго стихотворения. Оно в сб. «Лирика», 1964. Печатаются по текстам этого сборника.

Фашизм—это война (стр. 339).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Текст печатается по «Лирике», 1964.

Швеция (стр. 342).— Газ. «Известия», 29 августа 1965 г. Дается по этому тексту.

ВОЙНА

Участие И. Сельвинского в Великой Отечественной войне с германским фашизмом сыграло огромную роль в его творческой биографии. «Четыре года, прожитые мной в самой гуще армии в тот исторический момент, когда с особенной силой и ясностью вскрылись лучшие стороны народного духа, произвели во мне огромный переворот. Я затрудняюсь сказать, что именно произошло со мной на войне: пафос человека эпохи и прежде был определяющей чертой моей психики. Но только на войне я почувствовал, какое глубокое удовлетворение (что-то средни ощущению

бессмертия) дает этот пафос, когда он существует не сам по себе и не во имя самого себя, а прямым образом и до конца посвящен судьбе народа.

Этому народу, а в нем грядущему, я хочу отдать все свои силы, все помыслы, всего себя до последнего дыхания...»¹ — писал поэт в одном из набросков своей автобиографии.

Стихи Сельвинского о войне — взволнованный поэтический репортаж, летопись разгневанной совести, потрясенной всенародным горем, переплавленным в неслыханную стойкость и отвагу советских патриотов. Лучшие из них — «Поэзия», «Я это видел!», «Фашизм», «Баллада о ленинизме», «Аджи-Мушкой», «Лебединое озеро», «Тамань», «России» и другие — и по тональности, и по содержанию, и по ритмам приближаются к тому строю поэтической речи, к той чудесной простоте, о которой мечтал поэт в середине 30-х годов.

С августа 1941 г. до 1 января 1942 г. Сельвинский сотрудничал в газете «Сын отечества» — 51-й Отдельной армии Крымского фронта. С 1 января 1942 г. до февраля 1944 г. — в газете «Вперед, к победе!» Политотдела Северо-Кавказского фронта. Потом некоторое время находился в запасе, а с апреля по август 1945 г. писатель снова работает в газете «На разгром врага» 4-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. В этих газетах, а также в газетах «Боевая крымская», «Боевой натиск», «Вперед, за родину!», «Красный черноморец» публиковались многие написанные им во время войны стихи, которые потом были перепечатаны на страницах центральных газет и журналов, в сборниках военных и послевоенных лет и стали широко популярными.

Поэзия (стр. 345). — Сб. «Крым, Кавказ, Кубань». В дальнейшем поэт значительно переработал стихотворение и дополнил его новыми строфами.

В первой редакции вторая строка первой строфы была:

Ты мучишь слово взаперти.

Вторая, третья, четвертая строфы читались так:

Поэзия! Не ради счастья,
Чтоб чье-то сердце полонить,
Ты задыхаешься от страсти,
Перерывая нерв, как пить.

Не пир любви, не мир покоя,
Не лавры и не серебро,
А горе горькое, глухое,
Из мук тебя изобрело.

¹ Илья Сельвинский, Черты моей жизни (рукопись, подаренная поэтом автору примечаний).

И ты выходишь под знамена
Навстречу дыму и трубе
И окликаешь поименно
Народ, вздыхавший о тебе.

Заново были написаны пятая и шестая строфа настоящей редакции, ставшая душою стихотворения:

Бывают строфы из жемчужин,
Но их недолго мы храним:
Тогда лишь стих народу нужен,
Когда и дышит вместе с ним.

Строфа эта как бы продолжает овладевшую поэтом еще в 30-е годы мысль о назначении и сущности поэзии, о том, что слово ее — это оружие на карауле у революции. Примат содержательности, высоких идей как главное формообразующее начало — основная черта военной поэзии Сельвинского.

И во имя бóльшей отчетливости мысли он меняет и заключительную строфу стихотворения, которая читалась так:

Пускай во всем для них Победа
Парит в сознанье, как зенит,
И ходит
 в жилах
 мощь
 поэта
И пеной ракушек звенит.

Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Женщинам мира и еще одной женщине (стр. 347).— Сб. «Баллады, плакаты и песни». В новой редакции опубликовано в сб. «Стихотворения». Печатается по сб. «Лирика», 1964, с авторской поправкой седьмой строфы.

Фашизм (стр. 350).— Сб. «Крым, Кавказ, Кубань». С небольшими изменениями перепечатано в журн. «Октябрь», № 6. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Я это видел! (стр. 352).— Газ. «Большевик», Краснодар, 23 января 1942 г. Перепечатано газ. «Красная звезда» 27 февраля того же года.

Стихотворение это, получившее широкое распространение на многих фронтах, было написано, видимо, в первой половине января 1942 г.

В письме к жене, Б. Я. Сельвинской, от 12 января 1942 г. поэт писал: «Вчера посетил ров под Керчью, где лежат 7000 расстрелянных женщин, детей, стариков... И я их видел. Сейчас об этом писать в прозе не в силах, нервы уже не реагируют, что мог, выразил в стихах...» В значительно переработанном виде стихотворение опубликовано в «Избранных произведениях», 1953. Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Баллада о Ленинизме (стр. 356).— Газ. «Большевик», 27 января 1942 г. В феврале того же года перепечатана газ. «Красная звезда» и с небольшими изменениями журн. «Октябрь», № 1—2. Вошла в сб. «Баллады, плакаты и песни».

В письме к редактору журн. «Костер» поэт писал: «1942 г. Я был офицером Северо-Кавказского фронта. Когда мы высадили десант в Керчь и ворвались в город, среди руин и развалин нас больно задело зрелище обнаженного цоколя, на котором до прихода немцев стоял бронзовый памятник Ленину. Жители города рассказывали мне, что на шесте, торчавшем из цоколя, фашисты в издевку повесили молоденького политрука. Но политрук держал себя мужественно, и, когда на его шею набросили петлю, он вытянул правую руку вперед, повторяя позу монумента, и крикнул: «Пролетарии всех стран — соединяйтесь!»

Этот политрук потряс меня до глубины души. Имени его мне узнать не удалось. Политрук превратился в легенду. Об этой легенде я и написал мою балладу».

Баллада входила во многие сборники поэта. Относясь особенно бережно к ленинской теме, автор от издания к изданию вносил в текст баллады изменения, стремясь довести выражение ее замысла до чеканной ясности. Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Баллада о танке КВ (стр. 359).— Газ. «Красная звезда», 21 апреля 1942 г. В значительно переработанном виде опубликована в «Избранных произведениях», 1953. Текст дан по сб. «Лирика», 1964.

Бой в тридцать секунд (*Из беседы с летчиком Ч.*) (стр. 363).— Газ. «Большевик», 5 мая 1942 г. Текст по сб. «Лирика», 1964.

России (стр. 366).— Газ. «Большевик», 26 мая 1942 г. Перепечатано в том же году газ. «Красная звезда» от 15 июля и журн. «Октябрь», № 8. Стихотворение сразу же получило широкую известность и вслед за первыми публикациями было напечатано в газ. «Комсомольская правда» и «Известия», а также вошло в ряд сборников.

Автор неоднократно возвращался к этому стихотворению, ибо поэтическая мысль, тема и духовная сущность его вызвали столь

широкий поток ассоциаций и образов, что, шлифуя текст от издания к изданию, поэт написал множество новых строф, исключая одни или заменяя другие новыми; сделанные изменения расширяют горизонт стиха, усиливают резкость оттенков и отчетливость видений родины, ее бескрайних просторов и внутреннего величия.

Так, например, в первых редакциях второе четверостишие второй строфы читалось так:

Нервнкой каждую скорбя,
Оглохший от бомбометанья,
Люблю тебя. Люблю тебя,
До стопа и до бормотанья.

Во втором варианте первая взвинченность и иступленность уступают место более глубинному и горделивому чувству пламенной души.

Заключительные строки последней строфы были:

Пускай рыданье и гроба
Чертят простор моей отчизны,
Бессмертно требованье жизни,
Зовуща русская труба.

Иногда сделанные поэтом изменения вызывали у автора настоящих примечаний сомнения в их целесообразности. Об этом не раз говорил он поэту. Сельвинский каждый случай исправления мотивировал, но иной раз он возвращался к первоначальному тексту. Приведем лишь один пример. Стихотворение «России» начиналось строками:

Хочочет, обезумев, копь,
Фугасы хлыщили косые...
И снова по уши в огонь
Влетаем мы с тобой, Россия.

В первом критическом отклике на это стихотворение нами отмечались сила и выразительность зачина. Хохот обезумевшего копя и ливень снарядов как бы сразу опаляли все чувства, ввергая их в пучину нечеловеческих страданий, боли, мук. Этот первоначальный рисунок образа родины перекликался с пушкинским образом «Медного всадника», копя, подъятого над бездной...

Стихотворение всюду публиковалось с этим началом. Вдруг, уже запечатлевшееся так в представлении и памяти читателей, оно получает новые начальные строки:

Взлетел расщепленный вагон!
Пожары... Беженцы босые...

В первом варианте были откровенно сельвинские, горячие строки о поэзии:

Люблю великий русский стих,
Еще не попятый, однако,
И всех учителей своих,
От Пушкина до Пастерпака...

В «Избранном» 1953 и 1956 гг. и в дальнейших публикациях эти строки тоже исчезли. Отвергая возражения против таких перемещ, Сельвинский писал мне, что образ обезумевшего коня уже был у него в «Улялаевщине» и он, заметив это, решительно не захотел повторения. Строфу о стихе поэт все-таки восстановил в дальнейшем.

Публикуется по тексту, подготовленному автором для настоящего Собрания сочинений.

Из фронтальной тетради: 1. Грачи прилетели (стр. 369); 2. Сон (стр. 369); 3. Страх (стр. 370).— «Крым, Кавказ, Кубань». Печатается по тексту «Избранных произведений», 1953.

Песня 72-й Кубанской казачьей дивизии (стр. 372).— Под заглавием «Песня кубанских казаков» — газ. «Большевик», 19 марта 1942 г. 23 апреля того же года перепечатана газ. «Комсомольская правда». В дальнейшем в первоначальный текст автором внесены большие изменения. Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Песня казака (стр. 374).— «Избранное», 1950. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Казачья колыбельная (стр. 376).— «Крым, Кавказ, Кубань». Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Песня казачки (стр. 378).— Газ. «Вперед, за родину!», 21 октября 1943 г. Перепечатана в журн. «Красноармеец», 1945, № 1. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Казачья шуточная («Черноглазая казачка...») (стр. 379).— «Избранные произведения», 1953. Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Эпизод (стр. 380).— Сб. «Лирика», 1964. Дается по тексту сб. «Влюбленные не умирают».

Человеческое (стр. 381).— Журн. «Советская Украина», 1960, № 10. Печатается по этому тексту.

«Если жарко думать о жене...» (стр. 383).— Газ. «Большевик», 13 августа 1943 г. Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Над картой Европы 1943 года (стр. 385).— Журн. «Октябрь», 1943, № 6—7. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Баллада о Лааре (стр. 387).— Газ. «Вперед, за родину!», 22 августа 1943 г. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Аджи-Мушкай (стр. 390).— Газ. «Вперед, за родину!», 2 декабря 1943 г. Перепечатано в журн. «Знамя», 1945, № 2. С некоторыми изменениями напечатано в сб. «Крым, Кавказ, Кубань» и в сб. «Лирика и драма». В этих изданиях стихотворению было предпослано вступление, написанное автором:

«Посвящаю воинам, прикрывавшим отход наших войск из Крыма в 1942 году. Окруженные неприятелем, ушли они в Аджи-Мушкайские подземелья и предпочли медленную смерть немецкому плену. Мы нашли их скелеты, когда высадили десант на Керчь и захватили каменоломни. Я ходил среди них и вглядывался в их глазницы. Я когда-то видел их живыми. Я пожимал когда-то их руки. Вот эти руки. Руки, которые спасли жизнь мне и моим товарищам».

В «Избранных произведениях», 1953, стихотворение это опубликовано в значительно переработанном виде. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Русская пехота (стр. 394).— Газ. «Вперед, за родину!», 14 июня 1943 г. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Тамань (стр. 396).— Газ. «Вперед, за родину!», 28 апреля 1943 г. Перепечатано в газ. «Красная звезда» в том же году 6 мая и с разночтениями в журн. «Октябрь», № 6—7. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Лебединое озеро (стр. 398).— Журн. «Знамя», 1945, № 11. Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Стихотворение написано на фронте, в разрушенном, только что отбитом у врага Краснодаре. Сила поэтического воображения и лиризма, преобразившая все вокруг, оживившая сквозь музыку Чайковского виденье изумительного русского балета, как бы вступает в единоборство с горечью разгромленного врагом быта и побеждает прозрением мечты, реющей над горем, как знак неминуемой победы, как голос великой души России, ее нетленной силы и красоты. Строй стиха намеренно напоминает великие традиции классической русской поэзии, связанные с именем Пушкина.

Сельвинский писал, отвечая на анкету журн. «Вопросы литературы» (1964, № 3): «Есть такие влияния, которые долгие годы с огромной силой держали в своей власти мою психику... Шагая по Арктике с чукчами, я напевал про себя адажио... и как несбыточную мечту представлял себе Большой театр, гибкие ритмы Чайковского, таец Улановой, онегинские строфы Пушкина. Легко

понять мое потрясение, когда, войдя в разрушенный фашистами Красноподар, я среди ночного страшного безмолвия вдруг услышал вальсы из «Лебединого», передаваемые Москвой... Тогда-то именно и появились у меня строки, которые как-то утоляли мою тоску по Чайковскому...»

Л а з у р ь - ц в е т о к (стр. 403).— Под названием «Любовь и фронт» — газ. «Красная звезда», 29 мая 1943 г. Под заглавием «Из цикла «Любовь и фронт» «Голубой цветок» перепечатано в журн. «Октябрь», 1943, № 6—7. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

П и с ь м о («Ты спрашиваешь, друг мой, отчего...») (стр. 405).— Сб. «Крым, Кавказ, Кубань». Печатается по сб. «Лирика», 1964.

К р ы м («Как бой барабана, как голос картечи...») (стр. 407).— Журн. «Новый мир», 1946, № 3. Впоследствии в первоначальный текст автором были внесены большие изменения. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

С е в а с т о п о л ь («Я в этом городе сидел в тюрьме...») (стр. 409).— Журн. «Ленинград», 1946, № 1—2. Печатается по «Лирике», 1964.

П е с н я («Волна балтийская легка...») (стр. 413) (под заглавием «Весна»).— Газ. «На разгром врага», 1 мая 1945 г. Печатается по «Лирике», 1964.

К р ы м («Бывают края, что недвижны веками...») (стр. 415).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по «Лирике», 1964.

Ш у т к а (стр. 419).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по «Лирике», 1964.

К т о м ы? (стр. 420).— «Избранное», 1950. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

М И Р

«Я в детстве рос без игрушек...» (стр. 425).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

П р е л ю д («Черный лебедь, похожий на ноту...») (стр. 427).— Как один из прелюдов к «Челюскинине» опубликован в журн. «Новый мир», 1937, № 1. Впоследствии поэт не включал его в эпопею, а публиковал как самостоятельное стихотворение. Печатается по тексту, подготовленному автором для Собрания сочинений.

С о н е т («Бессмертья нет. А слава только дым...») (стр. 429).— Сб. «Крым, Кавказ, Кубань». Дается по сб. «Лирика», 1964.

«Кого баюкала Россия...» (стр. 430).— Журн. «Знамя», 1943, № 7—8, по тексту которого и печатается.

Пейзаж («Белая-белая хата...») (стр. 432).— «Избранные произведения», 1953. Текст по сб. «Лирика», 1964.

В зоопарке (стр. 433).— Сб. «День поэзии», 1961. Печатается по этому тексту.

«Вот и мы живем не страдая...» (стр. 434).— «Лирика», 1964, по тексту которой печатается.

Труд (*Философский эскиз*) (стр. 435).— «Избранные произведения», 1953. В т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956, получило подзаголовок. В сб. «Лирика», 1959, подзаголовок был снят, а в сб. «Лирика», 1964, по которому дается текст,— восстановлен.

О родине (стр. 438).— Без заглавия («За что я родину люблю?..») — журн. «Новый мир», 1947, № 7. Текст по сб. «Лирика», 1964.

«У истории плохая память!..» (стр. 440).— Газ. «Московский литератор», 31 августа 1961 г. В том же году перепечатано газ. «Неделя», 17—23 сентября. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

«Не в клетушке, не в темнице...» (стр. 441).— Печатается впервые.

Отчизна («Любовь к отечеству была...») (стр. 442).— «Избранное», 1950. Публикуя это стихотворение в т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956, автор предпослал ему эпитафию из Пушкина.

Вторая строфа стихотворения «Отчизна» в первой редакции читалась так:

Любовью к очагам родным,
Пылавшим в ароматных дымах...
Но родина не только дым
Времени и дней невозвратных.

Печатается по тексту т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956.

«Все девки в хороводе хороши...» (стр. 444).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

В операционной (стр. 445).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Ленин («Оттого, что Ленин жил на свете...») (стр. 447) (под названием «Он среди нас»).— «Литературная газета», 21 января 1951 г. Печатается по тексту «Избранных произведений», 1953, где стихотворение получило название «Ленин».

«Не верьте моим фотографиям...» (стр. 448).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Текст по сб. «Лирика», 1964.

«Не я выбираю читателя...» (стр. 450).— Сб. «Лирика», 1964, печатается по этому тексту.

Из дневника («Да, молодость прошла...») (стр. 451). Целинники (стр. 453).— «О времени, о судьбах, о любви». Печатаются по этому тексту.

Трактор С-80 (стр. 455). Шумы (стр. 456). Ночная пахота (стр. 458).— Журн. «Октябрь», 1954, № 8. Печатаются по т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956.

Сонет («Воспитанный разнообразным чтивом...») (стр. 459).— «Литературная газета», 3 июля 1956 г. Текст по «Библиотечке избранной лирики».

Стишок для детей, а также и для их родителей (стр. 460).— Т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Печатается по «Библиотечке избранной лирики».

«Вам говорю, блюдолизам...» (стр. 461).— «Лирика», 1964, по тексту которой печатается.

Прелюд («Вот она, моя тихая пристань...») (стр. 462).— «Литературная газета», 3 июля 1956 г. В книжных изданиях, например, в т. I «Избранных произведений в двух томах», 1960, стихотворение ошибочно датировано 1957 г. Дается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Сонет («Я испытал и славу и бесславье...») (стр. 463).— «Литературная газета», 19 октября 1957 г. Текст по «Библиотечке избранной лирики».

Мамонт (стр. 464).— «Литературная газета», 24 октября 1959 г. Текст дается по «Библиотечке избранной лирики».

«А то еще бывает так...» (стр. 465).— Газ. «Известия», 3 июля 1959 г. Текст по сб. «Лирика», 1964.

Карусель (стр. 466).— Журн. «Огонек», 1959, № 11. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Трагедия (стр. 467) без заглавия («Говорят, что композитор слышит...»). Сказка («Толпа раскололась на множество группок...») (стр. 468). «Граждане! Минутка прозы...» (под названием «Береза») (стр. 469).— Журн. «Юность», 1959, № 10. Печатаются по сб. «Лирика», 1964.

«Поэт, изучай свое ремесло...» (стр. 470). Осень («Гнедые да буланые дубы...») (стр. 471).— Газ. «Известия», 3 июля 1959 г., в цикле «Из лирической тетради». Печатаются по сб. «Лирика», 1964.

«Трижды женщина его бросала...» (стр. 472). «Что такое «золотое счастье»?..» (стр. 474).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатаются по сб. «Лирика», 1964.

«Пускай не все решены задачи...» (стр. 475).— Журн. «Огонек», 1960, № 28. Печатается по «Библиотечке избранной лирики».

«Не знаю, как кому, а мне...» (стр. 476). Уличные окна (стр. 477). Сонет («Слыла великой мудростью от века...») (стр. 478). Лесная быль (стр. 479). Девочка в окошке (стр. 480). Откровение (стр. 481). Человек выше своей судьбы (стр. 482). Столб (стр. 483). Натюрморт (стр. 484). «От листвы осенней банный дух...» (стр. 485). Акула (стр. 486). «Легко ли душу понять?..» (стр. 487). Зимний пейзаж (стр. 488).—Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатаются: второе и десятое стихотворения по этому сборнику, третье и седьмое — по «Библиотечке избранной лирики», остальные по «Лирике», 1964.

Тигр (стр. 489). Береза («Березка в розовой ксже...») (стр. 490).—Журн. «Огонек», 1960, № 28. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Весеннее (стр. 491).— «День поэзии», 1961. Печатается по «Библиотечке избранной лирики».

Лето (стр. 492).— Журн. «Знамя», 1962, № 6. Текст дан по сб. «Лирика», 1964.

«Счастье — это утоление боли...» (стр. 493). Лесные страхи (стр. 494).—Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатаются по тексту «Лирики», 1964.

Дискуссия (стр. 495).— Сб. «Лирика», 1964. Печатается по этому тексту с поправкой автора пятой строки.

Земноводный зоил (стр. 496).— «Лирика», 1964, по тексту которой печатается.

У современности свои права (стр. 497).— Газ. «Неделя», 23—29 сентября 1962 г. Печатается по этому тексту.

Осень («Как звучат осенние прелюды...») (стр. 498).— Газ. «Литературная Россия», 17 июля 1964 г. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Словно айсберг (стр. 499). Молитва (стр. 500).— «Литературная газета», 30 июня 1962 г. Печатаются: первое стихотворение по «Библиотечке избранной лирики», второе по «Лирике», 1964.

Гуно — Лист (стр. 501).— Газ. «Неделя», 23—29 сентября 1962 г. Текст по сб. «Лирика», 1964.

Быстрее берез (стр. 503). Письмо уральских девушек (стр. 504).— Газ. «Литературная Россия», 1963, 1 января. Печатаются по сб. «Лирика», 1964.

Сонет («Обычным утром в январе...») (стр. 505).— Газ. «Неделя», 17—23 марта 1963 г. Печатается по этому тексту.

Сонет (*«Обыватель верит моде...»*) (стр. 506). «Был я однажды счастливым...» (стр. 507). «Плохие поэты обычно фальшивы...» (стр. 508). *Regretum mobile* (стр. 509) (под заглавием «Стихи о стихах»).— Литературная газета, 5 декабря 1963 г. Печатаются по тексту сб. «Лирика», 1964.

Кукла (стр. 510).— Сб. «Лирика», 1964. Печатается по «Библиотечке избранной лирики».

Давайте помечтаем о бессмертье (стр. 511). Люди всегда молоды (стр. 513). Художница (стр. 514).— Журн. «Октябрь», 1964, № 11. Печатаются первое и третье по журналу, второе по сб. «Влюбленные не умирают».

О труде (стр. 516). О славе (*«Кто из нас помнит имя...»*) (стр. 517). Завещание (стр. 518). «Юни мои лихие...» (стр. 520). Из записной книжки (*После смерти Светлова*) (стр. 521).— Газ. «Литературная Россия», 18 июня 1965 г. Печатаются по этому тексту. В последнем стихотворении автором изменена четвертая строка.

Одиночество (стр. 522). Глухомань (стр. 523). Ранняя осень (стр. 524). Осень (*«Золотая звонница березы...»*) (стр. 525). Человек и смерть (стр. 526).— Журн. «Огонек», 1965, № 46. Печатаются по тексту журнала, за исключением третьего стихотворения, где автором изменена десятая строка.

Если много кровоточин (стр. 527).— Журн. «Смена», 1966, № 14, по тексту которой печатается.

Женщины России (стр. 528). Это надо любить (стр. 529).— «Литературная газета», 5 марта 1966 г. Печатаются по этому тексту.

Оптимист и малover (стр. 530).— «День поэзии», 1966, под заглавием «Мой друг поэт». Позже автором изменено название.

«Бояться смерти что бояться сна...» (стр. 531). Бетховен (стр. 532). Паганини (стр. 533). Океанское побережье (стр. 534). Динозавр (стр. 535). Каким бывает счастье (стр. 537).— «Литературная газета», 30 октября 1965 г. Печатаются по тексту газеты.

«У молодости собственная мудрость...» (стр. 538) Валентине Терешковой (стр. 539). «Был у меня гвоздевый быт...» (стр. 540). Бурый дым (стр. 541).— Газ. «Литературная Россия», 3 декабря 1965 г. Печатаются по этим текстам.

С чего начинается весна? (стр. 542). Ода воде (стр. 543). К портрету моего внука (стр. 544). «Счастливым не слышит природы...» (стр. 545). А я думаю так... (стр. 546). Трицератопс (стр. 547). Юмореска (стр. 548). Сказку съели... (стр. 549).— Журн. «Огонек», 1966, № 46. Печатаются по тексту журнала, кроме четвертого, седьмого

и последнего стихотворений, в которые автором внесены изменения.

Зима в Подмосковье (стр. 550). Снег, снег! (стр. 551).— «Литературная газета», 5 марта 1966 г. Печатаются по этому тексту.

Жизнь (стр. 552).— «Литературная газета», 14 июля 1966 г.

«Ни прошлого, ни будущего нет?..» (стр. 554).— Газ. «Неделя», 5—11 февраля 1967 г.

Resurgam! (стр. 555).— Печатается впервые.

Ленин («Политик не тот, кто зычно командует ротой...») (стр. 556).— Под заголовком «Политик» — в «Литературной России», 5 марта 1966 г. В новой редакции опубликовано в журн. «Смена», № 14. Дается по этому тексту.

В первоначальном виде последние четыре строки выглядели так:

Политик должен, как врач,
Слушать сердце народа
И, как поэт,
Слышать дыханье его.

Тайна Бетховена (стр. 557). Однажды у телевизора (стр. 558).— «Литературная газета», 24 ноября 1966 г.

Предвесеннее (стр. 559).— Журн. «Смена», 1966, № 14.

Февраль (стр. 560). Кусты сирени в марте (стр. 561). Могучие неясности (стр. 562).— Сб. «День поэзии», 1967.

Прощание (стр. 563). «Все говорят, что я добрый...» (стр. 564).— Печатаются впервые.

«Я люблю свою родину тихо...» (стр. 565). «Какое сложное явление — дерево...» (стр. 566). Сентиментальный дуб (стр. 567). Памяти Хемингуэя (стр. 568). Обида (стр. 569). Невежество и тупоумие (стр. 571).— Под рубрикой «Раздумья в табачном дыму» — в журн. «Огонек», 1968, № 12. Печатаются по этим текстам.

Элегия («Я живу на орбите...») (стр. 572).— Сб. «День поэзии», 1968.

О сниццах (стр. 573). Песня («Вот яблоня в цвету...») (стр. 574).— Журн. «Звезда», 1967, № 6.

Это был небывалый случай (стр. 575). Уж небо осенью дышало... (стр. 576).— Журн. «Нева», 1967, № 1.

Наша память — кинематограф (стр. 577).— Сб. «Давайте помечтаем о бессмертье», — посмертно.

«Старцу надо привыкать ко многому...»

(стр. 579).— Газ. «Неделя», 28 апреля 1968 г. Печатается по этому тексту.

«Что ни столетье — мир суровой...» (стр. 580).— Печатается впервые.

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Внучка моя Ксашочка (стр. 583). Ксаша и буква «О» (стр. 584). Ксаша и приставка «Же» (стр. 585). Вопрос (стр. 586). «Ходит в доме Сказочка...» (стр. 587).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатаются по текстам сб. «Лирика», 1964.

«Внучку спрашивает дед...» (стр. 588).— «Лирика», 1964. Печатается по этому тексту.

Весна в зоопарке (стр. 589). Как кого зовут? (стр. 590). Колыбельная (стр. 591). Звонарь (стр. 592). Ксаша и папа (стр. 593). Что правильно? (стр. 594).— Журн. «Огонек», 1966, № 32. Печатаются по этому тексту.

ПУБЛИЦИСТИКА

Баллада XX века (стр. 597).— Написанная в 1924 г. под свежим впечатлением горестной потери советского народа, баллада эта была одним из первых лирических подступов Сельвинского к грандиозной ленинской теме.

Сельвинский воображением поэта оживляет посмертную маску Ленина, висящую в Кремле, и создаст аллегорический образ титана революции, вдохновляющего творческую энергию труженников нашей страны и всей планеты.

Впервые баллада опубликована в сб. «О времени, о судьбах, о любви», по тексту которого и печатается.

Слон и Мыши (*Басня*) (стр. 599).— «Вечерняя Красная газета», 31 октября 1932 г. Басня эта, написанная в период острых споров поэта с рапповской критикой, имела в первой публикации и в сб. «Декларация прав» подзаголовок «Нелюбимым критикам». Печатается по тексту сб. «Лирика», 1964.

Ответ г. Уинстону Черчиллю (стр. 600).— Сб. «Лирика и драма». В значительно переработанном виде напечатано в сб. «Лирика», 1964, по тексту которого дается здесь.

Франциско Франко (стр. 602).— «Избранные произведения», 1953. Дается по тексту этого издания.

Диалектическое рассуждение о безыдейности пных идей (стр. 603).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Текст по сб. «Лирика», 1964.

Привет демократической Германии (*Из альбома зарисовок*) (стр. 606).— «Избранное», 1950. Дается по тексту «Избранных произведений», 1953.

Республика Вьетнам (стр. 608).— Сб. «Избранное», 1950. Текст по сб. «Лирика», 1964.

Написанное в 1949 г., стихотворение отражает начальный этап войны во Вьетнаме и несет на себе следы политической ситуации того времени.

Песня о восьмом слоне (*Из Бергольта Брехта*) (стр. 610).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Текст по сб. «Лирика», 1964.

Всем! Всем! Всем! (*Апокалипсис XX века*) (стр. 611).— Сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Баллада о слонах (стр. 616).— Это аллегорическое сказание в стихах, созданное поэтом в 1958 г., было навеяно новой бурной волной массового стихийного национально-освободительного движения в колониях империализма. Впервые появилось в сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по «Лирике», 1964.

Анкета моей души (*Лирическая поэма*) (стр. 617).— Под названием «О времени и о себе» (*Лирическая поэма*) — в журн. «Огонек», 1960, № 11. С изменениями опубликовано в сб. «О времени, о судьбах, о любви». Текст дан по «Лирике», 1964.

Страшный суд (стр. 623).— Журн. «Гулистон», 1960, № 3. Текст по «Лирике», 1964.

Письмо к интеллигенции мира (стр. 626).— Своеобразная поэтическая исповедь, представляющая лично глубоко пережитое и «оплаченное» многими заблуждениями прозрение интеллигента-поэта. Лирический герой «письма» капля за каплей разоблачает отраву фантазмагорических теорий и псевдофилософских уверток идеализма, как бы поднимаясь по ступенькам познания истины к ее вершине — мировоззрению коммунизма, при котором и может найти интеллигенция полную меру подлинного гуманизма и свое почетное место в борьбе за народное счастье.

Впервые под названием «Письмо к интеллигенции Запада» стихотворение опубликовано в журн. «Октябрь», 1961, № 2. С большими изменениями — в сб. «О времени, о судьбах, о любви». Печатается по «Лирике», 1964.

Льдница луны (стр. 634).— Сб. «Лирика», 1964. Печатается по этому тексту.

Космическая сопата (стр. 635).— Журн. «Октябрь», 1961, № 8. Текст дан по «Лприке», 1964.

Дорогу, Космос: летит Земля! (стр. 640).— Сб. «Десь поэзии», 1961. Печатается по сб. «О времени, о судьбах, о любви».

Сказка о зайце, который победил волка (*В назидание хищникам*) (стр. 642).— Журн. «Огонек», 1961, № 14. Печатается по сб. «Лирика», 1964.

Физики и лирики (стр. 645).— Журн. «Знамя», 1962, № 6. Текст дан по сб. «Лирика», 1964.

Самая колдовская (стр. 646).— Журн. «Молодая гвардия», 1962, № 9. Текст — по сб. «Лирика», 1964.

От имени земного шара (стр. 648).— Газ. «Известия», 6 ноября 1965 г. Печатается по этому тексту.

По душам (стр. 650).— Журн. «Звезда», 1967, № 6.

О музыке, но не только (стр. 651).— Сб. «Давайте помечтаем о бессмертье», посмертно.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Илья Сельвинский - гимназист. 1916 г. Евпатория.
2. Илья Сельвинский — «Лурих III, сын Луриха I». 1920 г. Евпатория.
3. Илья Сельвинский после возвращения из Парижа. 1935 г. Москва.
4. Н. Асеев, И. Сельвинский, Б. Пастернак. 1942 г. Чистополь.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>О. Резник. Палитра поэта</i>	5
---	---

Гимназическая муза

Кондор	39
Утро	40
Закат	41
Сказка («Из перламутра раковин — зеницы...»)	42
Лесовик	43
Цветные стекла	45
Бриз	46
Триолет	47
Автопортрет	48
Песня («Выходил воевода на улицу...»)	49
Попугай	50
Красное манто («Красное манто с каким-то бурым мехом...»)	51
«Я знаю женщину: блестяща и остра...»	52
Вилибрюд	53
Гром	54
О любви («Сердце мое налито любовью...»)	55
Война	56
Ссора	57
Солдатики	58
Элегия («Было много божественных грез...»)	59
Юность	60
О, эти дни	61
Осень («Битые яблоки пахнут вином, сад — как церковь...»)	62
Осень («Битые яблоки пахнут вином, и облака точ- но снятся...»)	63
Конь	64
Цыганская	66
Красное манто («Снова оно, багровое в клетку...»)	67

Стихи из тюрьмы

«Понимаю, что жалит гадюка...»	71
«Проем тюремного окна...»	72
«Учат меня стариканы...»	73
Ужас тюрьмы	74
«Ох, и выбрал же квартирку...»	75
Узник	76
Дрема	77
«Благослови легкомыслие...»	78
Утешение	79
Тюремный дворик	80
«Итак, в тюрьме я снова...»	81
Дыня	82
Мадам Эн-Эн	83
Юность (<i>Венок соцветов</i>)	85

Экспериментальное

Наша биография	97
Анекдоты о караимском философе Бабакай-Суддуке	
Бабакай и луна	99
Бабакай и халат	100
Бабакай и теория предопределения	100
Афоризм караимского философа Бабакай-Суддука	101
Вор	102
Цыганская 2-я	103
Цыганский вальс на гитаре	104
Мотькэ-Малхамовес (<i>Новелла</i>)	105
Баллада о барабанщике	108
Сивашская битва (<i>Соната</i>)	111
Песня про снежного коня	117

Стихи о любви

«Каждая девушка — это чудо!..»	121
«Никогда не перестану удивляться...»	122
Первый поцелуй	123
К вопросу о русской речи	124
Случай	125
На скамье бульвара	126
Как быть?	127

«Уронила девушка перчатку...»	128
В картинной галерее	129
«Есть поцелуи-пустяки...»	130
Удивительно!	131
Рыбка	132
«Сами своей рукой...»	133
Евпаторийский пляж	134
«Итак, весенний вечер...»	138
Сирень	140
«В любой душошке улеглась...»	143
«Мужчина женщину не любит...»	144
Телефон	145
«Как музыкален женский шепот...»	146
Ее платье	147
Заметка о Фаусте	148
Какое в женщине богатство!	149
Портрет Лизы Лютце	151
Русская девушка	156
Три песни	
1. Берест	158
2. Береза	158
3. Клен	159
Т. А — овой	161
Жена	163
Моя знакомая русалка	165
«Как охотник ловит серебристую...»	170
«Если умру я, если исчезну...»	171
«Нет, я не тот, кого ты ждала...»	173
Я на яворе, на клене (<i>Песня</i>)	174
«Я живу в столице, ты в тайге...»	175
Серебряная свадьба	176
«Муравьи беседуют по радио...»	178
Сонет («Я никогда в любви не знал трагедий...»)	179
Алиса (<i>Из рукописей моего друга, пожелавшего остаться неизвестным</i>)	180
Сонет («Душевные страдания, как гамма...»)	188
«Ты не от женщины родилась...»	189
«В косы вплетены лучи...»	190
«Я слоняюсь в радости недужной...»	191
Две кукушки	192
«Если взять на ладонь рыбешку...»	193
«Все нервы о тебе поют...»	194
Заклинанье	195
Зависть	196

«Ты — гордая, как все, что расцвело!..»	197
«Где-то на пределе красоты...»	198
«Разве может любовь обижать?..»	199
Цыганский распев	200
«Годами голодаю по тебе...»	201
Романс («Если губы сказали: «Нет»...»)	202
Стихотворцу-неудачнику	203
Шиповник	204
«Для всех других ты просто человек...»	206
«Мечта моей ты юности...»	207
Гете и Маргарита	208
Молдавская песня	209
Еврейская мелодия	210
Реплика («Не спрашивай, зачем под старость лет...»)	211
«Вы забсжали к нам накоротке...»	212
«Когда пред высокой стоишь красотой...»	213
«Каждому мужчине столько лет...»	214
Влюбленные не умирают	215
Гимн женщине («Каждый день, как с бою, добыт...»)	216
«Я мог бы вот так: усесться против...»	217
Розы	218
Femme de quarante ans	219
«Оп, много раз меняя жен...»	220
Человек умирал...	221
Двойники	225
Прелюд («Если по клавишам бить кулаком...»)	227
Моление о чуде (<i>Сюита</i>)	
Прелюд («О, как сбежало из парадного...»)	228
Сумерки	228
Разлука	229
Песня	229
«Хоть бы присниться тебе, проклятой...»	230
«Кладу на тебя заклятье!..»	230
Как умолял я о чуде	230
О природе печали	232
«Не желаю Вам беды...»	232
Гаданье	233
А смерти нет!	233
О любви («Есть в судьбе моей женщина...»)	235
«Милый! Если тебе неможется...»	236
Что такое любовь?	237
«Когда я впервые увидел Эльбрус...»	238
Из поэта икс	239
«Когда я был молод...»	240

Из поэта игрек	241
Новелла о затыжном сие	242
Люди, любляйтесь!	245
«Нет, любовь не эротика!..»	246

Тихоокеанские стихи

Великий океан	249
Охота на нерпу	251
Охота на тигра	254
Читатель стиха («Когда вам говорят, что тот или этот...»)	259
Белый песец	262
«В каком бы часу я ни лег, по в пять...»	263
Друг ламутского народа	264
«Занимаюсь от злости немецким...»	266
О дружбе	268
Портрет моей матери	271
24/X-1933	274
Тайфун 20-34	276
Баллада о тигре	277

Зарубежное

Сверчок	283
Лавка уличного башмачника	284
Шествие гномов	286
«Вот предлагает девочка цветы...»	287
Дуэт с японкой	288
Черепаша	290
Пейзаж («Я был в Японии...»)	291
Японские стихи (<i>Юмореска</i>)	292
Как битва змеи с поросенком	293
Паппа Польша	295
Реплика Ю. Тувима	297
На концерте	298
Девушка играет на контрабасе	299
Случай на улице Рииг	300
Лувр	
1. Голова Венеры	302
2. Тинторетто. «Сюзанна в бане»	303
3. К. Моне. «Женщина с зонтиком»	303
4. Анри де Руссо	304
Танец в кафе «Белый бал»	306
Панно в кафе «Белый бал»	307

L'heure bleu	308
Красные рыбы	309
Крик уличного торговца	310
В автобусе	311
В бистро	312
Хрючкин в Париже	313
Hôtel «Istria»	314
Чудо св. девы	318
В одном парижском кино	320
Разговор с дьяволом Парижа	322
Парламент	325
Министерство иностранных дел	326
Что такое Англия?	327
Европа	328
Литературный диспут	330
Диспут политический	331
Антисемиты	332
Еврейский вопрос	333
Септиментальный пейзаж	334
Крысы идут на водопой	335
О славе («Здесь больше не верят славе...»)	336
Декретированный заяц (<i>Басня</i>)	337
Могилы Неизвестного солдата	338
Фашизм — это война	339
Швеция	342

Война

Поэзия	345
Женщинам мира и еще одной женщине	347
Фашизм	350
Я это видел!	352
Баллада о ленинизме	356
Баллада о тапке КВ	359
Бой в тридцать секунд (<i>Из беседы с летчиком Ч.</i>)	363
России	366
Из фронтовой тетради	
1. Грачи прилетели	369
2. Сон	369
3. Страх	370
Песня 72-й Кубанской казачьей дивизии	372
Песня казака	374
Казачья колыбельная	376
Песня казачки	378

Казачья шуточная («Черноглазая казачка...») . . .	379
Эпизод	380
Человеческое	381
«Если жарко думать о жене...»	383
Над картой Европы 1943 года	385
Баллада о Лааре	387
Аджи-Мушкой	390
Русская пехота	394
Тамань	396
Лебединое озеро	398
Лазурь-цветок	403
Письмо («Ты спрашиваешь, друг мой, отчего...») . . .	405
Крым («Как бой барабана, как голос картечи...») . . .	407
Севастополь («Я в этом городе сидел в тюрьме...») . . .	409
Песня («Волна балтийская легка...»)	413
Крым («Бывают края, что недвижны векам...») . . .	415
Шутка	419
Кто мы?	420

Мир

«Я в детстве рос без игрушек...»	425
Прелюд («Черный лебедь, похожий на ноту...») . . .	427
Сонет («Бессмертья нет. А слава только дым...») . . .	429
«Кого баюкала Россия...»	430
Пейзаж («Белая-белая хата...»)	432
В зоопарке	433
«Вот и мы живем не страдая...»	434
Труд (<i>Философский эскиз</i>)	435
О родине	438
«У истории плохая память!..»	440
«Не в клетушке, не в темнице...»	441
Отчизна («Любовь к отечеству была...»)	442
«Все девки в хороводе хороши...»	444
В операционной	445
Ленин («Оттого, что Ленин жил на свете...»)	447
«Не верьте моим фотографиям...»	448
«Не я выбираю читателя...»	450
Из дневника («Да, молодость прошла...»)	451
Целипники	453
Трактор С-80	455
Шумы	456
Ночная пахота	458

Сонет («Воспитанный разнообразным чтивом...»)	459
Стишок для детей, а также и для их родителей	460
«Вам говорю, блюдолизам...»	461
Прелюд («Вот она, моя тихая пристань...»)	462
Сонет («Я испытал и славу и бесславье...»)	463
Мамонт	464
«А то еще бывает так...»	465
Карусель	466
Трагедия	467
Сказка («Толпа раскололась на множество группок...»)	468
«Граждане! Минутка прозы...»	469
«Поэт, изучай свое ремесло...»	470
Осень («Гнедые да буланые дубы...»)	471
«Трижды женщина его бросала...»	472
«Что такое «золотое счастье»?..»	474
«Пуускай не все решены задачи...»	475
«Не знаю, как кому, а мне...»	476
Уличные окна	477
Сонет («Слыла великой мудростью от века...»)	478
Лесная быль	479
Девочка в окошке	480
Откровение	481
Человек выше своей судьбы	482
Столб	483
Натюрморт	484
«От листвы осенней банный дух...»	485
Акула	486
«Легко ли душу понять?...»	487
Зимний пейзаж	488
Тигр	489
Береза («Березка в розовой коже...»)	490
Весеннее	491
Лето	492
«Счастье — это утоление боли...»	493
Лесные страхи	494
Дискуссия	495
Земноводный зоил	496
У современности свои права	497
Осень («Как звучат осенние прелюды...»)	498
Словно айсберг	499
Молитва	500
Гуно — Лист	501
Быстрее берез	503

Письмо уральских девушек	504
Сонет («Обычным утром в январе...»)	505
Сопет («Обыватель верит моде...»)	506
«Был я однажды счастливым...»	507
«Плохие поэты обычно фальшивы...»	508
Perpetuum mobile	509
Кукла	510
Давайте помечтаем о бессмертье	511
Люди всегда молоды	513
Художница	514
О труде	516
О славе («Кто из нас помнит имя...»)	517
Завещание	518
«Кони мои лихие...»	520
Из записной книжки (<i>После смерти Светлова</i>)	521
Одиночество	522
Глухомапъ	523
Ранняя осень	524
Осень («Золотая звонница березы...»)	525
Человек и смерть	526
Если много кровотоцин	527
Женщины России	528
Это надо любить	529
Оптимист и малонер	530
«Бояться смерти что бояться сна...»	531
Бетховен	532
Паганини	533
Океанское побережье	534
Динозавр	535
Каким бывает счастье	537
«У молодости собственная мудрость...»	538
Валентине Терешковой	539
«Был у меня гвоздевый быт...»	540
Бурый дым	541
С чего начинается весна?	542
Ода воде	543
К портрету моего внука	544
«Счастливый не слышит природы.»	545
А я думаю так...	546
Трицератопс	547
Юмореска	548
Сказку съели...	549
Зима в Подмосковье	550
Снег, снег!	551

Жизнь	552
«Ни прошлого, ни будущего нет?..»	554
Resurgam!	555
Ленин («Политик не тот, кто зычно командует ротой...»)	556
Тайна Бетховена	557
Однажды у телевизора	558
Предвесеннее	559
Февраль	560
Кусты сирени в марте	561
Могучие неясности	562
Прощание	563
«Все говорят, что я добрый...»	564
«Я люблю свою родину тихо...»	565
«Какое сложное явление — дерево...»	566
Сентиментальный дуб	567
Памяти Хемингуэя	568
Обида	569
Невежество и тупоумие	571
Элегия («Я живу на орбите...»)	572
О шинцах	573
Песня («Вот яблоки в цвету...»)	574
Это был небывалый случай	575
Уж небо осенью дышало...	576
Наша память — кинематограф	577
«Старцу надо привыкать ко многому...»	579
«Что ни столетье — мир суровей...»	580

Стихи для детей

Впучка моя Ксаночка	583
Ксаша и буква «О»	584
Ксаша и приставка «Жс»	585
Вопрос	586
«Ходит в доме Сказочка...»	587
«Впучку спрашивает дед...»	588
Весна в зоопарке	589
Как кого зовут?	590
Колыбельная	591
Звонарь	592
Ксаша и папа	593
Что правильно?	594

Публицистика

Баллада XX века	597
Слон и Мыши (<i>Басня</i>)	599
Ответ г. Уинстону Черчиллю	600
Франциско Франко	602
Диалектическое рассуждение о безыдейности иных идей	603
Привет демократической Германии (<i>Из альбома зарисовок</i>)	606
Республика Вьетнам	608
Песня о восьмом слоне (<i>Из Бертольта Брехта</i>)	610
Всем! Всем! Всем! (<i>Апокалипсис XX века</i>)	611
Баллада о слонах	616
Анкета моей души (<i>Лирическая поэма</i>)	617
Страшный суд	623
Письмо к интеллигенции мира	626
Льдница луны	634
Космическая соната	
1. Мечтание	635
2. Сомнение	636
3. Ликование	636
4. Прозрение	637
Дорогу, Космос: летит Земля!	640
Сказка о зайце, который победил волка (<i>В назидание хищникам</i>)	642
Физики и лирики	645
Самая колдовская	646
От имени земного шара	648
По душам	650
О музыке, но не только	651
Примечания	653
Список иллюстраций	691

Илья Львович Сельвинский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том первый

Редактор

З. Кондратьева

Художественный редактор

Ю. Боярский

Технический редактор

В. Саввич

Корректоры *Г. Асламянц* и

Н. Гористова

Сдано в набор 17/XII 1970 г. Подписано к печати 4/VIII 1971 г. А04048. Бумага типографская № 1. Формат 84×108^{1/32}. 22 печ. л. 36,96 усл. печ. л. 24,8 + 1 вкл. + 1 нак. = 25 уч.-изд. л. Заказ № 1254. Тираж 50 000. Цена 2 р. 50 к.

Издательство «Художественная литература». Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Главполиграфпром Комитета по печати при Совете Министров СССР. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 им. Евг. Соколовой, Измайловский пр., 29, с матриц ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова, Москва, М-54, Валовая, 28

